

АЛЬБЕР КАМЮ

КРИЗИС ЧЕЛОВЕКА

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Кризис человека
Альбер Камю

Аннотация
Альбер Камю. Кризис человека
Самобытная культура. Новая средиземноморская культура
В защиту интеллигенции
Выступление Альбера Камю. (перед румынами)
Кризис человека
Правда ли, что мы пессимисты?
Выступление на круглом столе «Цивилизации»
Послание, прочитанное Жаном Амрушем в Доме химии
Неверующий и христиане. Лекция в монастыре Латур-Мобур
Испания? Думаю, что больше не смогу о ней говорить…
Я отвечаю…
Защитник свободы
Время убийц
Немецкий анекдот
Европа и верность
Лекция в обществе «Казаль-де-Каталония»
Речь Альбера Камю. о всеобщих выборах в Вели-

кобритании
Призыв в защиту осужденных на смертную казнь
Испания и культура
Хлеб и свобода
Лекция в зале «Мютюалите»
Будущее европейской цивилизации
О будущем трагедии
Испания и донкихотство
В поддержку журналиста в изгнании
О Достоевском
Призыв к гражданскому перемирию в Алжире
Познань
Партия свободы. Приветственная речь. в честь Сальвадора де Мадарьяги
Обращение к французской молодежи в защиту Венгрии
День, когда Кадар испугался
Послание венгерским писателям в изгнании
Речь 10 декабря 1957 года
Лекция 14 декабря 1957 года
Чем я обязан Испании
Лекция в Алжирской ассоциации

Аннотация

В этом издании собрано более тридцати публичных выступлений Альбера Камю, в том числе речь на торжественном банкете по случаю присуждения ему Нобелевской премии, «О Достоевском», «Неверующий и христиане», «Защитник свободы» и «Кризис человека».

Эти лекции – рассуждения Камю о судьбе цивилизации и о кризисе, овладевшем человечеством, которые в полной мере отражают его взгляд на состояние мира после Второй мировой.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Альбер Камю
Кризис человека

Albert Camus
CONFERENCES ET DISCOURS
© Editions Gallimard, Paris, 1958
© Перевод. И. Волевич, 2025
© Перевод. Е. Головина, 2023
© Перевод. И. Кузнецова, 2025
© Издание на русском языке AST Publishers, 2026

Самобытная культура
Новая средиземноморская культура

1937

Член Алжирской коммунистической партии (АКП) с конца лета 1935 года, Альбер Камю принял активное участие в ее культурной деятельности, основав «Театр труда», в котором не только руководил труппой, но и сам выступал в качестве автора переработок литературных произведений для сцены, режиссера и актера. Одновременно он занял пост генерального секретаря Алжирского Дома культуры, занимавшегося организацией кинопоказов, концертов и публичных лекций. 8 февраля 1937 года, в день торжественного открытия данного учреждения, 23-летний Альбер Камю прочитал эту лекцию, текст которой был напечатан в первом номере бюллетеня Алжирского Дома культуры «Молодое Средиземноморье» в апреле 1937 года. Осенью того же года Альбер Камю покинул ряды АКП.

I

Дом культуры, на открытии которого вы сегодня присутствуете, ставит своей целью служение средиземноморской культуре. Верный общим тенденциям развития учреждений подобного типа, он хотел бы способствовать созиданию региональной культуры, существование и значение которой больше не нуждаются в доказательствах. В связи с этим есть, вероятно, нечто удивительное в том факте, что левая интеллигенция способна служить культуре, не имеющей, казалось бы, ничего общего с ее интересами, а порой, с руки правых теоретиков (как в случае Морраса[1]), даже им противоречащей.

Действительно, может сложиться впечатление, что служение делу средиземноморского регионализма означает тщетную и бесперспективную попытку реставрации традиционализма, если не превознесение одной культуры в ущерб другой или, например, рассуждая в извращенной логике фашизма, стремление столкнуть латинские

[1] Примечания: 1

Шарль Моррас (1868–1952) — французский публицист, критик, поэт, политический активист крайне правых националистических взглядов. — *Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, — прим. пер.*

народы с народами северными. Все это — одно сплошное недоразумение, и цель настоящей лекции — постараться его разрешить. Корень заблуждения таится в том, что мы часто путаем Средиземноморье и Латинский мир и связываем с Римом то, что началось в Афинах. Для нас это очевидно, и вопрос вовсе не в каком-то национализме солнца. Мы не можем становиться рабами традиции и ставить наше живое будущее в зависимость от подвигов давно почивших героев. Традиция — это прошлое, уродующее настоящее. Напротив, окружающее Средиземноморье — живой край, наполненный игрой и улыбками. С другой стороны, национализм своими действиями сам вынес себе приговор. В истории любые националистические движения всегда служат признаком упадка. Лишь когда рушится монументальное здание Римской империи и распадается духовная общность, наполнявшая смыслом существование ее многочисленных провинций, начинают возникать национальности. С тех пор Запад так и не смог вновь обрести единство. Сегодня вернуть ему его подлинное назначение пытается интернационализм, но уже не на основе христианства и помимо папского Рима и Священной Римской империи. Сегодня

базовым принципом становится человек. Единство достигается не через веру, а через надежду. Цивилизация существует, пока источником ее единства и величия служит, поверх всех национальных особенностей, принцип духовности. Индия, размерами почти не уступающая Европе, даже после двух веков английского владычества сохранила свое лицо, не имея ни наций, ни верховного правителя.

Вот почему мы прежде всего отвергаем принцип средиземноморского национализма. Впрочем, вопрос не в превосходстве средиземноморской культуры. Человек выражает себя в гармонии со своей страной, и превосходство в области культуры сводится исключительно к этой гармонии. Не бывает более или менее великих культур. Есть культуры более или менее подлинные. Все, чего мы хотим, — это помочь стране выразить себя. На местном уровне. Только и всего. Возможна ли средиземноморская культура — вот в чем вопрос.

II

Очевидные факты

а) Есть Средиземное море, в бассейне которого расположены десятки стран. Шумные завсегда-

таи испанских кафешантанов и гуляки, бродящие по генуэзскому порту и по набережным Марселя — эта удивительная и сильная раса, живущая бок о бок с нами, — все они происходят из одной семьи. Когда, путешествуя по Европе, попадаешь в Италию или в Прованс, вздыхаешь с облегчением, встречая этих небрежно одетых людей, эту яркую и бьющую ключом жизнь, так хорошо знакомую нам всем. Я провел два месяца в Центральной Европе, от Австрии до Германии, не переставая задаваться вопросом: откуда у меня это ощущение придавленности, это поселившееся во мне глухое беспокойство? Не так давно я понял. Окружавшие меня люди всегда были застегнуты на все пуговицы. Они не знали, что такое непосредственность. Не ведали радости, которую не следует путать со смехом. Но именно такие детали и позволяют наполнить слово «Родина» истинным смыслом. Родина — не абстракция, побуждающая людей к массовым убийствам, а определенный вкус к жизни, свойственный многим человеческим существам, благодаря чему житель Генуи или Майорки мне ближе, чем уроженец Нормандии или Эльзаса. Это и есть Средиземноморье — его особый дух, неповторимый аромат, с трудом поддающийся

описанию. Мы просто чувствуем его кожей.

б) Есть и другие очевидные факты, в том числе исторические. Каждый раз, когда в Средиземноморский бассейн проникало какое-либо учение, вызывая битву идей, страны Средиземноморья оставались собой: этот край способен победить любое учение. Исходно христианство было эмоционально заряженным, но закрытым учением, проникнутым духом иудаизма и меньше всего размышляющим о возможных последствиях — суровых, ни на что не похожих и восхитительных. Его проникновение в Средиземноморье породило новое учение — католицизм. К своду чаяний, основанных на чувстве, добавилась философия. Сооружение величественного здания было завершено, декорировано — и приспособлено к человеку. Благодаря Средиземноморью христианство сумело охватить мир и, как нам известно, начать по нему свое чудесное шествие.

Тем, кто превратил христианство — замкнутое на себе и страдающее — в гимн природе и простодушной радости, был опять-таки уроженец Средиземноморья — Франциск Ассизский. А единственной попыткой оторвать христианство от мира мы обязаны представителю северного народа — Мартину Лютеру. Протестантизм есть

не что иное, как католицизм, вырванный из средиземноморской почвы и освобожденный от ее одновременно пагубного и захватывающего влияния.

Присмотримся внимательнее. Для того, кто успел пожить и в Германии, и в Италии, очевидно, что в каждой из этих двух стран фашизм выглядит по-разному. В Германии он ощущается повсюду, на улицах городов, читается на лицах людей. Военизированный город Дрезден буквально задыхается под пятой невидимого врага. В Италии вы сразу чувствуете, что вы в Италии. Немец — это прежде всего тот, кто приветствует вас возгласом: «Хайль Гитлер!» Итальянец — это прежде всего радушный и веселый человек. Здесь, судя по всему, учение снова отступает перед духом страны: Средиземноморье чудесным образом позволяет людям гуманистических убеждений жить, не подвергаясь репрессиям, в государстве с антигуманными законами.

III

Для нас, однако, в живой реальности Средиземноморья нет ничего нового. Представляется, что его культура складывалась по образу и подобию древнеримской, попытку возвращения которой

в Средние века предприняло Возрождение. Этот латинский дух и стремятся монополизировать Моррас и его сторонники. Во имя сохранения этого латинского духа двадцать четыре западных интеллектуала подписали в ходе Абиссинского кризиса позорный манифест, прославляющий цивилизаторское вмешательство Италии в дела варварской Эфиопии.

Но нет. Не такое Средиземноморье нужно нашему Дому культуры. Просто потому, что оно действительно иное. Не абстрактно-условное, каким его видят Рим и римляне. Этот народ имитаторов, лишенных фантазии, все же вообразил, будто способен заменить свой вечный дефицит художественного гения и жизненного смысла гением войны. Хваленый порядок, который они стремятся нам навязать, делает ставку на силу, а не на разум. Даже копируя, они все только портили. Они ведь имитировали не подлинный гений Греции, а плоды ее упадка и ошибки. Не сильную и несгибаемую Грецию великих трагедий и комедий, а кокетливое жеманство ее последних веков. Рим позаимствовал у Греции не жизнь, а абстрактное инфантильное резонерство. Средиземноморье — это совсем иное. Оно являет собой отрицание Рима и латинского духа. Воплощает

жизнь и не желает иметь ничего общего с абстракциями. Мы охотно согласимся с претензией господина Муссолини на роль достойного преемника античных Цезаря и Августа, если понимать под ней то же стремление принести истину и величие в жертву бездушному насилию.

Мы хотим для Средиземноморья не абстрактного резонерства, а свойственной ему жизни — с его дворами, кипарисами, пирамидами перцев. Эсхила, а не Еврипида; дорических Аполлонов, а не ватиканских копий. Испании с ее силой и пессимизмом, а не римского бахвальства; выжженных солнцем пейзажей, а не театральной декорации, на фоне которой диктатор, пьянея от собственного голоса, подчиняет себе толпу. Мы хотим не лжи, победившей в Эфиопии, а правды, которую сейчас убивают в Испании.

IV

Средиземноморский бассейн — территория, населенная многими народами и подверженная множеству течений, возможно, единственный регион, способный к восприятию великой восточной философии. Далекий от упорядоченности классицизма, многоликий и неугомонный, он дает о себе знать в арабских кварталах или в портах

Генуи и Туниса. Торжествующее жизнелюбие, сутолока и скука, пустеющие к полудню площади Испании, сиеста — вот что такое подлинное Средиземноморье, и это сближает его с Востоком. С Востоком, а не с латинским Западом. Северная Африка — единственный регион, где Восток и Запад сосуществуют. В этой точке слияния нет никакой разницы в образе жизни испанца или итальянца с набережных Алжира и окружающих их арабов. Не исключено, что своей сущностью средиземноморский дух обязан этой уникальной в истории и географии встрече Востока и Запада. (На эту тему достаточно послушать Аудизио[2].)

Эта культура, эта средиземноморская правда существует и проявляет себя в самых разных аспектах:

1. В языковом единстве (владея одним из романских языков, легко выучить другой).

2. В единстве происхождения (поразительный коллективизм Средних веков — рыцарские ордена, монашеские ордена, феодальные структуры и т. д.). В этом смысле Средиземноморье воплощает картину живой цивилизации — причудливой, осязаемой, меняющей любые теории по своему

[2] Примечания: 2

Вальтер Аудизио (1909–1973) — деятель итальянского антифашистского Сопротивления, коммунист.

образу и подобию и впитывающей чужие идеи, не изменяя собственной природе.

Но, возразят нам, зачем в таком случае делать что-либо еще?

V

Проблема в том, что регион, преобразовавший большое количество всевозможных учений, сейчас должен так же поступить с нынешними. Средиземноморский коллективизм не похож на русский коллективизм в прямом смысле слова. Сегодня судьба коллективизма решается не в России, а в странах Средиземноморского бассейна и в Испании. Да, судьба человека стоит на кону давно, но, полагаю, именно здесь эта игра достигла высшей степени трагизма, а у нас на руках так много козырей. На наших глазах разворачиваются события, которые сильнее нас, однако наше сознание примет их и приспособится к ним. Вот почему наши противники, возражая нам, ошибаются во всем. Никто не имеет права предрешать судьбу того или иного учения или судить о собственном будущем исходя из прошлого, даже если речь идет о России.

Мы видим нашу задачу в том, чтобы реабилитировать Средиземноморье, вернуть его себе,

отобрав у тех, кто безосновательно заявляет на него свои права, и подготовить к восприятию новых неизбежных экономических форм. Мы должны понять, что здесь есть конкретного, живого, и в любом случае способствовать развитию самых разных аспектов его культуры. Сделать это нам проще, поскольку мы находимся в непосредственном соприкосновении с Востоком, у которого можем многому в этом отношении научиться. Мы — со Средиземноморьем, а не с Римом. Такие города, как Алжир и Барселона, могли бы сыграть важнейшую роль, внеся скромный вклад в развитие средиземноморской культуры, нацеленной на служение человеку, а не на его подавление.

VI

У современной интеллигенции трудная роль. Не ей приходится менять историю. Кто бы что ни говорил, вначале происходят революции, и лишь затем наступает черед идей. Поэтому в наши дни верность духовным ценностям требует огромного мужества. Но оно, по крайней мере, не бесполезно. Если сегодня образ интеллигента встречает столько презрения и осуждения, то потому, что с ним связано представление о некоем господине,

увлеченно спорящем на абстрактные темы и не способном обратить внимание на реальную жизнь, ставящем свою личность выше остального мира. Но для тех, кто не намерен увиливать от ответственности, главная задача — реабилитировать интеллигенцию, вдохнув жизнь в материал, с каким она работает, вернуть понятию духовного его истинный смысл, а культуре — подлинный здоровый и солнечный облик. Я уже говорил, что это мужество не бесполезно. Действительно, если менять историю — не дело интеллигенции, то ее задача — воздействовать на человека, который творит историю. Мы должны способствовать решению данной задачи. Мы хотим снова связать культуру с жизнью. Этому нас учит Средиземноморье, окруженное улыбками, солнцем и морем. В своей книге «Анабасис» Ксенофонт рассказывает, что после унизительного поражения в Азии греческие воины возвращались домой, умирая от голода и жажды, но, поднявшись на вершину горы, откуда открывался знакомый им с детства вид на море, они пустились в пляс, забыв об усталости и горе. Мы тоже не хотим отделять себя от мира. Существует всего одна культура. Не та, что питается абстракциями и пишется с заглавной буквы. Не та, что осуждает. Не та, что обеляет

несправедливость и убийства эфиопов и оправдывает стремление к варварским завоеваниям. Нам она хорошо знакома, и мы ее отвергаем. Нам нужна культура, живущая в дереве, в холме, в человеке.

Вот почему представители левых движений сегодня выступают перед вами в защиту дела, на первый взгляд не имеющего ничего общего с их убеждениями. Мне хотелось бы, чтобы и вы вслед за мной поверили в обратное. Мы считаем своим все, что живо. Политика для людей, а не люди для политики. Обитателям Средиземноморья нужна средиземноморская политика. Мы не желаем жить баснями. В окружающем нас мире насилия и смерти нет места надежде. Но, может, в нем есть место для цивилизации — подлинной цивилизации, для которой правда важнее сказки, а жизнь — главнее мечты. Этой цивилизации не нужна надежда. Внутри нее человек живет с опорой на истины[3].

К этому общему усилию должны присоединиться люди Запада. В рамках интернационализма это осуществимо. Если каждый в собственной

[3] Примечания: 3

Я говорил о новой цивилизации, а не о прогрессе в рамках цивилизации. Слишком опасно манипулировать вредной игрушкой, именуемой прогрессом. — *Прим. авт.*

области, в своей стране, в провинции согласится внести скромный вклад, успех не за горами. Что до нас, то мы знаем, в чем наша цель, и сознаем свои ограничения и возможности. Нам достаточно открыть глаза, чтобы увидеть, в чем состоит наша задача: убедить остальных в том, что сущность культуры — в служении жизни, а никакая духовность не должна быть враждебна человеку. Так же, как средиземноморское солнце светит всем, и плоды трудов человеческого интеллекта должны быть общим достоянием, а не источником конфликтов и причиной убийств.

Возможна ли новая средиземноморская культура, отвечающая нашему идеалу? Да. Но нам и вам предстоит помочь ее становлению.

В защиту интеллигенции

1945

После четырехлетнего перерыва, вызванного войной, в августе 1944 года снова начинает выходить газета «Настоящее время». 15 марта 1945 года этот католический еженедельник при поддержке ассоциации «Французская дружба» приглашает «молодых представителей интеллигенции» на слет в Париже, в зале «Мютюалите». Перед собравшимися выступил Альбер Камю. В числе остальных ораторов были главный редактор «Настоящего времени» Станислас Фюме[4], Андре Мандуз[5], Эмманюэль Мунье[6] и Морис

[4] Примечания: 4

Станислас Фюме (1896–1993) — французский эссеист, поэт, издатель и искусствовед.

[5] Примечания: 5

Андре Мандуз (1916–2006) — французский ученый, журналист, католик, антифашист и антиколониалист.

[6] Примечания: 6

Эмманюэль Мунье (1905–1950) — французский философ, теолог, эссеист.

Шуман[7]*. Текст выступления «В защиту интеллигенции» был впервые опубликован в конце 1945 года в первом номере журнала «Варьете». Альбер Камю включил его в первый том своих «Злободневных заметок» (1950), в раздел «Пессимизм и тирания».*

Если бы французская дружба, о которой мы сегодня говорим, была не более чем излиянием чувств между приятными людьми, я недорого дал бы за нее. Практиковать подобную дружбу легко — и бесполезно. Полагаю, что те, кто предпринял сегодняшнюю инициативу, стремились совсем к другому, к более сложной концепции дружбы, понимаемой как созидание. Чтобы не поддаться искушению легкости, позволяющей удовлетвориться высказыванием взаимных комплиментов, я хотел бы в отведенные мне десять минут показать, насколько это непростая задача. С этой точки зрения будет лучше, если я остановлюсь на том, что противоположно дружбе, — я имею в виду ложь и ненависть.

Действительно, мы не сможем ничего сделать для французской дружбы, если не избавимся от лжи и ненависти. В каком-то смысле мы и

[7] Примечания: 7

Морис Шуман (1911–1998) — французский политик, журналист, писатель, участник Второй мировой войны.

правда от них не избавились. Мы слишком долго посещали их школу. И, вероятно, последняя и самая долгоиграющая победа гитлеризма как раз и состоит в наличии этих постыдных следов в сердцах тех, кто изо всех сил боролся против него. Но разве могло быть иначе? На протяжении многих лет мир утопал в беспрецедентных потоках ненависти. Мы и сами четыре года присутствовали при ее сознательных проявлениях. Такие же люди, как вы и я, утром гладили по головке детей в метро, а вечером перевоплощались в старательных палачей. Они становились чиновниками ненависти и пытки. На протяжении четырех лет они управляли административной машиной: создавали целые деревни сирот, расстреливали людей, целясь в лицо, чтобы затруднить опознание; ногами запихивали детские трупы в слишком маленькие гробы, пытали брата на глазах у сестры, плодили подлецов и уничтожали самых несгибаемых. Но все эти четыре года они нуждались в нас, в нашей плоти и наших страхах. На протяжении четырех лет каждый француз получал, как оплеуху, свою порцию ненависти — стоило ему открыть утреннюю газету. От этого неизбежно должно было что-то остаться.

В нас осталась ненависть. В нас осталось то, что

недавно в Дижоне заставило четырнадцатилетнего подростка броситься на казненного судом Линча коллаборациониста и разодрать ему лицо. В нас осталась ярость, сжигающая душу при воспоминании о многих картинах и лицах. Ответом на ненависть палачей стала ненависть жертв. И, когда палачи убрались, французы остались со своей не до конца израсходованной ненавистью. Они до сих пор смотрят друг на друга со злобой.

Вот что мы должны побороть в первую очередь. Исцелить эти отравленные сердца. Одержать победу в самой трудной битве с врагом нам предстоит в самих себе, предприняв сверхусилия для преобразования жажды ненависти в стремление к справедливости. Не поддаваться ненависти, не уступать искушению насилием, не позволять слепым страстям завладеть нами — вот что мы можем сделать ради дружбы и против гитлеризма. Еще и сегодня некоторые газеты дышат оскорбительной ненавистью. Но тем самым они снова пасуют перед врагом. Напротив, мы не должны допускать, чтобы критика превращалась в оскорбление; мы должны признать, что у нашего противника могли быть свои резоны, и они, какими бы дурными ни были, не обязательно продиктованы корыстью. Мы должны наконец

изменить свое политическое мышление.

Если задуматься, что это означает? Это означает, что мы должны защитить интеллигенцию. Я убежден, что проблема именно в этом. Несколько лет назад, когда нацисты только пришли к власти, Геринг ясно изложил их мировоззрение, заявив: «Когда я слышу слово „интеллигенция“, я хватаюсь за револьвер»[8]. Эта идея вышла далеко за пределы Германии. В то время во всей цивилизованной Европе участились нападки на интеллигенцию. Любопытной оказалась реакция самих представителей интеллигенции, не в последнюю очередь возглавивших этот процесс. Повсюду торжествовала философия инстинкта, а вместе с ней — низкопробный романтизм, провозгласивший приоритет чувства над мыслью, будто одно не связано неразрывной нитью с другим. С тех пор на интеллигенцию непрерывно сыплются обвинения. Началась война, следом — поражение. Режим Виши сообщил нам, что ответственность за него несет интеллигенция. Крестьяне начитались Пруста, и все согласились,

[8] Примечания: 8

На самом деле широко разошедшаяся цитата принадлежит одному из персонажей пьесы нацистского драматурга Ганса Йотса «Шлагетер», посвященной Гитлеру, и звучит так: «Когда я слышу слово „культура“, я спускаю предохранитель своего револьвера».

что признаки интеллигентности — это «Пари-Суар»[9], Фернандель и дружеские посиделки. По их мнению, источником убийственной посредственности Франции служили книги.

Еще и сегодня интеллигенцию подвергают жестокой критике. Это доказывает лишь одно: враг пока не побежден. Стоит вам попытаться вникнуть во что-нибудь без предубеждения или заговорить об объективном подходе, как вас обвинят в изворотливости и извратят ваши побуждения. Это неправильно! Именно это мы и должны изменить. Мне, как и всем остальным, известны эксцессы интеллекта; как и все остальные, я знаю, что интеллектуал — опасное животное, легко склонное к предательству. Но все это — примеры интеллигенции, которую не назовешь хорошей. Мы же говорим о смелой интеллигенции, на протяжении четырех лет платившей дорогую цену за право на самоуважение. Когда умирает такая интеллигенция, наступает ночь диктатур. Поэтому мы должны поддержи-

[9] Примечания: 9

Вскоре после переезда в Париж в начале 1940 г. Камю короткое время работал секретарем редакции газеты «Пари-Суар». После массовой эмиграции в июне 1940 г. он покинул газету, не опубликовав в ней ни одной статьи. Газета «Комба», главным редактором которой Камю стал в 1944 г., позиционировала себя как антипод предвоенной прессы, падкой на дешевые сенсации; ее достойным порицания образцом Камю считал «Пари-Суар». — *Прим. изд.*

вать ее права и обязанности. Только такой ценой обретет смысл французская дружба. Дружба — это наука свободных людей. А свободы не бывает без интеллекта и взаимопонимания.

В заключение я хотел бы обратиться к вам, студентам. Я не из тех, кто станет читать вам мораль. Слишком многие французы путают добродетель с анемией. Имей я право, я бы выступил перед вами проповедником страсти. Но мне хотелось бы, чтобы те, кому предстоит стать интеллигенцией завтрашнего дня, решились бы не соглашаться хотя бы по одному-двум пунктам. Мне хотелось бы, чтобы они не соглашались, когда им скажут, что интеллигенция ни для чего не нужна, и попробуют доказать, что ради успеха можно и солгать. Мне хотелось бы, чтобы они не шли на уступки перед хитростью, насилием и слабоволием. Тогда, вероятно, французская дружба перестанет считаться пустой болтовней и будет чем-то иным. Тогда, возможно, человек свободного и влюбленного в правду народа вернет себе интерес к людям, без которого мир навсегда останется необъятной пустыней одиночества.

Выступление Альбера Камю (перед румынами)

1945

Альбер Камю выступил перед румынским народом в тот момент, когда страна переживала серьезный политический кризис. Под давлением коммунистов правительство национального единства, образованное в августе 1944 года, после разгрома немецких и румынских войск силами Красной армии в октябре ушло в отставку, и его сменило просоветское правительство, которое возглавил Петру Гроза[10]*. После выборов 1946 года и отречения короля Михая I в 1947-м Румыния стала народной демократией под патронажем Москвы. Нам не известны обстоятельства, при каких состоялось выступление Альбера Камю по радио. Возможно, в его организации приняли участие Пьер Кауфман и Серж Карски, поочередно работавшие в Румынии в качестве специальных корреспондентов газеты «Комба», главным редактором которой тогда был Альбер Камю.*

---

[10] Примечания: 10
В марте 1945 г.

У француза, сегодня говорящего с вами, нет иного титула, кроме одного: на протяжении четырех лет я был гражданином страны, покоренной и униженной так же, как Румыния. Поэтому я не собираюсь ни произносить перед вами официальную речь, ни делиться личными переживаниями, что могли бы позволить себе выдающиеся деятели. Но, мне кажется, я могу говорить с вами как один из миллионов безымянных французов, составляющих народ, познавший угнетение.

Как и всем моим соотечественникам, мне известно, что Румынию и Францию всегда объединяли прочные связи. Но они, упоминаемые в речах государственных чиновников или в академическом дискурсе, казались мне немного абстрактными. Если бы мне пришлось говорить только о них, то нечего было бы вам сказать. Но в последние четыре года сложилась новая европейская общность, внутри которой между французским и румынским народами возникли новые связи, и она — это общность страдания. И, будучи ее частью, я могу говорить.

Я не очень люблю ораторские приемчики. Поэтому скажу то, что думаю: Румыния и Франция одновременно погрузились в стыд и одновременно от него освободились. Именно это делает нас

похожими и предрекает нам общую судьбу. Это должно помочь нам лучше понять друг друга. Ведь если народы не сблизят стыд и общая борьба, то их не сблизит ничто на свете и они будут обречены на вечное одиночество.

Едва рассеялся мрак оккупации, Европе приходится признать насущную необходимость солидарности. Сегодня мы знаем: то, что угрожает свободе румын, грозит и свободе французов, и наоборот; все, что наносит ущерб французу, одновременно вредит и свободным людям Румынии. Мы понимаем, что наше спасение — в единении с остальными народами Европы; в противном случае мы вместе погибнем. И, возможно, то, чего мы не сумели сделать, пока интеллигенция была свободной и счастливой, мы сделаем теперь, после долгих лет ее унижения и отчаяния.

Я знаю, что среди вас есть те, кто беспокоится о судьбе Франции и вспоминает о ее величии. Они задаются вопросом: «Что с ней происходит и что с ней будет завтра?» На этот вопрос у меня нет ответа. Мои ровесники, французы, привыкли с тревогой думать о своей стране, и им не с кем разделить эту тревогу. Но о том, в чем мы уверены, я могу с вами говорить. Мы убеждены, что ни Франция, ни вся Европа не изменятся сами по

себе. Завоевать политическое величие трудно, а потерять его легко. Но мы также знаем, что есть непреходящее величие, хотя и для его достижения нужно приложить немало усилий.

Я говорю о величии, которое указывает нам путь, потому что оно основано не на ненависти и не на угнетении других. Это величие справедливости и свободы. Много лет мы ненавидели несправедливость, нас утешала надежда на свободу, и мы больше не хотим жить в неправедной и покоренной стране. Я верю, что вы, мои румынские друзья, как и вся Европа, по своей воле разделите с нами это величие.

Кризис человека

1946

Весной 1946 года отдел культуры Министерства иностранных дел предложил Альберу Камю прочитать цикл лекций в Северной Америке. За время морского перехода он написал эссе «Кризис человека», с которым впервые публично выступил 28 марта 1946 года на встрече в Колумбийском университете. Участие в мероприятии приняли также Веркор[11] и Тимере[12]. В немного расширенном виде Камю, оставаясь в США, еще раз прочитал эту лекцию, машинописный текст которой был не так давно обнаружен в архиве Дороти Норман (Библиотека Байнеке Йельского университета). Именно данный вариант лекции публикуется ниже. Дороти Норман — главный редактор журнала «Twice a Year» («Дважды в год») — напечатала «Кризис человека» в конце

---

[11] Примечания: 11

Веркор (наст. имя Жан Марсель Брюллер; 1902–1991) — французский писатель, художник-иллюстратор.

[12] Примечания: 12

Тимере (наст. имя Леон Мочан; 1900–1990) — французский математик, физик и промышленник, участник движения Сопротивления.

1946 года в английском переводе Лайонела Эйбела.

Дамы и господа!

Когда мне предложили выступить с лекциями в Соединенных Штатах Америки, меня охватили сомнения и колебания. Я не в том возрасте, когда люди обычно выступают с лекциями, и гораздо увереннее чувствую себя, делясь размышлениями, а не категорическими утверждениями. Дело в том, что я не ощущаю себя обладателем того, что часто называют истиной. Я озвучил свои сомнения, и мне очень вежливо ответили, что мое личное мнение не так уж важно. Главное, чтобы я сумел передать своей аудитории сведения о Франции, на основании которых она составила бы собственное представление. Мне предложили просветить моих слушателей относительно французского театра, литературы и даже философии. Я ответил, что, вероятно, было бы не менее интересно поговорить о чрезвычайно тяжелых условиях, в каких работают французские железнодорожники и шахтеры северных областей страны. На что мне твердо возразили, что никогда не следует насиловать свой талант и на специальные темы лучше высказываться тем, кто наделен для этого соответствующими полно-

мочиями. Вопросами литературы я интересуюсь давно, однако, вне всякого сомнения, понятия не имею, как правильно переводить стрелки, поэтому казалось естественным, что от меня ждали рассказа о литературе, а не о железных дорогах.

И тут меня осенило. Я должен говорить о том, что хорошо знаю, и дать слушателям представление о Франции. Поэтому я решил, что не стану касаться ни литературы, ни театра. Литература, театр, философия, интеллектуальный поиск и труд целого народа — все это не более чем отражения другого, основополагающего вопроса — борьбы за жизнь и за человека, который и составляет главную проблему настоящего времени. Французы чувствуют, что угроза человеку никуда не исчезла, и они также сознают, что не смогут продолжать жить, пока представление о человеке не преодолеет кризис, вызывающий споры по всему миру. Вот почему, храня верность своей стране, я решил, что буду рассказывать о кризисе человека. И, поскольку мне следует говорить о том, что хорошо знаю, я счел, что будет лучше, если с максимальной ясностью опишу духовный опыт людей моего поколения — по той причине, что этот опыт по масштабу вполне сопоставим с мировым кризисом и способен пролить хотя бы

слабый свет и на абсурдность судьбы, и на один из аспектов нынешней французской восприимчивости.

Прежде всего я хотел бы очертить рамки этого поколения. Мои ровесники во Франции и вообще в Европе родились либо накануне, либо во время Первой мировой войны. Они вступили в возраст отрочества, когда в мире бушевал экономический кризис, и достигли 20-летия в год захвата власти Гитлером. Затем для завершения образования им предложили войну в Испании, Мюнхен, войну 1939 года, поражение и четыре года оккупации и подпольной борьбы. Полагаю, они представляют собой то, что назвали «интересным поколением». Поэтому я, наверное, правильно рассудил, решив, что для вас будет более познавательно, если я стану говорить не от себя лично, а от имени определенного числа французов, которым сегодня около 30 лет и чьи разум и чувства сформировались в те ужасные годы, когда вместе со всей страной они терпели позор и жили мечтой о бунте.

Да, это интересное поколение — и интересно оно прежде всего тем, что, вынужденное лицом к лицу столкнуться с абсурдом мира, слепленного для них старшими предшественниками, ни во

что не верило и жило мыслью о бунте. Его литература возражала против ясности изложения, повествовательности и самой фразы. Живопись восставала против сюжета, реализма и простой гармонии. Музыка отказалась от мелодичности. Что до философии, то она учила тому, что истины не существует и есть только феномены; что существуют мистер Смит, месье Дюран и герр Фогель, но между этими тремя разными персонажами нет ничего общего. В нравственном отношении это поколение было еще более категорично: национализм казался ему устаревшим понятием, а религия — способом бегства от реальности. Двадцать пять лет международной политики приучили его с сомнением относиться к любой чистоте и думать, что никто никогда не ошибается и каждый может оказаться правым. Что касается традиционной морали нашего общества, то она представлялась нам тем, чем всегда и являлась, — чудовищным лицемерием.

Итак, мы отрицали все. Разумеется, в этом не было ничего нового. Другие поколения в разных странах и на иных отрезках истории пережили подобный опыт. Новым было то, что люди, чуждые любым ценностям, были вынуждены определять свою позицию по отношению к убий-

ству и террору. Именно потому, что, пережив мучительно противоречивый период, они пришли к мысли, что, возможно, имеет место Кризис Человека. В самом деле, в войну они вступили как вступают в ад — если правда, что ад — это отрицание. Им не нравилась ни война, ни насилие; им пришлось мириться с войной и применять насилие. Если они и испытывали ненависть, то только к ненависти. Тем не менее им пришлось освоить эту трудную науку. Раздираемые внутренними противоречиями, они столкнулись с необходимостью решать самую болезненную из проблем, прежде никогда не вставшую перед людьми. Итак, с одной стороны, перед нами — уникальное поколение, какое я только что описал, а с другой — мирового масштаба кризис человеческого сознания, который мне хотелось бы охарактеризовать с наибольшей ясностью.

Что собой представляет кризис? Я хотел бы вместо общих характеристик вначале привести в пример четыре короткие истории о том времени, которое мир уже начал забывать, но оно все еще обжигает болью наши сердца.

1) В одной из европейских столиц, в здании гестапо, сидели два обвиняемых, связанные и истекающие кровью после ночного допроса. Туда

пришла уборщица, безмятежная и, очевидно, успевшая позавтракать, и старательно принялась за свое дело; в ответ на упрек одного из истерзанных узников она с негодованием произнесла фразу, которая в переводе звучала бы примерно так: «Чем занимаются мои жильцы, меня не касается».

2) В Лионе одного из моих товарищей вывели из камеры на допрос — третий за ночь. Во время последнего допроса ему разорвали уши, и поэтому голова у него была забинтована. Его конвоир, тот самый немецкий офицер, присутствовавший на двух предыдущих допросах, с чем-то вроде теплоты и заботы спросил: «Ну, как ваши уши?»

3) В Греции после одной из партизанских вылазок немецкий офицер ведет на расстрел трех братьев, взятых в заложники. Старуха-мать бросается ему в ноги, и он соглашается пощадить одного из братьев, но при условии, что она сама укажет какого. Мать никак не могла решиться с выбором, и офицер взял заложников на прицел. Тогда она указала на старшего, потому что у того уже была семья, но тем самым обрекла на гибель двух других, как того и хотел немецкий офицер.

4) Группа депортированных женщин, в числе которых была одна из наших знакомых, воз-

вращалась во Францию через Швейцарию. На швейцарской территории им попалась на глаза обычная могила, и вид этой могилы вызвал у них истерический смех. «Так вот как тут обходятся с мертвыми!» — повторяли они.

Я рассказал эти истории не потому, что хотел вас поразить. Знаю, что чувства людей надо щадить, они сами предпочитают на многое закрывать глаза, чтобы не лишиться покоя. Я рассказал их потому, что они позволяют мне, отвечая на вопрос: «Действительно ли мы наблюдаем Кризис Человека?», не ограничиваться кратким «да». Они разрешают мне отвечать на него так же, как ответили все те люди, о ком я рассказал. Да, Кризис Человека реален, потому что в нашем мире можно смотреть на смерть или пытку с равнодушием, или с дружеским интересом, или с любопытством, или с безразличием. Да, Кризис Человека реален, поскольку на убийство можно смотреть не с ужасом и возмущением, как это должно быть. Человеческая боль воспринимается как досадная неприятность наподобие трудностей с продовольствием или необходимости стоять в очереди, чтобы раздобыть хотя бы немного сливочного масла.

В этом смысле слишком легко во всем обви-

нить одного Гитлера и заявить, что после смерти зверя исчез и его яд. Но мы хорошо знаем, что яд никуда не исчез, все мы носим его в своем сердце, и это чувствуется по тем остаткам злобы, с какой смотрят друг на друга народы, партии и отдельные люди. Я всегда думал, что народ несет ответственность как за своих предателей, так и за героев. Но и вся цивилизация, в частности белая цивилизация, отвечает как за свои перекосы, так и за собственные достижения. С этой точки зрения, мы все ответственны за гитлеризм и должны заняться поиском общих причин, из-за которых стало возможно столь ужасное зло, изуродовавшее лик Европы.

Давайте попробуем с помощью четырех рассказанных мною историй перечислить самые явные симптомы данного кризиса. Прежде всего это:

1) Подъем волны террора вследствие извращения таких ценностей, как человек или логика истории, о которых судят не по их достоинствам, а по их успешности. Весь современный кризис сводится к факту, что ни один западный человек не уверен в ближайшем будущем и каждый живет во власти более или менее сильной тревоги так или иначе оказаться перемолотым Историей. Если мы хотим, чтобы этот несчастный человек,

этот Иов современности, не погиб от ран, утопая в дерьме, мы должны сначала устранить препятствие в виде страха и тревоги и вернуть ему свободу духа, без чего он не сумеет решить ни одну проблему из тех, что стоят сегодня перед нашим сознанием и совестью.

2) Этот кризис основан на невозможности убеждения. Люди живут и могут жить, только разделяя идею, что у них есть нечто общее, что позволяет им в любых обстоятельствах понимать друг друга. Мы продолжаем верить, что, обращаясь к человеку на человеческом языке, всегда можем рассчитывать на человеческую реакцию. Однако вот что нам открылось: есть люди, которых нельзя убедить. Жертва концентрационного лагеря не питает надежды, что сумеет объяснить избивающим ее эсэсовцам, что так поступать не следует. Греческая мать, о которой я рассказал, не могла убедить немецкого офицера, что нехорошо навязывать выбор, разрывающий ей сердце. Дело в том, что эсэсовец или немецкий офицер представляют не человека и не человечество, а служат воплощением инстинкта, возведенного в ранг идеи или учения. Страсть, даже смертоубийственная, была бы предпочтительнее. Потому что страсть конечна, и ее может переубедить другая

страсть или иной вопль плоти или крик души. Но человек, способный проявлять заботу об ушах, которые сам же порвал, не охвачен никакими страстями; в нем говорит математика, которую ничто не в силах остановить или переубедить.

3) Еще одно свойство кризиса — замена природного объекта бумажкой, то есть разрастание бюрократии. Современный человек все чаще воздвигает между природой и собой сложную абстрактную машину, обрекающую его на одиночество. Карточки появляются, когда не хватает хлеба. Французам полагается всего 1200 калорий в день, зато у них есть шесть разных видов карточек, на которых стоит сотня штампов. Так происходит повсюду в мире, где разрослась и продолжает расширяться бюрократия. Чтобы приплыть из Франции в Америку, по требованию обеих сторон я извел груду бумаги. Этого количества бумаги хватило бы, чтобы напечатать мою лекцию в достаточном количестве экземпляров и раздать ее всем присутствующим, и мне незачем было бы приезжать. Множа бумаги, учреждения и чиновников, мы творим мир, из которого исчезает человеческое тепло, где ни один человек не может прикоснуться к другому, не пройдя лабиринт того, что именуется формальностями.

Интересуясь состоянием ушей моего товарища, немецкий офицер не видел в этом ничего странного, поскольку, когда чуть раньше он их ему рвал, он просто исполнял свои служебные обязанности, следовательно, не делал ничего дурного. В результате люди умирают, любят и убивают не от своего лица, а по доверенности, и это называется, во всяком случае, я так полагаю, хорошей организацией.

4) Происходит вытеснение реального человека человеком политическим. Нет больше личных страстей, есть только страсти коллективные, то есть абстракции. Все мы вольно или невольно вовлечены в политику. Отныне значение имеет не уважение к матери и не стремление избавить ее от страданий, а торжество учения. Человеческая боль никого не возмущает — она превращена в цифру в счете, и его чудовищный суммарный итог еще даже не подсчитан.

5) Очевидно, что все эти симптомы сводятся к одному, представляющему собой одновременно культ эффективности и культ абстракции. Вот почему современный европеец обречен на одиночество и молчание. Он не способен объединиться с другими людьми на базе общих ценностей. И, поскольку у него больше нет защиты, основан-

ной на уважении человеческих ценностей, ему остается одно: стать жертвой или палачом.

II

Вот что поняли люди моего поколения и вот каков кризис, перед которым они оказались и в каком продолжают пребывать. Мы должны найти из него выход с опорой на ценности, которыми располагаем, иначе говоря, с единственной опорой на осознание абсурда существующего положения. Именно с этим безутешным чувством мы вступили в ужасную войну, не имея уверенности в себе. Мы знали только, что не можем покориться зверью, поднявшему голову по всей Европе. Однако не понимали, как объяснить самим себе, в чем заключается наш долг. Мало того, самые сознательные из нас замечали, что не способны сформулировать принцип, который помог бы им противостоять террору и осудить убийство.

Действительно, если ни во что не веришь и все бессмысленно, тогда все позволено и ничто не имеет значения. Не существует ни добра, ни зла, а Гитлер одновременно и неправ, и прав. Значит, можно отправить миллионы невинных душ в печи крематория — или посвятить себя уходу

за прокаженными. Одной рукой рвать человеку уши, а другой — гладить его по голове. Заниматься уборкой на глазах истязаемых палачом. Воздавать последние почести усопшим или выбрасывать трупы на помойку. Все равноценно. Но если ничто не имеет смысла, то мы вынуждены признать: прав тот, кто добился успеха. Еще и сегодня находится множество умных скептиков, заявляющих: если бы Гитлер выиграл войну, история признала бы его заслуги и воздвигла бы ему тот отвратительный пьедестал, на который он попытался вскарабкаться сам. Нет никаких сомнений, что история, какой мы ее знаем, освятила бы имя герра Гитлера и оправдала террор и убийство, как мы сами освящаем их и оправдываем, стоит нам допустить мысль, что ничто на свете не имеет смысла.

Правда, среди нас есть те, кто полагал, что в отсутствие каких бы то ни было высших ценностей возможно хотя бы поверить, что смысл имеет история. В любом случае действовали они так, словно и правда так думали. Они говорили, что эта война необходима потому, что покончит с эпохой национализмов и подготовит пришествие эры империй, за которой наступит — после череды конфликтов либо без них — время обще-

человеческого общества и рая на земле.

Но, рассуждая подобным образом, они приходили к тому же выводу, как если бы соглашались с мыслью, что все бессмысленно. Ведь если история имеет смысл, то это должен быть всеобъемлющий смысл — или не будет никакого. Эти люди рассуждали и поступали так, словно история подчиняется некой независимой диалектике, а все мы дружно направляемся к некой конечной цели. Они думали и действовали согласно гнусному принципу, сформулированному Гегелем: «Человек для истории, а не история для человека». На самом деле, политический и моральный реализм, сегодня правящий судьбами мира, часто невольно руководствуется философией истории в немецком изводе, утверждающей, что человечество движется разумным путем к определенному будущему. Мы заменили нигилизм абсолютным рационализмом, но результат в обоих случаях один и тот же. Если правда, что история подчиняется независимой фатальной логике, если согласно все той же немецкой философии верно, что на смену анархии должно с неизбежностью прийти феодальное государство, затем феодализм должен уступить место национальному государству, а национальные

государства — империям, чтобы наконец слиться в общечеловеческое общество, тогда все, что служит успеху этого неизбежного продвижения, является правильным, а исторические свершения представляют собой окончательные истины. Но, поскольку эти свершения могут быть осуществлены лишь посредством обыкновенных способов, таких как войны, заговоры и убийства — единичные и массовые, — то судить следует не о том, хороши эти действия или дурны, а о том, успешны они или нет.

Таким образом, в современном мире люди моего поколения на протяжении долгих лет подвергались двойному искусу: либо поверить, что истины нет, либо признать истиной исключительно исторический фатализм. Многие поддались одному из этих искушений. Мир оказался подчинен власти силы, то есть в конечном счете террору. Ведь если нет ни правды, ни лжи, ни добра и ни зла, то единственной ценностью становится эффективность, а законом жизни — умение проявлять эффективность, иначе говоря, показывать силу. Отныне мир должен делиться не на праведников и негодяев, а на хозяев и рабов. Прав тот, кто сумел поработить других. Права уборщица, а заключенные, подвергающиеся пыт-

кам, неправы. Пытавший их немецкий офицер, палач, эсэсовец, взявший на себя роль могильщика, — вот они, разумные люди нового мира. Оглянитесь вокруг и спросите себя: может, это время уже наступило? Мы существуем, задыхаясь в удавке насилия. Внутри отдельных стран и по всему миру подозрительность, ресентимент, алчность и борьба за власть формируют вселенную тьмы и отчаяния, где каждый человек вынужден жить в настоящем, страшась самого слова «будущее», беспомощный перед абстрактной силой, изможденный и ошеломленный стремительностью жизни, оторванный от естественных ценностей, разумного досуга и простого счастья. Вероятно, впрочем, что вы в своей пока еще счастливой Америке не увидите этого или почти не увидите. А вот люди, о ком я говорю, смотрят на это годами, чувствуют это зло на своей шкуре, читают его на лицах тех, кого любят, и из глубины их больных сердец поднимается огромная мятежная волна, которая погребет под собой все. Преследуемые видением чудовищных картин прошлого, они понимают, что справиться с ней будет нелегко, но ужас недавних лет проник в них слишком глубоко, чтобы они согласились от нее отвернуться, и здесь для них начинаются

настоящие проблемы.

III

Если нынешний кризис характеризуют воля к власти, террор, вытеснение реального человека человеком политическим и историческим, доминирование абстракций и фатализма, а также лишенное будущего одиночество, и если мы хотим добиться разрешения этого кризиса, то должны изменить данные характеристики. Наше поколение столкнулось с огромной проблемой — проблемой отрицания всего и вся, и именно из этого отрицания ему пришлось черпать силы для борьбы. Бессмысленно было советовать нам, что надо верить в Бога, или в Платона, или в Маркса, потому что вера подобного рода была нам чужда. Единственный стоявший перед нами вопрос заключался в том, согласны ли мы принять мир, где каждому отведена или роль жертвы, или палача. Разумеется, ни то, ни другое нас не привлекало, поскольку в глубине души мы понимали, что это разделение иллюзорно и в конечном счете жертвами оказываются все, включая убийц, которых ждет тот же крах. Проблема, следовательно, состояла не в приятии или неприятии условий этого мира, а в том, чтобы выяснить, что мы мо-

жем ему противопоставить.

Вот почему, избрав — без видимых причин — путь борьбы со злом, мы постарались найти аргументы, объясняющие наш бунт, и поняли, что восстаем не только ради себя, но и ради чего-то такого, что объединяет всех людей.

Как мы к этому пришли?

Действительно, что означал наш бунт в мире, лишенном ценностей, в духовной пустыне, служившей нам домом? Она превратила нас в тех, кто сказал: «Нет». Но в то же время мы были теми, кто произнес: «Да». Мы говорили *нет* этому миру, его сущностному абсурду, опасным абстракциям и убийственной цивилизации, которую он для нас готовил. Говоря *нет*, мы заявляли, что все это продлилось достаточно долго и есть грань, за какую переступать нельзя. Одновременно мы заявляли, что есть нечто и *за этой гранью* — нечто в нас, что отказывалось далее терпеть этот позор и что не желало более мириться с унижением. Разумеется, данное противоречие вынудило нас к размышлениям. Мы полагали, что этот мир живет и борется без опоры на реальные ценности. Тем не менее мы боролись против Германии. Знакомые мне участники французского Сопротивления, развозившие листовки, читали

в поезде Монтеня, тем самым доказывая, что мы — как минимум — способны понять скептиков, не отвергая идею чести. Следовательно, самим фактом своей жизни, наполненной надеждой и борьбой, мы утверждали нечто позитивное.

Но имело ли это нечто общую ценность? Выходило ли оно за рамки мнения отдельного индивида? Могло ли диктовать правила поведения? Ответ на эти вопросы весьма прост. Люди, о которых я говорю, поднимаясь на борьбу, смертельно рисковали, и их готовность идти на смерть доказывала, что, жертвуя собой, они действовали во имя добродетели, выходящей за рамки их персонального существования и личной судьбы. Борясь с врагом, они защищали ценность, общую для всех людей. Когда заключенных пытали на глазах уборщицы и старательно рвали им уши, когда мать вынуждали обречь на гибель родного сына, а праведников сбрасывали, как свиней, в братские могилы, в душах восставших рождалось нечто, что принадлежало не только им, но представляло собой общее благо людей, объединенных чувством солидарности.

Да, эти страшные годы преподали нам важный урок. Оскорбление, нанесенное студенту в Праге, не оставляло равнодушным рабочего

из парижского пригорода, а кровь, пролитая на берегу центрально-европейской реки, заставила техасского фермера проливать свою на земле Арденн, куда он попал впервые в жизни. Это казалось абсурдным, безумным, почти немыслимым. Однако в этом абсурде и содержался урок, объяснявший, что мы переживаем коллективную трагедию и ставкой в этой игре было наше общее достоинство, единство людей, нуждающееся в защите и поддержке. Теперь мы поняли, что нам делать, узнали, как человек посреди полнейшего отрицания морали может обрести необходимые ценности и подчинить им свое поведение. Ведь если единение людей во взаимном признании их достоинства есть истина, то мы должны служить этому единению.

Чтобы его поддерживать, людям нужна свобода, поскольку между хозяином и рабом нет ничего общего и бессмысленно объединяться и даже просто разговаривать с порабощенным человеком. Да, рабство обрекает на молчание, и это самое ужасное из всех молчаний.

Ради поддержки единения мы должны добиться исчезновения несправедливости, потому что не может быть контакта между угнетенным и угнетателем. Зависть тоже принадлежит зоне

молчания.

Ради поддержки единения нам следует проклясть ложь и насилие, потому что лгущий человек закрывается от других людей, а тот, кто пытает других и навязывает им свою волю, обрекает нас на полное молчание. Так, из отрицания простого побуждения к бунту мы извлекаем моральные ценности свободы и искренности. Да, именно единство мы должны противопоставить миру убийц. Отныне мы это знаем. Единство — это то, что мы обязаны поддерживать, чтобы защититься от убийц. Вот почему, и сегодня мы это понимаем, мы должны бороться с несправедливостью, порабощением и террором, ведь три эти бедствия есть то, что вынуждает людей к молчанию, воздвигает между ними барьеры, делает их непроницаемыми друг для друга и мешает им обрести ту единственную ценность, которая способна спасти их от мира отчаяния и являет собой прочное братство людей, вместе сражающихся против судьбы. Сегодня, когда наконец завершилась эта долгая ночь, мы знаем, что должны делать в мире, раздираемом кризисом.

Так что же мы должны делать?

1) Называть вещи своими именами и отдавать себе отчет в том, что каждый раз, когда мы поз-

воляем себе обдумывать некоторые идеи, мы убиваем миллионы людей. Человек не вынашивает дурные мысли потому, что он убийца. Человек становится убийцей потому, что вынашивает дурные мысли. Таким путем можно превратиться в убийцу, даже если никого вроде бы не убивал, и мы все — в большей или меньшей степени — убийцы. Поэтому первое, что нужно сделать, — это просто отбросить (и в мыслях, и в поступках) всякую форму реалистического и фаталистического мышления.

2) Необходимо избавить мир от отравы страха, мешающего людям рождать правильные мысли. И, раз уж именно в этом городе Организация Объединенных Наций соберется на одно из важнейших заседаний[13], мы могли бы выступить с предложением: первый же принятый в рамках этой всемирной организации документ должен — после завершения Нюрнбергского процесса — торжественно провозгласить запрет на смертную казнь во всем мире.

3) Необходимо использовать каждую возможность, чтобы указывать политике ее истинное

---

[13] Примечания: 13

Совет Безопасности ООН собирался в Нью-Йорке с 25 марта по 18 августа 1946 г. Около двадцати заседаний прошли в колледже Хантер (ныне колледж Леман) в Бронксе.

место, второстепенное место. Речь ведь не идет о том, чтобы предоставить миру политический или моральный катехизис, своего рода новое евангелие. Беда нашего времени заключается в том, что политика, помимо катехизиса, пытается навязать нам целую философию, а порой даже учить нас искусству любить. Но роль политики — заниматься уборкой, а не разрешать наши внутренние проблемы. Лично мне неведомо, существует ли абсолют. Однако я точно знаю, что он не находится в области политики. Абсолют — не общее дело, а личное дело каждого, и все мы должны строить свои взаимоотношения таким образом, чтобы каждый имел внутренний досуг для размышлений об абсолюте. Наша жизнь в определенном смысле принадлежит другим, и это правильно, что в случае необходимости мы приносим ее в жертву. Но наша смерть принадлежит только нам. Именно так я определяю свободу.

4) На основе отрицания заняться поиском и созданием позитивных ценностей, что позволит примирить негативное мышление с возможностями позитивного действия. Это работа философов, и я очертил лишь примерный ее контур.

5) Мы должны понять, что данный подход рав-

нозначен созданию универсализма, способного объединить всех людей доброй воли. Чтобы выйти из зоны одиночества, необходимо общаться, но говорить надо откровенно, высказывая всю правду, и в любом случае никогда не лгать. Однако мы можем говорить правду, только если живем в мире, где она основана на ценностях, общих для всех людей. Не господину Гитлеру решать, что есть правда, а что ложь. Ни один человек в мире ни сегодня, ни завтра, никогда не сможет утверждать, что его правда достаточно хороша для того, чтобы навязать ее остальным. Лишь общее для всех сознание способно соответствовать этому амбициозному стремлению. Необходимо найти ценности, базовые для этого общего сознания. Свобода, которой мы добиваемся, в итоге сводится к праву не лгать. Только при этом условии мы будем понимать, для чего живем и зачем умираем.

Вот к чему мы пришли. Возможно, не следовало заходить так далеко, чтобы добраться до этого пункта. Но, в конце концов, человеческая история — это история людских ошибок, а не человеческой истины. Истина, вероятно, сродни счастью: она проста, не имеет истории.

Означает ли это, что мы нашли решение всех

проблем? Разумеется, нет. Этот мир не стал лучше и разумнее. Мы по-прежнему не избавились от абсурда. Но у нас по меньшей мере есть смысл прикладывать усилия ради изменения нашей жизни — тот смысл, которого нам раньше не хватало. Если бы не было человека, мир всегда оставался бы юдолью отчаяния, но человек есть — со своими страстями, мечтами и стремлением к объединению с другими людьми. Мы представляем собой тех европейцев, кто пытается соединить пессимистический взгляд на мир с глубоко оптимистичной верой в человека. Мы не претендуем на свободу от истории, потому что живем в истории.

Мы претендуем лишь на историческую борьбу ради сохранения в истории той части человека, который ей не принадлежит. Хотим лишь заново открыть пути той цивилизации, где человек, не отворачиваясь от истории, больше не будет ее рабом, а услуги, которые каждый должен оказывать всем остальным, будут уравновешены размышлением, досугом и частично счастьем для себя самого.

Думаю, я могу сказать, что мы всегда будем отвергать восхищение перед событием, фактом, богатством, властью, историей в том виде, в

каком ее знаем, и миром в том виде, в каком он существует. Мы хотим видеть положение человека таким, какое оно есть, и знаем, на что оно похоже. Именно ужасом этого положения были вызваны реки крови, пролитые за века истории ради едва заметного изменения человеческой судьбы. Таков закон. В XVIII веке во Франции летели головы; Французская революция сжигала сердца людей восторгом и ужасом. В результате в начале следующего столетия легитимную монархию сменила монархия конституционная. Нам, французам, живущим в XX веке, этот ужасный закон хорошо знаком. Война, оккупация, массовые казни, тысячи тюремных камер, стонущая от боли растерзанная Европа — и все это ради того, чтобы кое-кто из нас наконец уяснил себе два-три нюанса, помогающие не впасть в полную депрессию. Оптимизм в данном случае выглядит возмутительно. Мы знаем, что те, кто погиб, были лучшими из нас, потому что сами выбрали свою судьбу. А мы, те, кто жив, должны помнить: мы живы только потому, что сделали меньше, чем другие.

Вот почему мы продолжаем существовать внутри этого противоречия. Единственное различие состоит в том, что нынешнее поколение может

добавить к нему огромную надежду на человека. И, раз уж я решил рассказать вам об одной из сторон французской восприимчивости, вам достаточно будет не забывать о том, что сегодня во Франции и в Европе живет поколение, в общем и целом разделяющее следующую мысль: тот, кто питает надежды на человеческое положение, — безумец, а тот, кого происходящие события приводят в отчаяние, — трус. Это поколение отвергает абсолютные истины и господство политической философии, но утверждает приоритет человека из плоти и крови в его стремлении к свободе. Оно не верит в возможность всеобщего счастья и довольства, но полагает, что можно уменьшить человеческие страдания. Мир по сути предрасположен к несчастью, поэтому, думает оно, мы должны что-то делать ради счастья. Мир несправедлив, поэтому мы должны бороться за справедливость; он абсурден, поэтому мы должны привнести в него разумное начало.

Что все это означает? Это означает, что надо быть скромнее в мыслях и поступках, оставаться на своем месте и хорошо выполнять свое дело. Всем нам предстоит создать, помимо партий и правительств, общность думающих людей, способных вступить в диалог между народами и

собственной жизнью и своими высказываниями настаивающих на том, что этот мир должен перестать быть миром полицейщины, солдатни и денег и превратиться в мир мужчины и женщины, мир плодотворного труда и нормального досуга.

Вот на что, полагаю, мы должны направить свои усилия, вот над чем следует размышлять, вот ради чего, если понадобится, должны идти на жертвы. Упадок греческого мира начался с убийства Сократа. За последние годы в Европе убито много Сократов. Это знак того, что для цивилизации убийц опасен только сократовский дух с его терпимостью к другим и строгостью к себе. Следовательно, это знак того, что только этот дух способен возродить мир. Любые иные шаги, устремленные к власти и господству, какое бы восхищение они ни вызывали, могут лишь еще больше искалечить человека. Во всяком случае, именно так выглядит та скромная революция, которую сейчас переживаем мы, французы, и остальные европейцы.

Заключение

Вероятно, вас удивило, что французский писатель, официально прибывший в Америку, не

счел себя обязанным представить вам идиллическую картину своей страны и до сих пор не предпринял ничего в том направлении, какое принято именовать пропагандой. Но, возможно, размышляя над обозначенной мной проблемой, вы согласитесь, что с моей стороны это более естественно. На мой взгляд, пропаганда ставит своей целью возбудить в людях чувства, которых они прежде не испытывали. Однако французы, разделившие наш опыт, на самом деле не требуют ни чтобы их жалели, ни чтобы их любили по заказу. Единственный вопрос, который они ставили перед собой, не зависел от мнений остального мира. Для нас на протяжении пяти лет было важно знать, способны ли мы спасти собственную честь, то есть сохраним ли мы за собой право по окончании войны говорить от своего лица. Мы не нуждались в том, чтобы кто-то признал за нами это право. Нам нужно было самим признавать его за собой. Это было нелегко, но если мы, в конце концов, его за собой признали, то лишь потому, что понимали — мы, и только мы — истинный масштаб принесенных нами жертв.

Однако это право не означает для нас права учить других. Это всего лишь право нарушить унизительное молчание побежденных, тех, кто

оказался бит за то, что слишком долго презирал человека. В завершение своего выступления я прошу вас поверить, что мы сумеем сохранить свое место. Не исключено, что, как многие говорят, история будущих пятидесяти лет будет отчасти формироваться другими странами, кроме Франции. Лично мне ничего об этом не известно, но я знаю, что народ, двадцать пять лет назад потерявший 1 620 000 человек и только что — сотни тысяч человек, добровольно пошедших на смерть, должен признать, что он — то есть мы — злоупотребил своей силой. Это неоспоримый факт. Ни мировое общественное мнение, ни его уважение к нам, ни его пренебрежение ничего не могут в этом изменить. Вот почему мне представляется бессмысленным о чем-либо просить мир или в чем-то его убеждать. Но мне отнюдь не кажется бесполезным объяснить миру, до какой степени мировой кризис зависит от всех этих схваток за старшинство и за власть.

Подводя итог обсуждениям сегодняшнего вечера и впервые выступая от собственного лица, я хотел бы сказать одно: каждый раз, когда мы будем рассуждать о Франции или любой другой стране в категориях силы, мы еще немного укрепим в мире концепцию человека, обреченного

быть изувеченным, разожжем жажду власти и, в конце концов, займем сторону убийц. В мире вообще и в мире идей есть все, и тот, кто говорит или пишет, что цель оправдывает средства; тот, кто говорит или пишет, что величие оценивается силой, несет абсолютную ответственность за совокупность отвратительных преступлений, уродующих современную Европу.

Полагаю, я достаточно ясно изложил смысл того, о чем хотел вам сказать. Мне кажется, что это был мой долг — остаться верным голосам наших товарищей в Европе и всему, что им пришлось испытать, чтобы избавить вас от искушения судить их поспешно. Сами они никого не судят — кроме убийц. Они смотрят на все остальные народы с надеждой и уверенностью обрести ту человеческую истину, какой владеет каждый из них.

Что касается американской молодежи, присутствующей на моем сегодняшнем выступлении, то я хочу сказать вам, что люди, о которых я говорил, с уважением относятся к человечеству, обладающему вкусом к свободе и счастью, и я читал признаки этого вкуса на лицах великих американцев. Да, они ждут от вас того же, чего ждут от всех людей доброй воли — честного участия

в создании атмосферы диалога, которая должна возобладать во всем мире. Наверное, наша борьба, надежды и требования отсюда, издалека, покажутся вам туманными или несерьезными. Действительно, из всех путей к мудрости и истине — если таковые существуют — эти люди выбрали не самый прямой и не самый простой. Но ни мир, ни история не предложили им ничего простого и прямого. Они не смогли найти тайного знания в своей жизни, и им пришлось ковать его своими руками. Возможно, у них ничего не получится. Но я убежден, что их провал обернется неудачей всего мира. В Европе, еще отравленной насилием и глухой ненавистью, в мире, раздираемом страхами, они пытаются сохранить в человеке то, что еще может быть сохранено. Только в этом состоит их цель. Но я вижу единственное утешение в том, что во Франции этот порыв все-таки нашел свое выражение, и, если сегодня мне удалось дать вам хотя бы слабое представление о страстном стремлении французов добиться справедливости, это будет служить предметом моей гордости.

Правда ли, что мы пессимисты?

1946

1 мая 1946 года, месяц спустя после лекции «Кризис человека», прочитанной в Университете Колумбии, Альбер Камю завершил свое американское турне выступлением в Бруклинском колледже Нью-Йорка. Это выступление продолжает и дополняет главную тему, обозначенную в «Кризисе человека». Впервые текст лекции «Правда ли, что мы пессимисты?» был опубликован на английском языке в июле 1946 года в американском журнале «Вог» под заголовком «The Crisis of Man. Inertia is the strongest temptation»[14]*. В заключительной части перевода присутствуют два абзаца, которых нет в машинописной рукописи, обнаруженной в архиве автора. Они включены в настоящую публикацию. По возвращении из США Альбер Камю переработал текст выступления и в более сжатом виде опубликовал его под заголовком «Мы, убийцы» в третьем номере журнала «Франшиз» за ноябрь-декабрь 1946 года.*

---

[14] Примечания: 14
Кризис человека. Инерция — вот сильнейшее из искушений *(англ.).*

Европеец, сформулировавший мысль, что жизнь трагична, считает, что тем самым демонстрирует высочайший уровень интеллекта. Разумеется, это полнейшая глупость. В то же время мне кажется, что американец, убежденный, что жизнь — это хорошая штука, а горя не существует, полагает, что тем самым демонстрирует высочайший уровень здравомыслия. Естественно, это грубая ошибка. Таким образом, я думаю, что в том, что касается положения человека, Америка и Европа страдают от двух диаметрально противоположных болезней. Мне также представляется одинаково неразумным говорить, что не надо быть пессимистом и не нужно быть оптимистом. Древние греки знали, что у жизни есть светлая сторона и темная, а человек, если он хочет оставаться человеком, должен смотреть одновременно и на этот свет, и на эту тьму. Цивилизация всегда дает себе оценку в зависимости от того, насколько успешно преодолела данное противоречие путем высшего синтеза. Кто бы что ни думал и в Европе, и в Америке, все мы движемся к этому синтезу, и каждому из нас есть что сказать на эту тему. Если один потерпит неудачу, остальные погибнут, а солнце и ночь вытеснят грязь и кровь. Наверное, в рамках великого и рискован-

ного предприятия, именуемого западным духом, многое от нас не зависит. Но есть и то, что зависит от нас всегда, — возможность утверждать то, что мы считаем истиной, поддерживать ее и никогда ее не предавать.

Истина же состоит в том, что современный мир не является ни счастливым, ни несчастным. Он представляет собой арену борьбы между требованием счастья, живущим в сердце каждого человека, и историческим фатализмом, согласно которому кризис человека достигает максимума. Поэтому нам необходимо, с одной стороны, иметь ясное представление об этом кризисе, а с другой — понимать желание каждого человека быть счастливым. Нам, следовательно, нужна проницательность.

Кризис человека объясняется по меньшей мере инерцией и усталостью отдельных индивидов, сталкивающихся с глупыми принципами или дурными поступками, которые множатся в мире. Самое большое искушение человека — это искушение инерцией. И, поскольку мир больше не оглашают крики жертв, многие станут думать, что он еще на протяжении нескольких поколений продолжит существовать как ни в чем не бывало. И, поскольку гораздо легче выполнять

свою повседневную работу и спокойно ждать наступления смерти, люди верят, что они делают достаточно ради блага других, если никого не убивают своими руками, и стараются меньше лгать. Однако ни один человек не может умереть со спокойной душой, если хотя бы раз в жизни не задался вопросом о своей жизни и жизни других людей и не сделал ничего, чтобы существование других людей протекало более мирно.

Вот почему люди, не любящие подолгу размышлять о человеческих страданиях, предпочитают говорить о них в общем и целом. Вот почему некоторые из них спрашивали меня, насколько твердо я убежден в том, что мы присутствуем при кризисе человека, и разве подобный кризис не характерен для любых времен. Все это одновременно и верно, и ошибочно. Если это правда, то в любом случае правда такого рода, которую не выскажешь заключенным концентрационных лагерей. Мне трудно поверить, что люди, пережившие пытки, в то самое время, пока их пытали, спокойно говорили себе, что так происходило всегда, и тем утешались. И да, я верю, что для них кризис человека был реальностью, и для всех людей моего поколения этот кризис так и не завершился. Тем, кто задавал мне данный вопрос,

я всегда отвечал, что не обладаю знанием всего на свете и не могу объяснить весь мир вообще. Но я хотя бы понимаю, что мы уже давно чувствуем себя неуютно, потому что лишены уверенности в будущем, а для человека, считающего себя цивилизованным, это состояние не может быть нормальным. Именно это явление мы — правильно или ошибочно — и называем кризисом человека. Тогда я сказал — и повторю это сейчас, потому что подобное нужно повторять, — что кризис реален, пока реален страх. А страх реален потому, что люди верят, что все бессмысленно, за исключением, может, исторического успеха, когда человеческие ценности оказались вытеснены презрением и стремлением к эффективности, а воля к свободе — волей к господству. Ты прав не потому, что поступаешь по справедливости; ты прав потому, что добился успеха. В пределе это означает оправдание убийства. Вот почему люди правы, когда боятся, ведь в подобном мире спасение их жизни или жизни их детей зависит только от слепого случая или чьей-либо произвольной благосклонности. По той же причине люди правы и в том, что испытывают стыд, потому что те, кто живет в подобном мире, всеми силами не проклиная его (то есть почти все), в

каком-то смысле ничем не отличаются от убийц, и это тоже правда.

Но правда и то, что мы располагаем иной силой, которая заключается в человеческой воле, направленной на достижение счастья и справедливости, и здесь нам прежде всего нужно понять, чего мы хотим. А хотим мы следующего: больше никогда не признавать права сильного, не склоняться перед мощью армий или денег. Разумеется, подобные утверждения вызывают усмешку у реалистов. Они знают, что решить эту задачу бесконечно трудно, а следовательно, не имеет смысла продолжать биться над ее решением. Реалисты хотят браться только за те задачи, успех в решении которых им гарантирован. В результате они не предпринимают ничего действительно важного или подлинно человечного, тем самым невольно принося мир в жертву убийцам. Не замечают, что, даже если эта задача не имеет окончательного решения, мы живем для того, чтобы продолжать ее решать. Я не слишком рассчитываю на разум, чтобы уверовать в абсолютный прогресс или в ту или иную философию истории, но я по меньшей мере верю в людей, которые двигались вперед с полным осознанием собственной судьбы. Мы вышли из

своего состояния, но мы научились лучше его понимать. Знаем, что существуем внутри противоречия, однако должны отринуть его и сделать все, чтобы снизить его остроту. Наша человеческая задача заключается в том, чтобы найти такие слова, которые смягчат тревогу свободных людей. Мы должны заново соединить то, что было разорвано, и показать, что в несправедливом мире справедливость возможна, а народы, отравленные бедствиями века, убедить в том, что счастье — это не бессмыслица. Конечно, это задача, требующая сверхчеловеческих усилий. Но мы говорим о сверхчеловеческих усилиях в тех случаях, когда людям приходится очень долго добиваться своей цели, и с этой точки зрения ничего сверхчеловеческого в улучшении положения людей нет.

Разве это пессимизм? Нет, это прозорливость, необходимая для того, чтобы заранее определить, чего мы желаем и чего не хотим. Когда мы заболеваем, сразу нужно уточнить диагноз и только потом начинать подбирать и применять лекарство. Поскольку мы страдаем от абстракции и страха, лучше об этом знать, чтобы принять решение о дальнейших действиях. Напротив, мы, молодежь Франции, называем пессимиста-

ми тех, кто утверждает, будто все хорошо, а в мире ничего не изменилось. От таких людей нам нечего ждать. Именно из-за них мир так и будет двигаться по прежней колее, закованный в цепи и окруженный тюрьмами. В то же время среди нас есть много проницательных и весьма решительных людей — более решительных, чем это видится из Америки, — готовых делать все, что в их силах, чтобы исцелить мир и излечиться самим от этой болезни.

Здесь у меня часто спрашивают, что собой представляет современная европейская молодежь. Я не знаю, что ответить, потому что не имею привычки к обобщающим суждениям. Но в том, что касается молодых людей, мне известно, что они живут, не испытывая иллюзий, и это только укрепляет их силу и решимость. Когда мне говорят, что нет ничего хорошего в том, что молодежь лишена иллюзий, я отвечаю: вопрос не в том, что нам представляется хорошим, а что нет. Мы должны понимать, что происходит на самом деле. А произошло то, что эта молодежь была вынуждена лишиться всяких иллюзий при непосредственном соприкосновении с реальностью бытия, однако не сломалась, свидетельством чему — ее способность задаваться

теми же вопросами, какие сегодня волнуют мир, и сохранять желание найти на них ответы. Это доказывает, что энергичность может идти рука об руку с ясностью мысли, а страсть — сочетаться со спокойным мужеством. Именно это творится сегодня в сердцах некоторых европейцев, в чем я вижу залог будущего нашей цивилизации в той же — не больше, но и не меньше — мере, что и в научных открытиях или в такой хитроумной находке, как право вето. Суть этого опыта можно выразить словами одного из наших великих революционеров, Сен-Жюста, который говорил: «Я думаю, мы должны быть пылкими. Но это не отменяет ни здравомыслия, ни мудрости».

Мы понимаем, какую цивилизацию намерены построить, и знаем ужасы той, какой не хотим. Но разве мы можем ждать? Мы можем подождать какое-то время, пока миром правят люди, лишенные воображения; все, кто стремится сохранить то, чего сохранять нельзя; все, кто мечтает разрушить то, чего нельзя разрушать. Те, кто лжет и принуждает лгать других, все эти чиновники и полицейские. Но, если так и будет продолжаться, наступит день, когда цивилизация будет сметена теми, кто готов убивать и считает, что убивать легко. Это простая логика. Однако та же логика

заставляет нас продолжать вопреки нападкам слепцов и корыстолюбцев выступать в защиту всего того, что составляет достоинство человека, и мы продолжим делать это, поскольку убеждены: настойчивость не обязательно требует успеха. Мы знаем, что только благодаря долгому упорству некоторых людей, в конце концов, удалось изменить мир. Первые христиане называли объединившее их движение «безумием Креста».

Сегодня мы нуждаемся в безумии человека. В безумии, умеющем простираться мыслью вдаль, стоящем на прочном фундаменте большой надежды и молчаливой решимости, которая служила нам опорой в прошлом и будет продолжать поддерживать европейские умы, лишенные привилегии жить иллюзиями, в их противостоянии с миром. Зная это, нам, наверное, уже легче ответить на вопрос: являемся ли мы пессимистами?[15]

[15] Примечания: 15

Два последних абзаца появились в английском переводе текста Камю, опубликованном в журнале «Вог» в июле 1946 г.

Выступление на круглом столе «Цивилизации»

1946

В начале 1946 года пионер промышленной эстетики Жак Вьено основал ассоциацию «Цивилизация», в работе которой среди прочих приняли участие бывший преподаватель Камю на филологическом факультете Алжирского университета Жак Эргон и Роже Кайуа, вместе с Камю входивший в редакционную коллегию издательства «Галлимар». 22 октября 1946 года «Цивилизация» организовала диспут на тему «Судьба индивидуума в современном мире», на который пригласила Альбера Камю, Жоржа Фридмана[16], Мориса де Гандийака[17], Пьера де Ланюкса[18], Мориса

---

[16] Примечания: 16

Жорж Фридман (1902–1977) — французский социолог и философ, ведущий представитель французской школы социологии труда.

[17] Примечания: 17

Морис де Гандийак (1906–2006) — французский философ и историк философии, профессор Сорбонны, оказавший большое влияние на многие поколения французских интеллектуалов.

[18] Примечания: 18

Пьер Комбре де Ланюкс (1887–1955) — французский писатель и дипломат.

Мерло-Понти[19] *и Жана Валя. Стенографический отчет круглого стола был опубликован в третьем номере журнала «Шемен дю монд». Речь Камю приводится ниже полностью; выступления остальных участников дискуссии изложены в сжатом виде и заключены в квадратные скобки.*

[По мнению Мориса де Гандийака, нацистская идеология, основанная на технократическом мировоззрении, рассматривает индивидуумов как представителей «созидательных сил», ведущих «сосуществование в борьбе», подчиненной «индивидуализму вождей». Но какова роль индивидуализма в американской культуре? Возможно ли в ней существование свободного индивида и каково его место в капиталистической цивилизации и внутри коммунистического мира? Является ли последний «переходной фазой» и провозвестником «подлинного освобождения человека»?

---

[19] Примечания: 19

Морис Мерло-Понти (1908–1961) — французский философ, представитель экзистенциальной феноменологии. В октябре 1946 г. Мерло-Понти напечатал в журнале «Ле-Тан модерн» первую из трех частей статьи «Йог и пролетарий» (в 1947 г. включенную в сборник «Гуманизм и террор»). Иронический тон статьи, ставшей ответом на книгу Артура Кёстлера «Йог и комиссар», вызвал возмущение Альбера Камю, посчитавшего, что автор едва ли не оправдывает московские процессы. Кёстлер и Камю относились друг к другу с большим взаимным уважением, подкрепленным единством убеждений, свидетельством чему служит вышедший в 1957 г. сборник «Размышления о смертной казни», включивший эссе обоих авторов. — *Прим. изд.*

Жан Валь, со своей стороны, отказывается видеть в национал-социализме форму индивидуализма, тогда как Жорж Фридман находит в «технократической цивилизации» «общий знаменатель для Америки, СССР и Германии», где люди живут в «новой городской среде», противопоставленной «естественной сельской среде». Механизация жизни, наблюдаемая не только в этих странах, «все более плотным присутствием техники приводит к вытеснению человека». Воздействие техники на человека носит «психологический характер, вызывая в нас трансформации», и способствует социальной отчужденности. Фридман замечает у американских солдат «теплое отношение к технике», но вместе с тем «отсутствие некоторых чувств, привычных для нас». Спеша добавить, что «социалистическое государство гораздо лучше вооружено для решения большинства этих проблем, чем капиталистическое», он признает, что с XIX века растущий этатизм современных демократий стал угрозой свободе личности. Сегодня следует «не сожалеть о прошлом, а думать, как помочь развитию индивидуума в складывающихся культурах». Пьер де Ланюкс предлагает пересмотреть устоявшиеся представления об американской стандартиза-

ции. Начиная с кризиса 1929 года он отмечает «возврат к ценностям индивидуализма» и возрождение идей, заложенных Джефферсоном. «Проблема заключается не в завоевании свободы, а в использовании свободы».

На вопрос «Что можно и что мы должны спасти?» Камю дает следующий ответ:]

Я пребываю в затруднении, думая, что следовало бы уделить гораздо больше внимания нюансам, чем утверждениям, к которым нас обязывает устная речь. Именно ради нюансов, каким бы поразительным это ни казалось, миллионы людей сражались на протяжении пяти лет. Если мы задаемся вопросом об индивидууме, предполагая, что знаем, что это такое, то следует спросить со всей категоричностью: «Какова судьба индивидуума?» Все мы знаем, и все мы смутно ощутили, что ему грозит гибель.

Если этот индивидуум будет убит и если мы это чувствуем, то вначале надо задать другой вопрос: считаем ли мы, что индивидуум — это нечто такое, что должно быть спасено? Или мы этого не желаем?

Вероятно, набор ценностей, определяемых для себя индивидом, кое-кому покажется устаревшим и недостойным спасения. В этом случае нам

не остается ничего иного, кроме как ждать конца истории.

Но если мы хотим спасти его, то перед нами возникают два вопроса. Первый: каковы принципы слабости, вынуждающие сегодняшнего индивидуума рано или поздно жертвовать собой? И второй: каковы внешние — исторические или идеологические — факторы, представляющие угрозу для этого индивидуума и готовые рано или поздно принести его в жертву?

Что касается первого вопроса, то мне представляется, что можно ответить примерно в том же духе, в каком высказался Фридман: анархический индивидуализм устарел, он превратился в исторический пережиток. Но мы носим в себе индивидуального анархиста и должны от него избавиться — это плохой индивидуалист. Лично я думаю, что он в определенном смысле заранее предполагает, что человек обречен на одиночество, тогда как я глубоко убежден, что человек не одинок. В последние несколько лет мы узнали, что, когда в Праге кто-нибудь дает пощечину офицеру, рано или поздно это оборачивается гибелью для рабочего из Бельвиля.

Но мы также носим в себе либеральный индивидуализм, о котором сегодня говорили. Он

представляется мне таким же обреченным, и в этом я согласен с Фридманом; анализ сознания, мистифицированный Марксом, остается в полной мере приемлемым.

По второму вопросу. Что угрожает индивидууму с внешней стороны? Не будем заниматься конкретной психологией и обратимся лучше к социологии. Почему мы живем с чувством страха? Вне всякого сомнения, его внушает нам молчание. В последние годы мы узнали, что можем жить только в таком мире, какой позволяет нам думать, что, предлагая человеку гуманную аргументацию, мы получим в ответ гуманный поступок. Но мы также выяснили, что есть такие люди, которым бесполезно предлагать гуманные аргументы. Ни одному узнику концлагеря и в голову не придет убеждать эсэсовца в том, что он поступает с ним нехорошо. Это показывает, до какой степени мы погружены в мир молчания, то есть в мир насилия.

По второму вопросу мы сходимся с Фридманом и еще в одном пункте: я имею в виду абстракцию. Это правда, что в области техники человеческое присутствие и человеческие контакты все чаще вытесняются через посредство механического инструментария. Но то же справедливо и в от-

ношении общества, поскольку существует такое международное явление, как бюрократия, и фактически ни на одном этапе взаимодействия с государством мы никогда не имеем дело с человеческой личностью.

Третьей характеристикой современной эпохи является постепенное и неизбежное вытеснение реального человека, человека повседневной жизни, конкретного человека человеком историческим. Мы все сильнее политизируемся. Вы можете прочитать об этом где угодно и спросить об этом себя; вы знаете, что политика все больше влияет на ваши реакции и ваше мировоззрение.

Четвертый признак, который, как мне кажется, мы могли бы выделить, — это воля к власти, тот набор характеристик, какой представляет страх. На мой взгляд, неоспоримо, что мы живем в мире страха, с более или менее смутным или четким ощущением страха. На чем он держится? Думаю, что, не философствуя, можно все же сказать следующее: в той мере, в какой человек верит в неизбежность прогресса, в той мере, в какой он верит в историческую логику, например, в то, что феодальное общество сменяет первобытную анархию, что затем народы выходят из феодального состояния, после чего наступает

эпоха интернационализма или, если угодно, Лиги наций, а затем — бесклассового общества, основанного на абсолютном рационализме, в этой самой мере он ставит достижение исторических ценностей выше тех ценностей, которые мы считаем приемлемыми в силу воспитания или предрассудков.

Таким образом, если мы стоим на фундаменте абсолютного рационализма или на идее прогресса, каким бы он ни был, мы допускаем принцип, согласно которому цель оправдывает средства: если переход к бесклассовому обществу неизбежен, то нам незачем переживать из-за того, как именно это произойдет. Возможно, такие вещи, как ложь, насилие и убийство, с точки зрения человеческих нравов предосудительны, но отказываться от них в любом случае не следует, поскольку то, что должно произойти, все равно неизбежно, оправдано историей и желательно.

Если мы считаем, что, с одной стороны, индивидуум способен на ошибки, а с другой — находится под давлением внешних факторов, то мы должны сказать себе, что наш долг — постараться в максимальной степени противостоять подобной судьбе. Но мы живем внутри противоречия. Возьмем среднего европейца или даже среднего

интеллектуала и зададимся вопросом: какие принципы он может всему этому противопоставить, если он сам в них не верит?

Люди, наделенные христианским сознанием, согласятся со мной: 80 процентов европейцев живут, не ведая благодати, а среди оставшихся 20 процентов истинных христиан не так уж много.

Следовательно, речь не о том, чтобы противопоставить ценностям, сегодня захватившим мир, традиционные религиозные ценности. У нас нет никакой основополагающей ценности, способной противостоять перечисленным ценностям, а если у нас нет никакой Ценности с большой буквы, это означает — и я ограничусь простой констатацией факта, — что мы погружаемся в нигилизм. Перед нами возникает проблема — как она вставала и во время войны, — и заключается она в том, чтобы понять, каким образом огромное число европейцев смогли бы противостоять попыткам принуждения, если сами они не обладают строго определенными ценностями.

Людям, которые ни во что не верили, во время войны было нечего сказать Гитлеру, потому что абсолютный нигилизм в этом смысле смыкается с абсолютным рационализмом. Мы должны констатировать, что существуем внутри про-

тиворечия, и нам необходимо преодолеть его. Именно такова, по моему мнению, стоящая перед нами историческая задача. Чтобы преодолеть это противоречие, нужно настроить свое мышление на определенный лад — руками или головой. Попытки осмысления, реконструкции и примирения противоречивых аспектов не могут осуществляться в атмосфере страха.

Если индивидуум стремится к спасению, то должен сначала набраться сил для борьбы против страха и даже требовать отмены смертной казни, что снизит напряжение в правовом поле. Если это возможно, я думаю, мы сумеем это сделать, и это единственное, что сегодня способно спасти индивидуума.

Люди, не обладающие абсолютной истиной, не хотят никого убивать и требуют, чтобы их тоже не убивали. Они настаивают на поиске истины и, следовательно, нуждаются в определенном наборе исторических условий, позволяющих вести этот поиск. Именно это я называю условиями скромного мышления. Мы можем определить эти условия и начать действовать для их претворения в жизнь. По моим представлениям, шанс на успех у подобных действий примерно один на тысячу. Но это не причина, чтобы не

пытаться их предпринять. Разумеется, эти действия должны опираться на принципы, которые я, с вашего позволения, сформулировал в своем кратком анализе ситуации: поскольку в нашем мире любая политика основана на стремлении к силе, на реализме и, следовательно, ошибочных принципах, мы должны полностью отбросить их и категорически отказать в доверии любым правительствам, какими бы они ни были.

Если мы хотим двигаться в этом направлении еще дальше, то должны осознать, что необходимо называть вещи своими именами. В качестве одного примера повторю мысль Сократа, который говорил: человек не вынашивает дурные мысли, потому что он преступник; он преступник потому, что вынашивает дурные мысли. Если в интересующем нас случае мир станет руководствоваться ошибочными принципами, то с математической точностью придет к преступлениям и убийствам. Все, кто прямо или косвенно одобряет подобные принципы, должны считать себя убийцами и признать, что до сих пор они представляли собой своего рода убийц — косвенно, а иногда и напрямую.

Если это так, то нужно добавить: если мы осуждаем общество в том виде, в каком оно опирается

на данные принципы и управляется согласно им, то должны добиться заключения нового общественного договора между индивидуумами, и, поскольку вопрос выходит за рамки отдельной страны, а проблемы носят международный характер, с этой точки зрения я не вижу ничего лучше, чем добиться формирования международного сообщества, состоящего из индивидуумов, готовых рисковать собой. Мой упрек к либеральному индивидуализму сводится к тому, что он подразумевает только преимущества свободы. Поэтому необходимо, чтобы эти люди несли личные издержки, например, отказались от почестей, предлагаемых им обществом, ограничили себя в денежном плане, то есть отказались иметь их больше определенного уровня и распоряжались оставшимися в целях, которые следует определить. Они должны лично чем-то пожертвовать, иначе мы снова окажемся во власти мистификации. С другой стороны, эти люди должны научиться проповедовать свои идеи. У нас все еще есть газеты и право слова, а также возможности предпринимать определенные действия, не скатываясь к убийствам. Это скромные и временные возможности, но мы обязаны их использовать, чтобы сохранить то, что еще

остается от индивидуума. Этими предложениями я всего лишь набросал контур будущих действий, призванный пробудить ваше воображение.

Судьба индивидуума будет зависеть, с одной стороны, от принятия решений, от того исторического анализа, который мы должны проделать, а с другой — от самих этих решений. Иначе говоря, недостаточно просто согласиться и продолжать читать свою газету, не одобряя убийств, которые сегодня творятся в разных уголках Европы; важно занять твердую позицию, и в момент принятия этого решения, если будут предложены образцовые ценности взамен ценностей силы, появится, я считаю, один шанс на тысячу, что индивидуум еще может сохранить свое место в мире, который угрожает это место у него окончательно отобрать. Не хотелось бы прибегать к сравнениям, но на закате античного мира, когда все было плохо, появилось движение подобного рода. Его сторонники именовали себя стоиками; оно носило международный, насколько это было тогда возможно, характер и готовило переход к новой цивилизации, то есть к христианству.

Мы тоже переживаем поворотный момент, и впереди нас ждет либо смерть, либо приход новой цивилизации. Подготовкой этого прихода

предстоит заняться нашему поколению, то есть ныне живущим людям. Это поколение неизбежно пожертвует собой, и вопрос лишь в том, будет ли его жертва напрасной или полезной, и выбор за нами.

[Мерло-Понти, отмечая скромный размах выдвинутых Камю предложений, задался вопросом, содержится ли в них вариант решения, или Камю, настаивая на аполитичности подхода, впадает в тот же индивидуализм, который подверг осуждению. Замыкаясь в себе, мы не можем помешать правительствам навязать нам «образ жизни, какого боимся». К тому же стоики стали провозвестниками новой цивилизации только тогда, когда сами обратились в христианство, под влиянием внешнего фактора отказавшись от «поиска внутренней чистоты». Если не думать о форме государственной организации, легко впасть в «чистое морализаторство».

Ответ Камю:]

В каком-то смысле это верно, но я, разумеется, размышлял о подобном возражении и вот к чему пришел.

Хотим мы спасти индивидуума или нет? Если да, то, по моему убеждению, должны отказаться

от убийства. Но сегодня передо мной возникает дилемма: я вынужден выбирать между двумя концепциями, одинаково благородными на старте и равно подлыми на финише. Марксистский анализ мистифицированного сознания может быть применим к марксистской идеологии лишь в той мере, в какой она является идеологией.

У нас нет критерия, необходимого, чтобы сделать свой выбор на старте, а на финише он у нас есть, и несмотря на всю серьезность деформации, которая в результате наших усилий произойдет с миром, она представляется мне меньшим злом по сравнению с тем, что мы имеем сейчас, — с политикой реализма и силы, неважно, левой или правой, но всегда оканчивающейся убийством. Для всех, кто, подобно нам, шесть лет жил в аду, есть нечто неприемлемое на физиологическом уровне — и это идея приятия убийства.

Возможно, решение, какое я предлагаю, видоизменится: на старте вероятность успеха всегда ниже. Но тем не менее я верю, что этот выбор обернется для человека меньшим злом, чем любой другой.

Теперь я отвечу на упрек о морализаторстве. Вы говорите, что церковь создали стоики. Именно это я и имел в виду. Я не думаю, что мы должны

жить взаперти в своем деревенском доме, посвятив себя изучению Античности. Мы должны оставаться живыми и участвовать в политике, на каждом углу выступая со свидетельскими показаниями не только от своего лица, но и от лица многих других людей. Я не случайно употребил слово «проповедь».

[Гандийак задался вопросом: верно ли, что идея прогресса и убеждение во владении истиной обязательно ведут к убийству? Насилие тоже предполагает неуверенность, «страх не всегда строго определенной свободы». Уверенность и неуверенность могут вызвать протест.

Ответ Камю:]

Я думаю так (и в этом пункте отхожу от марксизма): я верю, что, если существует Абсолют, он является делом каждого, а не общим делом, следовательно, деятельность, подобная той, что я описал в самых общих чертах, будет заключаться в объединении определенного числа людей вокруг ценностей, какие я назвал бы временными или промежуточными. Но эти ценности окажутся достаточными, чтобы обозначить очертания мира, дающего людям возможность дышать. Я, например, верю, что некоторая справедли-

вость — я не говорю о Справедливости с большой буквы — или некоторая свобода суть ценности, необходимые, чтобы мы, с одной стороны, могли сосуществовать друг с другом, а с другой — могли бы продолжить свой поиск путей к примирению, что представляется мне одной из насущных задач нашего времени.

Если деятельность, о которой мы говорим, нуждается для своего инициирования в абсолютных ценностях, она никогда не будет начата, учитывая, что мир страдает нигилизмом. Вот почему мы должны поставить вопрос иначе, не так, как его ставите вы, а подчеркнув, что единственное, что у нас остается, — это быть достаточно энергичными, решительными и прозорливыми, чтобы объединить людей вокруг действий переходного периода. Сегодня надо подготовить площадку для будущего, и я снова возвращаюсь к своей мысли об общественном стоицизме, то есть таком отношении людей к миру, которое позволяет им поддерживать определенный порядок вещей. Однажды, когда я занимался журналистикой, я сказал, что «истина носит коммерческий характер», имея в виду, что она продается, и если мы заявим некоторому числу людей: вы не должны жертвовать собой ради

чего бы то ни было, что напоминает абсолютную истину, но можете поставить перед собой цель и стремиться к ее достижению, то они, возможно, обретут необходимые для этого способности. Если бы нам приходилось делать выбор, зная, что у нас, например, семьдесят пять шансов на успех, в том не было бы никакой нашей заслуги. Наше время по-своему трагично, и именно потому, что шансов на успех у нас мало.

[В своем длинном выступлении Фридман раскритиковал политический скептицизм Камю. Разве после окончания войны человечество не нуждается в «разумной организации средств производства и распределения, в социальной активности»? в своей книге «Йог и комиссар» Кёстлер противопоставляет тех, кто верит исключительно во внутреннюю реформу, и тех, кто целиком полагается на институты. Но это «ложная дилемма», поскольку подлинная проблема заключается «во взаимодействии между неизбежной революцией институтов и усилием человека по изменению себя». Точно так же не следует слишком механистически трактовать Маркса. Суть вопроса заключается в диалектике Гегеля, нацеленной на «взаимодействие причины и действия», позволяющей найти «конкретные

способы осуществления этого политического и морального действия».

Франция, зажатая между двумя крупными политическими блоками, занимает особенно выгодное место, чтобы включить в политическую работу «неизменные человеческие ценности». От решения данной проблемы зависит судьба современного индивидуума.

Ответ Камю:]

Было бы неверным сводить мою позицию к единственной составляющей — йогу. Сам Кёстлер заглядывает немного дальше, чем в завтрашний день, настаивая на союзе йога и комиссара в одном и том же человеке. Существует община, над которой много насмехались в газетах — на мой взгляд, напрасно. Она известна как община Барбю[20]. Перед нами — типичный пример того, как полторы сотни человек, устав ждать

[20] Примечания: 20

Марсель Барбю (1907–1984), владелец фабрики по изготовлению корпусов для часов, во время оккупации основал в Валансе трудовую общину, уступив права собственности на предприятие его работникам. Помимо того что члены общины Барбю на равных владели средствами производства и делили между собой прибыль, они предложили идеал совместного существования, включая семейную жизнь, а также материальные, моральные, культурные и духовные ценности. После войны Барбю был избран депутатом от департамента Дром и выдвинул несколько законопроектов о трудовых общинах, которые не были приняты. Подвергшись насмешкам со стороны коллег по Национальной ассамблее, в июне 1946 г. он сложил с себя мандат. — *Прим. изд.*

исторического триумфа в четвертом поколении, объединились и добились для каждого из них достойной, как они ее понимали, жизни. Согласно уставу, община Барбю признавала законными только те правила, устанавливаемые временным правлением, которые соответствовали принятым ими же принципам. Это поразительный пример того, как индивидуумы своей волей отмежевываются от всего дурного и находят в общественной жизни положительные стороны. Это позиция людей, поддерживающих то, что стоит поддержки…

Я не до такой степени пессимист. Мне следовало бы разобрать почти все примеры, какие в начале привел мой друг Фридман. Также надо внимательнее изучить идею свободы, о которой все постоянно говорят, выяснить, что это такое — свобода. Никто не может отнять у нас свободу мысли, следовательно, надо говорить о свободе выражения. Это нуждается в анализе… Вы заявляли об ущемлении индивидуума и, соответственно, об ущемлении свободы. Это неплохо — не то, что индивидуум ущемлен, а то, что настоящей свободы не существует в отсутствие ущемления. Свобода есть, когда есть борьба за освобождение. Человек по определению не может обладать готовой свободой.

Послание, прочитанное Жаном Амрушем в Доме химии

1946

18 ноября 1946 года делегация партии Истикляль (партии Независимости) торжественно отмечала в Париже, в Доме химии, 19-ю годовщину восшествия на трон султана Марокко Сиди Мохаммеда бен-Юсефа. На этой встрече, организованной «под знаком дружбы и духовной близости, объединяющей восточную и западную философию», выступили арабские и французские деятели. Альбер Камю не присутствовал на ней и поручил зачитать текст своего выступления Жану Амрушу[21] *— христианскому писателю родом из Кабилии, с которым познакомился благодаря сотрудничеству с издательством*

[21] Примечания: 21

В феврале 1944 г. Жан Амруш основал в Алжире журнал «Л'Арк» («Ковчег»), в редакционный совет которого входил Андре Жид. В тринадцатом номере журнала было опубликовано эссе Камю «Минотавр, или Остановка в Оране». — *Прим. изд.*

«Шарло»[22] *и журналом «Л'Арк». Текст этого, а также остальных выступлений был впоследствии опубликован информационным отделом партии «Истикляль».*

«Мы годами жили как придется, один на один с голой пустыней, под глубоко равнодушным к людским судьбам небосводом»[23]. Так начинается великая книга человека, много лет жившего и сражавшегося бок о бок с арабами и так и не исцелившегося от боли разочарования, причиненной ему собственной страной, превратившей в разменную монету тот народ, в котором он всегда видел своих братьев по оружию.

При прочих равных, думая об арабских друзьях, я испытываю то же чувство единства и одиночества. Мне нередко приходилось делить с ними горести, и я хотел бы разделить с ними также радость и гордость. Однако случаев для того выпадает немного.

Вот почему я с удовольствием откликнулся на

---

[22] Примечания: 22

В издательстве Шарло, носящем имя своего основателя Эдмона Шарло, в Алжире были опубликованы первые произведения Альбера Камю, в том числе эссе «Изнанка и лицо» и «Брачный пир». Также Камю был редактором литературной серии издательства «Поэзия и театр». — *Прим. изд.*

[23] Примечания: 23

Лоуренс Т. Э. Семь столпов мудрости. Пер. Я. Черняка.

предложение выразить вам сегодня свою солидарность. Вы собрались здесь, чтобы почтить вашего правителя, отдав ему должное за все его усилия, и для меня не представляет никакой трудности от имени ряда французских писателей передать султану Марокко Его Величеству Сиди Мохаммеду бен-Юсефу наши не официозные, а искренние поздравления и пожелания, служащие выражением дружеского уважения свободных людей тому человеку, который воплощает сегодня надежду, а следовательно, и достоинство, миллионов марокканцев.

Возможно, есть еще одна, особенная причина, по какой свободные писатели демонстрируют внимание и симпатию вашему правителю. Нам хорошо известно, с какой неустанной заботой он относится к распространению просвещения среди своего народа. Знание универсально, и именно оно объединяет людей — в отличие от невежества, которое их разъединяет. Убийство, ненависть и насилие зарождаются не в злых сердцах, а в невежественных душах. Напротив, тот, кто владеет знанием, никогда не поддастся стремлению властвовать над другими и мучить их. Он всегда предпочтет грубой силе добрый пример.

Вот почему этот правитель, весьма искушенный, чтобы, вопреки всем препятствиям, уделять должное внимание просвещению, трудится на благо каждого человека и одновременно на благо всего народа. Вероятно, я никогда не стану мусульманином и догадываюсь, что ни один из вас, собравшихся здесь, никогда не станет тем странным, непоследовательным и склонным к излишествам животным, жаждущим все познать и все испробовать, раздираемым противоречиями и одержимым страстью к недостижимой истине, кого именуют европейцем. Но на определенном уровне познания эти различия становятся не только необходимыми, но и плодотворными — при условии, что им сопутствует взаимное уважение. В тот день, когда европейцы перестанут воспринимать арабов как колоритный и малопонятный народ, в тот день, когда арабы перестанут смешивать европейцев с полицейскими, иногда действительно выступающими в этой роли, в этот день жить в мире станет легче.

Возможно, этот день еще далек. Сегодня западные народы тратят силы в борьбе за власть, и ничего не изменится к лучшему, пока не будет уничтожена воля к обладанию силой. Но в мире появляется все больше людей, которые это

поняли. Они марокканцы, французы или представители других стран. Важно то, что теперь они вместе и вместе участвуют в одной и той же битве. Их долг — трудиться ради знания и творить универсальные ценности, которые позволят нам со спокойным сердцем жить в спокойном мире. Вот почему к уважению, которое мы испытываем к вашему правителю, примешивается благодарность за то, что он это понимает.

Друзья-марокканцы, единственный язык, способный соответствовать духу сегодняшнего торжества, — это язык правды. Поэтому скажем честно, что наши сердца не спокойны и мы пока все еще стремимся к согласию, которое наконец сделает нас равноправными братьями, какими мы и являемся.

Скажем также, что мы сознаем, какие барьеры сегодня воздвигают между нами эгоизм и корысть. Но еще добавим, что мы каждый со своей стороны будем, не поддаваясь духу ненависти, продолжать делать все возможное, чтобы эти барьеры окончательно рухнули. Будьте уверены, что отныне под этим равнодушным небосводом, в сердце этой голой африканской пустыни, где я жил много лет и душой стал немного похож на вас, мы продолжим бок о бок бороться за лучший

и более возвышенный образ человека.

Неверующий и христиане
Лекция в монастыре Латур-Мобур

1946

В ответ на приглашение преподобного Жана Медьё, с которым Альбер Камю познакомился во время оккупации, 1 декабря 1946 года он принял участие во встрече христиан в монастыре Латур-Мобур, расположенном в VII округе Парижа. По этому случаю Камю прочитал лекцию «Неверующий и христиане», позднее опубликованную в журнале «Актюэль». Однако отчет о встрече, напечатанный в апреле 1949 года в доминиканском журнале «Интеллектуальная жизнь», содержит тезисы из выступления Камю, которых нет в версии «Актюэль». Не располагая никакими данными относительно правомерности включения этих фрагментов в речь Камю, мы приводим их здесь после текста, опубликованного в «Актюэль».

Поскольку вы выразили желание попросить человека, не разделяющего ваши убеждения, ответить на весьма общий вопрос, которым за-

даетесь сами в ходе настоящей дискуссии, мне хотелось бы — прежде чем сказать, чего именно, на мой взгляд, неверующие ждут от христиан, сразу же отметить это духовное благородство, перечислив некоторые принципы.

Во-первых, существует светское фарисейство, в которое я стараюсь не впадать. Я называю светским фарисеем того, кто притворно верит, будто христианство — это нечто легкое, и делает вид, что требует от христианина — во имя внешнего взгляда на христианство — больше, чем от самого себя. Я действительно верю, что у христианина много обязательств, но не тому, кто сам не признает подобных обязательств, напоминать о них человеку, который сам их признал. Если кто-то и может чего-либо требовать от христианина, то это он сам. Вывод таков: если в конце своего выступления я позволил бы себе потребовать от вас исполнения каких-либо обязательств, то это могли бы быть только такие обязательства, исполнения которых сегодня следует требовать от любого человека, не важно, является он христианином или нет.

Во-вторых, я хочу заявить: не чувствуя себя обладателем какой бы то ни было абсолютной истины и носителем какого бы то ни было посла-

ния, я никогда не стану настаивать на том, что христианская истина иллюзорна, а ограничусь лишь утверждением, что мне она недоступна. Чтобы прояснить свою позицию, я охотно признаюсь перед вами вот в чем. Три года назад у меня возник спор с одним из вас, и не самым незаметным[24]. Лихорадка последних лет и мучительная память о двух или трех убитых друзьях давали мне право высказать определенные претензии. Тем не менее я могу свидетельствовать, что, несмотря на несдержанность Франсуа Мориака в выражениях, я не переставал размышлять о его словах. Плодом этих размышлений — что, на мой взгляд, лишний раз подчеркивает пользу диалога между верующими и неверующими — стала необходимость признать как в душе, так и здесь, публично, что по этому конкретному пункту прав в нашем споре был Франсуа Мориак, а не я.

Сказанное облегчает мне задачу сформулировать третий, и последний принцип. Он прост и ясен. Я не намерен ничего менять ни в своих

---

[24] Примечания: 24

В 1944–1945 гг. Франсуа Мориак вступил в бурную полемику с Альбером Камю по вопросу очищения. Если первый на страницах «Фигаро» выражал беспокойство в связи с эксцессами народного правосудия, то второй в «Комба» защищал идею благотворности правосудия, не движимого ненавистью, но беспощадного к скомпрометированным элитам.

мыслях, ни в ваших (насколько я могу о них судить), с целью достичь согласия, которое устроит и вас, и меня. Напротив, сегодня я хочу, главным образом, сказать вам, что мир нуждается в настоящем диалоге, а противоположностью диалога является не только ложь, но и молчание, поэтому диалог возможен лишь между людьми, которые остаются теми, кто они есть, и говорят правду. Это означает, что современный мир требует от христиан, чтобы они оставались христианами. Однажды в Сорбонне католический священник, обращаясь к лектору-марксисту, публично заявил, что тоже является антиклерикалом. Так вот! Священники-антиклерикалы нравятся мне не больше, чем философские течения, стыдящиеся самих себя. Поэтому я не стану изображать себя перед вами христианином. Я разделяю ваш ужас перед злом. Но я не разделяю вашей надежды и продолжаю бороться против мира, в котором страдают и умирают дети.

И почему бы мне не сказать сегодня то же, о чем я пишу? Все эти ужасные долгие годы я ждал, когда из Рима раздастся громкий голос. Я человек неверующий? Несомненно. Я знал, что дух обречен на гибель, если не восстанет против силы, во всеуслышание прокляв ее. Кажется, этот голос

раздался. Но, клянусь вам, миллионы людей, и я в том числе, не услышали его, и в их сердцах, как верующих, так и неверующих, воцарилось одиночество, и по мере того, как менялись дни и множилось число палачей, оно только усугублялось.

Мне объясняли, что проклятие действительно прозвучало, но оно было высказано языком энциклик, который не всем понятен. Проклятие прозвучало, но не было понято! Разве кто-то из присутствующих здесь не чувствует, что такое настоящее проклятие, и не видит, что в этом примере уже содержится ответ на вопрос, который вы мне задаете. Мир ждет от христиан, чтобы они говорили в полный голос и их осуждение звучало так, чтобы в сердце самого простого человека не возникло ни тени сомнения. Чтобы они вышли за рамки абстракции и прямо посмотрели в окровавленное лицо современной истории. Единство, в каком мы нуждаемся, — это общность людей, готовых говорить прямо и рисковать собой. Когда испанский епископ благословляет политические казни, он перестает быть не только епископом, но и христианином, и просто человеком, и превращается в пса — так же, как тот, кто, движимый идеологией, организует эти казни, даже если лич-

но в них не участвует. Мы ждем, и я жду, чтобы объединились те, кто не хочет становиться псом и полон решимости лично заплатить ту цену, которая для человека означает нечто большее, чем для пса.

Итак, что же могут христиане сделать для нас?

Прежде всего покончить с пустыми спорами, главным из которых является спор о пессимизме. Я, например, думаю, что Габриэлю Марселю[25] следовало бы оставить в покое формы мысли, вызывающие у него страстный интерес, но сбивающие его с толку. Г-н Марсель не может одновременно быть демократом и требовать запрета пьесы Сартра. Эта позиция не устраивает никого. Г-н Марсель рвется защищать абсолютные ценности, такие как человеческая стыдливость и божественная истина, тогда как следовало бы встать на защиту временных ценностей, благодаря которым г-н Марсель в один прекрасный день смог бы в свое удовольствие защищать эти абсолютные ценности.

---

[25] Примечания: 25

Габриэль Марсель (1889–1973) — французский философ, драматург и театральный критик. Возмущался сценами пыток в пьесе Жан-Поля Сартра «Мертвые без погребения» и выражал сожаление, что после волнений, вызванных показом пьесы в Копенгагене, ее не запретили в Париже («Ле Нувель литерер», 10 ноября 1946 г.). — *Прим. изд.*

Впрочем, по какому праву христианин или марксист взялся бы обвинять меня, например, в пессимизме? Не я придумал ничтожность твари, не я изобрел чудовищные формулировки божественного проклятия. Не я первым воскликнул: «*Nemo bonus*»[26], не я осудил на вечную муку некрещеных младенцев. Не я сказал, что человек сам по себе никогда не спасется и со дна своего падения может надеяться только на милость Божью. Что же касается пресловутого оптимизма марксистов… Никто не довел презрение к человеку до такой степени, как они, а экономический фатализм марксистской вселенной выглядит намного ужаснее любых божественных капризов.

Христиане и коммунисты возразят мне, что их оптимизм носит более долгосрочный характер, он выше всего остального и условиям их диалектики удовлетворяет концепция Бога или, соответственно, истории. Я прибегну к той же аргументации. Если христианство с пессимизмом смотрит на человека, то по отношению к человеческому предназначению оно вполне оптимистично. Что ж, а я скажу, что, с пессимизмом глядя на человеческое предназначение,

---

[26] Примечания: 26
Никто не добр *(лат.).*

я оптимист в отношении человека. Не во имя гуманизма, который всегда казался мне чем-то куцым, а во имя незнания, старавшегося ничего не отрицать.

Таким образом, это означает, что слова «пессимизм» и «оптимизм» нуждаются в уточнении, а пока мы этого не сделали, нам лучше сосредоточиться на том, что объединяет, а не на том, что нас разъединяет.

Наверное, это все, что я хотел вам сказать. Мы все столкнулись со злом. Это правда, что я ощущаю себя примерно так, как чувствовал себя Августин, еще не принявший христианство, когда писал: «И я искал, откуда зло, но искал плохо и не видел зла в самых розысках моих»[27]. Но правда также и то, что наряду с другими людьми я знаю, что нужно делать — если не для уменьшения количества зла, то хотя бы для того, чтобы его не увеличивать. Возможно, не в наших силах помешать этому миру быть местом, где пытают детей. Но мы должны сделать так, чтобы детей в нем пытали меньше, и если вы не поможете нам в этом, то кто другой сумеет нам помочь?

Силы страха и силы диалога сегодня вступили

---

[27] Примечания: 27
Аврелий Августин. Исповедь. Пер. М. Сергеенко.

в великий и неравный бой. Я не без оснований не испытываю иллюзий относительно его исхода, но верю, что мы обязаны его вести, и знаю, что есть люди, готовые к этому. Я боюсь только, что порой они чувствуют себя немного одиноко, да они и в самом деле одиноки, и сегодня мы рискуем снова, спустя два тысячелетия, стать свидетелями многократно повторенной казни Сократа. Мишенью нападок станут пространство диалога и его свидетели, которых торжественно и показательно приговорят к смерти. Я уже дал свой ответ христианам и теперь хочу, в свою очередь, задать им вопрос: «Неужели Сократ опять останется в одиночестве? Неужели в нем и в вашем учении нет ничего такого, что подвигло бы вас присоединиться к нам?»

Вероятно, и я это знаю, что христианство даст отрицательный ответ. Нет, конечно, не напрямую. Но, похоже, оно снова попытается найти компромисс или выразить осуждение туманным языком энциклик. С упорством продолжит отвергать добродетель восстания и возмущения, какую в давние времена считала своей. Тогда христиане выживут, но само христианство умрет. Тогда и правда в жертву себя принесут другие. В любом случае не мне решать, каким станет будущее,

несмотря на все надежды и тревоги, бушующие у меня в душе. Я могу говорить лишь о том, что знаю. А мне известно, и это порой заставляет меня тосковать по прошлому, что, если христиане решатся на этот шаг, миллионы — слышите, миллионы! — голосов по всему миру присоединятся к крику горстки одиночек, которые сегодня неустанно и беззаветно бьются за детей и за человечество.

[Ниже следует текст выступления Альбера Камю, опубликованный в журнале «Интеллектуальная жизнь» в апреле 1949 года:]

Вы сами пригласили человека, не разделяющего ваших убеждений, ответить на этот вопрос. Но я не разделяю и вашей надежды, потому что наблюдаю мир, в котором страдают и умирают дети.

Что же ответить на ваш вопрос: чего мы ждем от католиков Франции? Я позволю себе его расширить: чего мир ждет от христиан?

Наверное, следовало бы спросить себя: чего вообще ждет мир? Размышляя над тем, чего ждет мир, мы сумеем задуматься и над тем, что представляет собой современный мир.

Сегодня мир — и вы наверняка со мной согла-

ситесь — существует, не ведая благодати, и 80 процентов европейцев живут и умирают лишенными ценностей, с опорой на которые могли бы действовать и встречать смерть с покоем в душе. Я принадлежал и до сих пор принадлежу к числу людей моего поколения, наделенных ясным сознанием и являющих собой яркий пример страданий и ожиданий мира. С моей стороны, будет честнее говорить о них, потому что я их знаю и потому что так скорее отвечу на ваш вопрос.

Скажу сразу: главная проблема современного мира — проблема зла, и именно этим, полагаю, должен объясняться интерес к ней христиан. Мне представляется, что для нас будет поучительно, если я применю исторический подход и постараюсь кратко описать опыт людей моего поколения и задаться вопросом: что может сделать христианство для этих людей в той конкретной точке, куда мы сегодня пришли?

Французы моего поколения появились на свет как раз накануне Великой войны, их взросление пришлось на годы экономического кризиса. В год, когда власть захватил Гитлер, им было по 20 лет; они пережили войну в Испании, Мюнхен, войну 1939 года, поражение и четыре года оккупации и подпольной борьбы. Это действительно

интересное поколение, поскольку оно восстало против мира абсурда, созданного для них предшественниками.

Если бы вы захотели задуматься, то признали бы, что все в этом поколении знаменовало бунт. Его литература восставала против фразы, смысла, ясности как таковой; живопись — против формы, сюжета и реализма; музыка — против мелодичности. Его философия учила нас, что истины не существует, а есть только феномены, что могут существовать мистер Смит, мсье Дюран и герр Фогель, но между этими тремя частичными сущностями нет ничего общего.

Нравственная позиция этого поколения выглядела еще более радикальной. Национализм представлялся им устаревшей истиной, религия — способом бегства. Двадцать пять лет международной политики научили нас сомневаться в любой истине: каждый мог быть прав, потому что никто не ошибался. Мораль нашего общества не переставала быть чудовищным лицемерием.

Итак, мы существовали внутри отрицания. Разумеется, то, что характеризовало данное поколение, не было внове. В истории многие другие поколения также выбирали путь отрицания. Новым являлось то, что в отсутствие способных ему

помочь ценностей это поколение было вынуждено приспосабливаться к убийствам и страху. Иначе говоря, оно оказалось с пустыми руками посреди кризиса человека, которому следует дать краткую характеристику, чтобы осознать, какая перед нами возникает проблема.

Как определить кризис человека? Мне хотелось бы найти наиболее сжатое и конкретное определение, и, полагаю, я скорее достигну своей цели, если расскажу вам две небольшие истории.

Одного из моих товарищей арестовало гестапо. Это произошло в доме по улице Помп. Однажды утром его и еще двух наших приятелей заперли в комнате и подвергли пыткам. В квартиру зашла консьержка, чтобы навести порядок, и, когда жертвы пыток с упреком спросили ее, как она может в подобных обстоятельствах заниматься уборкой, она ответила: «Дела жильцов меня не волнуют!»

Другая история случилась с еще одним моим товарищем. Его вывели из камеры и отправили на допрос, проходивший в несколько грубой форме; ему пришлось бинтовать уши. На следующий день, тот же немецкий офицер, допрашивавший его накануне, вызывая его на очередной допрос, с оттенком сочувствия и даже заботы поинтересо-

вался: «Как ваши уши?»

Я рассказываю вам эти истории не потому, что в них есть что-либо сенсационное, а потому, что они, как мне представляется, хорошо передают то состояние духа, в каком мы все оказались. Они характеризуют то, что я называю кризисом человека, позволяя нам дать не абстрактный, а иной ответ на вопрос: реален ли кризис человека? Они позволяют ответить, что да, кризис человека реален, если можно относиться к боли и пытке с такими умеренными чувствами, реагируя на них как на нечто повседневное и допустимое, словно подобное причинение боли является частью обычной жизни, напоминая скучноватую обязанность вроде необходимости стоять в очереди за билетами.

Мы могли бы обвинить в этом кого-нибудь другого, то есть заявить, что во всем виноват Гитлер, а теперь, когда змея умерла, исчезнет и ее яд. Но мы хорошо знаем, что яд никуда не исчез, все мы носим его в своем сердце, и это еще чувствуется по тому, как люди, партии и народы смотрят друг на друга с малой — или большой — долей ненависти. Я всегда думал, что народ солидарен в своем отношении как к предателям, так и к героям. То же касается и цивилизации, и я полагаю, что

белая цивилизация несет ответственность как за свои успехи, так и за собственные злодейства. По-моему, все мы ответственны за гитлеризм, мы все еще несем эту ответственность, и только сейчас в нас просыпается солидарность к другим вещам, к другому опыту, которая начинает захватывать мир и многие народы.

Так в чем же состояла идеология этого кризиса, который я постарался проиллюстрировать своими примерами?

Мои ровесники пребывали в растерянности и страхе. Предполагаю, что многие из них пытались размышлять. Им было нетрудно понять, что кризис сопровождался распространением террора. Я на этом не настаиваю, но подъем террора был связан с чередой высказываний о том, что является ценностью, а что нет, и стремлением судить человека не по критерию достоинства или ценности его индивидуальной жизни, а по совсем другим критериям — успеха и эффективности. У консьержки наверняка было сердце, как у любого человека, но немецкая оккупация была фактом; факт немецкой оккупации означал победу определенного порядка, а поскольку этот порядок победил, он должен был — неприятно, но ничего не поделаешь, — привести с собой

определенное количество свобод, в том числе свободу убивать. Поэтому самым простым было продолжать спокойно заниматься уборкой и не обращать внимания на все остальное.

Я подчеркиваю, что подъем террора базировался на отсутствии ценностей, с единственной целью — напомнить, что, прежде чем искать лекарство от болезни, нам необходимо попытаться поставить точный диагноз.

Мы уже испробовали иные способы. Мне кажется, этот террор и страх основаны на невозможности убеждения. Люди живут — и не могут жить иначе, — отталкиваясь от мысли, что, разговаривая с человеком по-человечески, они получат в ответ человеческую реакцию. Однако есть люди, которых невозможно убедить. Я даже допускаю, что какой-нибудь эсэсовец, пытавший заключенных в концлагере, был убежден, что он все делает правильно и именно так и следует поступать. Но был ли убежден мой товарищ, которому рвали уши, что немецкий офицер прав, мучая его? Проблема в отсутствии общих ценностей. Я намерен вновь и вновь повторять это в своем коротком выступлении.

Я говорю об отсутствии общих ценностей в том смысле, что кто угодно, вы или я, могли бы

высказаться во имя определенных ценностей, пусть даже смутных, но позволяющих нам найти точки соприкосновения, тогда как с немецким офицером никаких общих ценностей у нас нет. Сидя у себя в кабинете, он воображал себя чиновником и выразителем идеологии, и ему казалось естественным, что за рамками своих чиновничьих обязанностей он становится обычным человеческим существом. В противном случае ему пришлось бы защищать ценности, положенные в основу его государства. По той же самой причине Гиммлер, возвращаясь вечером домой, ходил через черный ход, чтобы не будить свою любимую канарейку.

Я также считаю, что террор заключается в вытеснении природного объекта абстракцией и бюрократией. Я не стану повторять свое сравнение с покупкой билетов — вы меня уже поняли.

Множа количество бумаг, кабинетов и чиновников, воздвигая между людьми барьеры в виде лестниц, по которым надо подниматься, и формуляров, какие надо заполнять, мы создаем абстрактный мир, где люди судят о других не как о людях, а как о функции в соответствии с доктриной, лежащей в основе устройства этой бюрократии. Я, например, думаю, что сегодня

люди умирают, любят и убивают по доверенности, и это называется хорошей организацией. Проблема смертной казни рассматривалась бы под совсем другим углом зрения, если бы те, кто выносит смертный приговор, были вынуждены собственноручно приводить его в исполнение.

Это означает, что мы существовали и продолжаем существовать в мире, где реального человека вытеснил человек политический. Больше нет индивидуальной страсти, есть коллективные, то есть абстрактные страсти. Вольно или невольно вовлеченные в политику, мы вынуждены говорить, что важно не сочувствие к страданиям конкретного мужчины или конкретной женщины, а торжество доктрины.

Все эти симптомы сводятся к культу эффективности, в свою очередь, основанному на подавлении общих и традиционных ценностей, а также к культу абстракции и идеологии. Вот почему европейцы обречены на одиночество и больше не способны объединиться с другими людьми на базе общих ценностей. И, поскольку нас — ни вас, ни меня — не защищает уважение к человеку, основанное на этих ценностях, единственной альтернативой остается, как я уже

говорил в другом месте[28], возможность стать либо жертвой, либо палачом.

Вот к какому выводу пришли люди моего поколения. Но они не так отчетливо и не так равнодушно поняли, что у меня есть способ говорить об этом с вами. Они уловили это интуитивно, гораздо чаще кожей, чем рассудком. Но они сказали себе, что необходимо прояснить свое отношение к подобному состоянию дел, и тут возникает проблема. Мы должны были разобраться с ценностями, которыми располагали, то есть с пустотой. Поэтому нам пришлось вступить в эту войну и этот террор, не имея уверенности ни в чем и ни в чем не видя утешения, словно слепцам, ищущим выход. По чисто физиологической дрожи мы смутно догадывались, что не смиримся с определенным порядком вещей, но не знали, как это объяснить. Наиболее проницательные из нас заметили, что не находят в себе никаких принципов, которые можно было бы противопоставить террору, и, если они лично ему противостояли, то делали это без какой бы то ни было явной причины.

Если ни во что не веришь, ни в чем не видишь

---

[28] Примечания: 28

Камю ссылается на свою статью «Спасите тела», опубликованную под рубрикой «Ни жертвы, ни палачи» («Комба», 19–30 ноября 1946 г.).

смысла, не можешь ни утверждать, ни отрицать любую ценность, то все позволено и ничто не имеет значения. Заниматься уборкой или пытать мужчин и женщин — между первым и вторым нет особой разницы. Никто не прав, и никто не ошибается. Можно отправить в печи крематория миллионы невинных людей, а можно посвятить себя уходу за прокаженными. И то и другое равноценно. И, раз уж мы согласились, что ничто не имеет смысла, придется сделать следующий вывод: в мире, где ничего нельзя доказать, прав тот, кто добился успеха. Многие умные и скептически настроенные люди утверждают, что, если бы Гитлер выиграл войну, история оправдала бы его правление и причислила к выдающимся государственным деятелям, и нет никаких сомнений в том, что многие из его оппонентов, в конце концов, заявили бы, что, с исторической точки зрения, его методы в определенном смысле заслуживают оправдания, поскольку он добился своей цели.

Многие из нас, даже воздерживаясь от подобных крайностей, тем не менее позволили себе думать, что в отсутствие какой бы то ни было высшей ценности можно предположить, что история имеет смысл; в любом случае они поступали

так, словно верили в это. Говорили, что война была необходима, потому что могла покончить с эпохой национализмов и подготовить почву для наступления эпохи империй, за которой последует эра рая на земле.

Это привело их к тому же выводу, какой вытекает из идеи о бессмысленности всего сущего, ведь либо история имеет всеобъемлющий смысл, либо она ничто. Они действовали так, будто мы все вместе движемся к некой окончательной цели. Думали и поступали согласно гегелевскому принципу, который представляется мне отвратительным: «Человек для истории, а не история для человека». На самом деле, всякий реализм, управляющий судьбами мира, ведет происхождение от немецкой политической философии, согласно которой мир разумными путями движется к строго определенному универсуму. Если верно, что история подчиняется некой логике и некому фатализму, если верно, что на смену анархии должно прийти феодальное государство, на смену феодализму — национальные государства, на смену национальным государствам — империи, а на смену империям — универсальное общество, тогда все, что служит этому поступательному ходу истории, — хорошо, а исторические сверше-

ния являют собой окончательные истины, и нам остается лишь ждать, когда они произойдут.

Но, поскольку осуществить эти свершения возможно только обычными средствами — войнами, ложью, хитростью и убийствами, как одиночными, так и массовыми, — то мы не будем оценивать, хороши эти действия или дурны, а станем судить, эффективны они или нет.

Таким образом, в современном мире на протяжении последних десяти лет люди моего поколения испытывали двойное искушение: от мысли, что ничто не имеет смысла, и от мысли, что смысл имеет только покорность историческому фатализму. Многие поддались одному или другому искушению, а мир оказался в руках тех, кто делал ставку на силу, то есть на террор.

Посмотрите вокруг себя и скажите: разве я рисую картину в слишком мрачных цветах? Мы окованы удушающими цепями насилия и власти. В каждой отдельной стране и в мире в целом царят алчность, ресентимент, коварство, презрение, ложь и хитрость, творя для нас вселенную безнадежности, в которой человек лишен части себя, не принадлежащей истории, — рефлексии, досуга, какого-то будущего; разве я требую слишком многого? Простого культа счастья и самого

элементарного досуга.

Нет нужды напоминать вам, что благополучно решить эту проблему сложно. Решение подобных проблем исторического масштаба скорее всего не зависит ни от действий отдельных людей, ни даже от усилий целого поколения. Для него требуется время, и, вероятно, логика истории заключается в том, что для этого могут понадобиться жертвы, иногда — бессмысленные.

Тем не менее полагаю, я могу сказать, что мы все делали правильно; даже думая, что ничто — или почти ничто — не имеет смысла, мы продолжали бороться против этого порядка вещей и против этой вселенной. Если я не намерен приводить здесь аргументацию — не философскую, а моральную, — в подтверждение своего вывода, то лишь потому, что она заведет нас слишком далеко.

Попробую изложить ее кратко. Учитывая, что мы оказались перед лицом этого мира и должны были что-то предпринять, чтобы отвергнуть его, но не могли ничего ему противопоставить, нам пришлось найти в самом своем бунте средства и оправдания нашего неприятия этого мира.

Не знаю, выглядит ли это, с евангельской точки зрения, софизмом или истиной, но мы пришли

к тому, к чему пришли. Мне хотелось бы это подчеркнуть. Когда мы отвергали определенный порядок вещей и набор ценностей, возможно, в этом отказе содержалось не только «нет», но и «да». Я хочу сказать, что мы некоторым образом утверждали, что существует определенный порядок, для нас неприемлемый, но одновременно в нас самих есть нечто, что гораздо лучше этого порядка, и мы могли заявить, что в той мере, в какой люди боролись за это нечто и шли на смерть ради истины, которую лишь угадывали, они тем самым доказывали, что существует истина, стоящая выше них. На практике это означало, что они вступали в борьбу не потому, что были жертвами угнетения, а из-за того, что жертвами угнетения являлись многие люди, ради кого они были готовы умереть.

Не трудно обнаружить в этом начало теории человеческой коммуникации, из которой мы могли бы почерпнуть две-три необходимые нам переходные ценности.

Мы не могли допустить одного: чтобы людей разъединяли страх, жестокость или бюрократия. Не желали согласиться с базовым разрывом между людьми, которые общаются между собой во имя определенной части ценностей.

Нам было легко вообразить — и это единственное, в чем я сегодня уверен, — что именно это общение мы и должны защищать. Не сложно вывести ценности из понятий честности, справедливости и свободы, что позволит упорядочить переходную деятельность. Если мы хотим поддерживать это общение, то должны требовать, чтобы отношения между людьми строились на основе справедливости. Между угнетенными и угнетателями всегда царит молчание; то же происходит между хозяевами и рабами. Точно так же мы должны настаивать на честности, потому что ложь разъединяет людей не хуже корысти.

Вот к чему пришел лично я и, вероятно, многие другие люди. В связи с этим нам следовало бы спросить: что христианство может сделать для нас?

Если мы думаем так, а я именно так думаю, что мы должны делать? В первую очередь я спрошу: что должен делать я? Отсюда второй вопрос: что должны делать христиане?

Я сказал бы, что мы должны называть вещи своими именами и отдавать себе отчет в том, что каждый раз, допуская определенный образ мыслей, мы убиваем миллионы людей — или подписываемся под убийством миллионов людей.

Человек не вынашивает дурные мысли потому, что он убийца. Он становится убийцей потому, что вынашивает дурные мысли. Можно быть убийцей, никого не убив собственными руками. Таким образом, все мы тут в большей или меньшей степени убийцы. Первое, что мы должны сделать, это просто отказаться — и в мыслях, и на деле — от любой формы реалистического и фаталистического мышления.

Второе, что мы должны сделать, — это освободить мир от владеющего им страха. Если зло, царящее сегодня в мире, отчасти объясняется отсутствием ценностей, то нам следует подумать о них и довести наш мыслительный процесс до такой точки, где мы обнаружим вещи, которые нас объединяют. Однако мы не найдем их в страхе. И, по чисто реалистическим соображениям, полагаю, одним из способов подобной разморозки мира стала бы отмена смертной казни.

Третье, что мы должны сделать, — это поставить на место политику. Ее язык устарел. Речь не о том, чтобы дать миру новый политический или моральный катехизис, новое евангелие. Беда нашего времени заключается в том, что современность претендует на роль учителя, преподавая нам некий катехизис, некое евангелие

и даже искусство любить. Политика должна заниматься уборкой. Мне неведомо, существует ли абсолют, но я знаю, что политического порядка нет. Абсолют — не дело всех, а дело каждого. Люди должны строить свои взаимоотношения так, чтобы каждый, будь у него желание, имел возможность посвятить себя поиску абсолюта. Я думаю, что наша жизнь принадлежит другим, но также считаю, что наша смерть принадлежит исключительно нам. Таково мое определение свободы.

Четвертое, что, как мне кажется, мы должны сделать, — это найти и создать на основе отрицания для тех, кто не является христианином, и на основе веры для тех, кто причисляет себя к христианам, переходные, промежуточные ценности, позволяющие людям доброй воли, независимо от их вероисповедания, объединиться на этой промежуточной, общей для всех площадке. Это работа философов, и я не стану повторяться на эту тему.

Пятое. Мы должны понять, что этот подход означает создание среднего универсализма, то есть универсализма на уровне среднего человека. Чтобы покончить с одиночеством, необходимо, полагаю, общаться, причем искренне, никогда

не лгать и говорить всю правду, какую знаешь. В частности, я убежден, что нельзя добиться этого универсализма, не принимая в расчет отдельную личность. Это означает, что никто не может в одиночку выразить в словах для целого народа его цель, дать ему все объяснения и предложить учение, способное удовлетворить всех. Это представляется мне абсолютно неосуществимым, если только в основе этого не лежит общая мораль.

Нам предстоит создать сообщества, которые объединят вас, христиан, нас, одиночек, и других людей, входящих в те или иные партии, то есть не являющихся одиночками. Этим сообществам придется проделать умозрительную работу по защите ценностей, способных объединить нас в нашей повседневной жизни, в текущей политике, каждый раз, когда возникнет необходимость. Именно здесь христиане и могут сыграть свою роль.

Что могут христиане сделать для нас? Слова «пессимизм» и «оптимизм», как и многие другие, нуждаются в уточнении и пересмотре; они подразумевают конфликты, которых желательно хотя бы в какой-то мере избежать, чтобы сосредоточиться на решении более важных и насущных проблем.

Второе, что мне хотелось бы сказать христианской аудитории, заключается в следующем. Современная ситуация не располагает к компромиссам, и христианам не следует искать их. Для меня это означает осуждение НРД[29]. Христианин должен кричать. Нам больше не нужны его улыбки — их слишком много в районе Сен-Сюльпис[30]! Нам нужно услышать крики христиан. Я никогда не устану это повторять.

В-третьих, христианин должен определить свои переходные ценности. Он должен сыграть свою роль. Просто я думаю, что нам нужно определить — а христианину нужно определить для себя, — какого свойства работы мы могли бы потребовать от него сегодня. С точки зрения христианства, это означает необходимость оставаться собой, то есть категорически отвергать все современные идеологии. Это требует определенных усилий по адаптации, в чем часто проявлялась значимость христианства и его способность вызывать резонанс в обществе, но

---

[29] Примечания: 29

НРД (Народно-республиканское движение) — христианско-демократическая партия, существовавшая во Франции в 1944–1967 гг.

[30] Примечания: 30

Церковь Сен-Сюльпис — вторая по величине и одна из старейших церквей в Париже.

это же качество может оказаться вредным, если христианство не сумеет устоять на своих традиционно твердых моральных принципах. Оно должно понять: мир сегодня, по моему мнению, не нуждается в героической морали или морали святых; наибольшее зло ему причинил как раз героизм. Сегодня героизмом будет изложение критических взглядов, и это первое, что нужно сделать. Вряд ли с подобной критикой мог бы выступить г-н Дюамель[31]; полагаю, это мог бы быть кто-то, кто доказал свою способность подойти к рассмотрению данной проблемы на соответствующем, если угодно, уровне.

Наконец — и на этом я решусь завершить свое выступление — христианину надо говорить на собственном языке. В христианской метафизике и в мировоззрении в целом есть нечто такое, что составляет его богатство и что необходимо продолжать развивать. Насколько я могу судить, это одна из редких по внутренней логике философских систем, способная сыграть свою роль как в историческом плане, так и в плане вечности. К сожалению, порой это приводило к эксцессам.

---

[31] Примечания: 31

Жорж Дюамель (1884–1966) — французский писатель и поэт, антифашист, в годы Второй мировой войны выступавший против позиции коллаборационистов.

Исторический смысл преобразовался в реализм, а смысл вечный — в почти безразличное отношение к социальным и сиюминутным проблемам. Напротив, я убежден, что христиане должны и в мыслях, и на деле попытаться воспользоваться своим историческим опытом для признания важности не только стоящей сегодня перед нами проблемы, но и проблемы вечности и бескомпромиссного отрицания деградации. Для этого требуется ясный и точный язык.

Не вижу причин не сказать здесь о том, о чем я пишу в других местах, и надеюсь, что не слишком вас шокировал. Я долго, на протяжении всех этих ужасных лет, ждал, когда из Рима раздастся громкий голос. Когда испанский епископ благословляет политические казни — простите, что говорю об этом, — он не является не только епископом и христианином, но даже просто человеком. Он убийца, и я думаю, что долг христианина — Бог свидетель, многие его исполнили — заключается в том, чтобы назвать этого епископа убийцей. У человеческого сообщества нет другой задачи, кроме той, чтобы сделать все, чтобы как можно меньше людей становились убийцами и ремесло человека победило ремесло убийцы.

Вот и все, что я хотел сказать. Я знаю, и это

порой заставляет меня тосковать о прошлом, что, если бы христиане всего мира проявили решительность, миллионы голосов присоединились бы к горстке одиночек из разных стран, которые сегодня неустанно выступают в защиту детей и людей.

Испания? Думаю, что больше не смогу о ней говорить…

1946–1947

Испания — «вторая родина» Альбера Камю, чьи родители были уроженцами Минорки, — занимает в жизни, творчестве и политической позиции автора особое место. От сочувствия к забастовке шахтеров в 1934 году, ставшей основой сюжета пьесы «Восстание в Астурии» (написанной в соавторстве), до протеста против принятия франкистской Испании в ЮНЕСКО, не говоря уже об озабоченности судьбой беженцев, бежавших от режима Франко, Камю в своих статьях и выступлениях постоянно поддерживал испанских республиканцев. Приводимый ниже текст был, скорее всего, написан в конце 1946-го или в начале 1947 года, но мы не располагаем никакими доказательствами того, что автор когда-либо произносил его публично. Судя по стилю, это именно устная речь, поэтому было решено включить ее в настоящий сборник.

Испания? Думаю, что я больше не смогу о ней

говорить. В 1938 году люди моего происхождения и возраста поддержали борьбу и разделили отчаяние Испанской Республики. В 1944 году мы разделили ее огромные надежды, и я выступал в ее защиту. Поскольку мы тоже познали горечь поражения, я полагал, что и в дни победы мы будем вместе. Но, судя по всему, мое предположение оказалось ошибочным. Наши речи прозвучали впустую, и сегодня победу праздновать некому, потому что никакой справедливости Испания не добилась. Справедливость сродни демократии — или она существует для всех, или ее не существует вовсе. Кто осмелится сказать мне, что я свободен, если самые отважные из моих друзей до сих пор томятся в испанских тюрьмах? Нет, мне остается молчать и хранить им верность.

Мои испанские товарищи! Сейчас мы знаем, что мир труслив. Вы думали, что служите нам примером, а на самом деле были лишь ставкой в игре. Данная история уходит корнями глубоко, и все, что нас объединяет, это насмешка. Кровь, борьба, изгнание, ярость — все это сейчас ничего не стоит. Если все, что у тебя есть, — это справедливость, благородство и правосудие, то в глазах реалистов у тебя нет ничего. Сегодня миром правят реалисты, и они дерутся между собой. Вы

верили, что ваша земля — это земля Сервантеса, Кальдерона, Гойи и Мачадо. Вам каждый день доказывают, что в глазах реалистов это земля ртути и нескольких портов, интересных военным.

Но, возможно, настанет день, когда мы станем оценивать величие страны не по количеству пушек и размаху разрушений, когда агонизирующая цивилизация снова прильнет к источникам духа и вернет себе искусство жить, и этот час, час истины, в первую очередь, будет часом Испании — последней страны подлинной цивилизации. Да, я вместе со всеми вами жду наступления этого часа, жду с той же непобедимой слепой надеждой, с тем же непреодолимым упорством, какое всегда приводит к победе, лечит раны и восстанавливает справедливость. В этот день впервые за восемь лет спадет огромное бремя стыда и горечи, и я наконец смогу вздохнуть свободно. В этот день ваша свобода станет нашей свободой, как сегодня ваше тяжкое молчание — это и наше молчание тоже.

Я отвечаю…

1948

25 мая 1948 года театральный актер и бывший летчик Гарри Дэвис отказался от американского гражданства и провозгласил себя «гражданином мира». В сентябре он запросил убежища в ООН, во время заседания ее Генеральной ассамблеи в Париже, и призвал к созданию международного правительства. Тогда же был образован комитет солидарности с Дэвисом, в состав которого вошел Камю. 20 ноября он опубликовал свою первую статью на эту тему в газете «Франтирёр», а 3 декабря принял участие в митинге, состоявшемся в Париже, в зале «Плейель». Здесь Камю выступил с речью, которая была в виде интервью напечатана в первом выпуске «Патри мондиаль» — журнала-однодневки, основанного комитетом солидарности с Дэвисом, и 9 декабря перепечатана в «Комба».

Вопрос. Что вы делаете?
Ответ. Что можем.
В. Для чего это надо?

О. А для чего нужна ООН?

В. Почему Дэвис не обратится к Советской России?

О. Потому, что его туда не пускают. Пока он обращается к советскому делегату, как и ко всем остальным делегатам.

В. Почему Дэвис не обращается к США?

О. Будьте последовательны. Вы сами каждый день говорите, что ООН — это американская колония.

В. Почему вы не отказываетесь от французского гражданства?

О. Хороший вопрос, хотя и немного лукавый, но это естественно, ведь его задают нам наши друзья. Вот мой ответ. Отказываясь от американского гражданства, Дэвис лишился многих привилегий, тогда как статус французского гражданина предполагает больше обязательств, чем преимуществ. Довольно трудно, если предъявлять к себе высокие требования, отвернуться от своей страны, когда ей плохо.

В. Поступок Дэвиса не кажется вам демонстративным, следовательно, подозрительным?

О. Не его вина, если простая очевидность выглядит сегодня показной. При прочих равных условиях Сократ тоже устраивал на рыночной

площади постоянные представления, и власти не смогли убедить его, что он неправ, так что им пришлось казнить его. В современном политическом обществе самое широкое распространение получила именно эта форма опровержения. Но одновременно это самый привычный способ, каким это общество признается в собственной деградации и собственном бессилии.

В. Вам не кажется, что Дэвис обслуживает американский империализм?

О. Своим отказом от американского гражданства Дэвис отрекается от этого империализма, как, впрочем, и от других его форм. Это дает ему право выступить с осуждением империализма, и мне представляется довольно затруднительным совместить это право со стремлениями тех, кто призывает к ограничению любых суверенитетов, кроме советского.

В. Не кажется ли вам, что Дэвис обслуживает советский империализм?

О. Несмотря на смену знака, я дам на этот вопрос тот же ответ, что озвучил только что, но добавлю: все империализмы — это братья-близнецы. Они растут вместе и не могут обходиться один без другого.

В. Суверенные государства — это реальность. Не

думаете ли вы, что следует принимать в расчет реальность?

О. Рак — это тоже реальность. Тем не менее мы пытаемся лечить его, и пока еще никто не рискнул сказать, что для излечения ракового больного, обладающего сангвиническим темпераментом, ему надо порекомендовать есть как можно больше бифштексов с кровью. Правда, врачи никогда не вели себя как руководители государств, убежденные, что владеют всей полнотой истины. Это выгодно отличает их от наших политиков.

В. Но разве не очевидно, что в нынешних исторических условиях ограничение суверенитета является утопией? (Это возражение было высказано в статье анонимного автора в «Ресамблеман»[32].)

О. Пусть «Ресамблеману» отвечает генерал де Голль. Он и правда заметил по поводу Рура, что нам необязательно иметь хорошее решение, чтобы распознать и отвергнуть плохое. Впрочем, Дэвис как раз предлагает решение — это вы объявляете его утопией. Вы напоминаете мне

---

[32] Примечания: 32

Еженедельник партии генерала де Голля «Объединение французского народа», выходивший под редакцией Альбера Оливье, с которым Камю сотрудничал в «Комба». — *Прим. изд.*

отцов семейств, которые, кивая на реальность, предостерегают от опасностей своих отпрысков, одержимых духом авантюризма. В результате случается, что отпрыску хватает сыновней преданности ровно настолько, чтобы ослушаться отца и бежать из семейной бакалейной лавки. Так что история — это и есть утопия, обретающая плоть.

В. Вам не кажется, что единственным препятствием для установления во всем мире социализма являются США? (Иногда этот вопрос формулируют иначе: вам не кажется, что единственным препятствием для торжества свободы во всем мире является СССР?)

О. Если вы с упорством, заслуживающим лучшего применения, планируете войну, то масштаб разрушений и страданий, которые обрушатся на мир — и Вторая мировая война являет лишь слабый тому пример, — сделает невозможным предвидение какого-либо исторического будущего. Я бы недорого дал за свободу или социализм в Европе, превращенной в руины, где у людей не будет сил даже на то, чтобы прокричать о своей боли.

В. Означает ли это, что войне вы предпочитаете капитуляцию?

О. Я знаю, что среди вас есть те, кто охотно предлагает нам сделать выбор между виселицей и расстрелом. Так они мыслят человеческую свободу. Мы, со своей стороны, делаем все, чтобы избежать этого выбора. Вы, со своей стороны, делаете все, чтобы этот выбор стал неизбежным.

В. Но если он станет неизбежным, что предпримете вы?

О. Если вам удастся — во что я не верю — сделать этот выбор неизбежным, у нас не останется ничего иного, кроме как присутствовать при агонии мира. Все остальное — журналистика, притом наихудшего толка.

В завершение я сам задам вопрос нашим оппонентам. Теперь моя очередь. Неужели они действительно верят, что их политические убеждения или вдохновляющее их учение достаточно безупречны, чтобы без раздумий отвергать предупреждения тех, кто напоминает им о горе миллионов живых существ, о криках невинных, о самом простом счастье, и просит их уравновесить свои даже законные надежды этими скромными истинами? Неужели они так уверены в своей правоте, чтобы рискнуть и допустить опасность атомной войны, пусть даже ее вероятность составляет один шанс на тысячу? Да, неужели они

так уверены в себе и так фантастически безупречны, что готовы пойти на что угодно? Вот вопрос, который мы задаем себе и много раз задавали им, но до сих пор ждем от них ответа.

Защитник свободы

1948

(Речь, произнесенная на международном писательском митинге в зале Плейель в ноябре 1948 г. и опубликованная в «Ла Гош» 20 декабря того же года)

Мы живем в такое время, когда люди, теснимые всевозможными заурядными и жестокими идеологиями, привыкают стыдиться всего на свете — стыдиться самих себя, стыдиться быть счастливыми, любить или созидать. В наши дни Расин покраснел бы, написав «Беренику», а Рембрандт, дабы искупить создание своего «Ночного дозора», тут же побежал бы вставать на учет в ближайшее отделение какой-нибудь партии. Нынешние писатели и художники также страдают избытком совестливости; среди них вошло в обычай извиняться за свою профессию. Да и, сказать по правде, нас весьма энергично подталкивают к этому. Со всех сторон нашего политизированного общества несутся обвинения в адрес художника, вынуждающие его то и дело оправдываться. Приходится оправдываться в своей бесполезности

и в то же время в пособничестве этой так называемой бесполезности темным силам. И когда мы отвечаем, что трудно возразить на столь противоречивые обвинения, нам заявляют: да, нельзя быть праведником для всех, но вы можете заслужить милостивое прощение некоторых избранных, приняв их позицию — разумеется, единственно справедливую! Если же подобный аргумент дает осечку, художнику говорят следующее: «Смотрите, какая нужда, какие несчастья царят в мире! Так чем вы помогаете людям?» На такой циничный шантаж художник мог бы ответить: «Нужда, несчастья? Я, по крайней мере, не усугубляю их. Кто из вас может сказать то же самое?» Тем не менее трудно не признать, что любой художник, если он требователен к себе, не должен оставаться равнодушным к призывам отчаявшегося человечества о помощи. И, стало быть, делать нечего — приходится признать себя виноватым. Вот так нас и завлекают в светскую исповедальню, постыднейшую из всех.

И, однако, ситуация не столь уж проста. Выбор, которого от нас требуют, не происходит сам по себе; он определяется многими другими выборами, сделанными задолго до этого. И наипервейший выбор художника заключается именно в том, что

он избрал для себя профессию художника. А если он избрал ее, то это произошло в соответствии с тем, что он представляет собою и как понимает цель и смысл искусства. Если эти основания оказались достаточно серьезными и способны оправдать его выбор, то есть шанс, что они же помогут ему определить свою позицию по отношению к истории. По крайней мере, я думаю именно так и хотел бы сегодня вечером немного пооригинальничать, сделав упор — раз уж мы здесь можем свободно и откровенно высказывать свои убеждения — не на угрызениях совести, которыми отнюдь не мучаюсь, а на двух других чувствах, которые испытываю в отношении нашей профессии при виде людских страданий; чувства эти — благодарность и гордость.

Поскольку меня принуждают оправдываться, я хочу сказать, что у нас имеется одно, главное оправдание, в меру сил и таланта каждого, — это наша профессия, позволяющая художнику, очутившемуся в самом средоточии измученного ненавистью мира, спокойно заявить, что он никому не был и не будет смертельным врагом. Последнее требует разъяснений, и я могу дать их только при условии, что немного порассуждаю о мире, в котором мы живем, и о том, что мы,

художники, призваны в нем совершить.

Окружающий мир находится в бедственном положении, и от нас, художников, требуют, чтобы мы помогли его изменить. Но в чем выражаются эти бедствия? На первый взгляд, определить это нетрудно: за последнее время в мире непрерывно убивают и, по некоторым прогнозам, будут убивать еще больше. Такое количество мертвых в конце концов слишком отягощает атмосферу. Я понимаю, что не сказал ничего нового. Писанная история человечества всегда была историей великих убийц. Разница в том, что сегодня Каин убивает Авеля во имя логики, а затем требует себе в награду орден Почетного легиона. Приведу конкретный пример, чтобы пояснить свою мысль.

В период крупных ноябрьских забастовок 1947 года газеты объявили, что парижский палач также собирается прекратить работу. Мне кажется, общество недостаточно оценило это решение нашего соотечественника. Его требования были сформулированы вполне четко и определенно. Во-первых, он, естественно, претендовал на премиальные за каждую казнь — вполне обычное явление на любом предприятии. Но, главное, он настойчиво добивался для себя статуса начальника отдела. Он желал получить от государства,

коему столь преданно служил, единственное признание, единственное осязаемое отличие, каким современная нация способна наградить своих верных слуг, а именно, административную должность. Вот так-то, под давлением Истории, и угасла романтика одной из наших последних свободных профессий. Ибо это случилось именно под давлением Истории. В прежние варварские времена ореол ужаса, окружавший ремесло палача, держал людей на почтительном расстоянии. Палач был единственным, кто, в силу своего занятия, посягал на великую тайну жизни и плоти. Он внушал суеверный страх и знал об этом. И одновременно тот же самый страх освящал человеческую жизнь, делал ее бесценной. Сегодня же ремесло палача стало всего лишь постыдным, но вполне обыденным занятием. А при таких условиях, как я полагаю, палач совершенно прав, не желая больше считаться бедным родственником, которого кормят на кухне, потому что стесняются его грязных ногтей. В современной цивилизации, где убийство и насилие давно уже возведены в ранг доктрины и вот-вот превратятся в институт, палачи имеют все основания к тому, чтобы занимать чиновничьи посты. По правде говоря, мы, французы, даже слегка отстали от времени: по-

чти всюду в мире исполнители казней занимают министерские кресла. Просто они сменили топор на канцелярскую печать.

Когда смерть становится всего лишь одним из статистических показателей, обыкновенным административным актом, это означает, что дела в нашем мире идут плохо. Но если смерть превращается в абстрактное понятие, то же самое происходит и с жизнью. С того момента, как жизнь каждого человека подчиняют некоей идеологии, она может рассматриваться только абстрактно, и не иначе. Несчастье состоит в том, что мы живем во времена засилья идеологий, причем идеологий тоталитарных, другими словами, вполне уверенных в себе, в своих дурацких законах или сиюминутной правде, дающих им право видеть спасение мира единственно в их господстве, и ни в чем другом. А желание господствовать над кем-то или над чем-то приводит к стремлению выхолостить, заставить молчать или вовсе уничтожить того, кто находится в вашей власти. Хотите убедиться в этом? — достаточно посмотреть вокруг.

Жизнь невозможна без диалога. Но сегодня на большей части земного шара диалог уступил место полемике. XX век — это век ожесточенной

полемики и взаимных оскорблений. Подобный стиль царит и в отношениях между нациями, и в отношениях между отдельными людьми, даже на уровне тех материй, что раньше считались совершенно аполитичными, где был традиционно принят взвешенный, разумный диалог. Днем и ночью тысячи голосов, каждый на свой лад, изливают на людей оглушительные монологи, целые потоки невнятных, загадочных речей, в которых звучат то угроза, то желание защититься, то ненормальная экзальтация. Но какова же механика этой полемики? Она крайне проста: рассматривать собеседника как врага, а следовательно, предельно упростить его суть и отказаться вникать в его доводы. «Вот тот, кого я оскорбляю и поношу; стало быть, мне больше незнаком цвет его глаз, мне неизвестно, случается ли ему улыбаться и как именно». Мы на три четверти слепнем в пылу полемики, мы живем теперь не среди людей, а в черно-белом мире силуэтов.

Жизнь невозможна без убеждения. Современная же история знает только один прием — запугивание. Люди живут — и могут жить — не иначе как с уверенностью, что у них имеется какое-то общее пространство, где они всегда смо-

гут найти друг друга. Но вот что обнаружилось: есть такая разновидность существ, на которых убеждение не действует. Жертва концентрационного лагеря не могла, да и никогда не сможет убедить своего палача, что людей мучить нельзя. Ибо такие палачи больше не являются представителями человечества, они воплощают в себе некую идею, доведенную до высшей точки накала чьей-то непреклонной воли. Тот, кто стремится властвовать, — безнадежно глух. Можно либо бороться с ним, либо сдаться и умереть. Вот почему сегодня люди живут в страхе. В «Книге мертвых» написано, что египетский праведник, желавший получить отпущение грехов, должен был сказать: «Я никому не внушал страха». На этом условии мы вряд ли найдем в Судный день среди тех, кому суждено попасть в Рай, наших великих правителей.

Так можно ли удивляться тому, что тысячи силуэтов — этих безликих созданий, безнадежно слепых, глухих и запуганных, кормящихся по благотворительным талонам, ведущих жизнь, которая целиком укладывается на одной регистрационной полицейской карточке, превращаются государством в анонимные, абстрактные фигуры, с которыми можно обращаться как заблагорассу-

дится! Интересно отметить: именно те режимы, что строятся на подобных идеологиях, методично и неустанно занимаются искоренением народов, перегоняя их из конца в конец Европы, словно пешки на шахматной доске: эти несчастные обездоленные призраки обретают жалкое подобие жизни лишь в статистических отчетах. С тех пор, как такие замечательные философские принципы вошли в историю, неисчислимые массы людей, каждый из которых раньше отличался от других хотя бы манерой здороваться, ныне безжалостно сведены к двум буквам, обозначающим перемещенное лицо, — вот и все, что смог изобрести для них наш в высшей степени логичный век.

Это и в самом деле выглядит весьма логично. Для тех, кто стремится унифицировать весь мир, подогнав его под свою теорию, нет иного пути, как сделать его бесплотным, слепым и глухим, уподобив данной теории, оборвав все до единого корни, связывающие человека с жизнью и с природой. И не случайно в большой европейской литературе со времен Достоевского трудно отыскать пейзажные зарисовки. И также не случайно, что авторы известнейших современных романов интересуются не тончайшими духовными

нюансами, не радостями и горестями любви, а с упоением пишут о судьях, о процессах, о механике вынесения приговора; вместо того, чтобы открыть окно и полюбоваться красотою мира, они наглухо захлопывают его, оставляя одинокого человека наедине с его тоской. И не случайно известный философ — именно он, оказавший влияние на всю европейскую мысль, — пишет, что только современный город позволяет человеческому разуму осознать себя; более того, он утверждает, будто природа — понятие абстрактное, конкретен один лишь разум. Это, на самом деле, точка зрения Гегеля, явившаяся отправной точкой для рискованной авантюры разума, приведшей к безнаказанному убийству всего живого. Опьяненные кровью, эти безумцы среди великого действа природы не видят никого, кроме самих себя. Вот она — последняя степень ослепления.

Нужно ли продолжать? Тот, кто видел разрушенные города Европы, поймет меня. Они воплощают собою тот самый обескровленный, измученный чужой гордыней мир, где на апокалипсическом пепелище бродят призраки в поисках утраченного единения с природой и живыми существами. Величайшая драма человека Запада состоит в том, что между ним

и его историческим становлением больше не действуют ни силы природы, ни силы дружбы. Лишенный естественных корней, бесплотный, иссушенный, он уже напоминает виселицу, которая ему обещана. Но даже ввергнутые в эту пучину безумия, мы еще можем разоблачить величайший обман нашего века, притворившегося, будто он стремится возвести храм разума, тогда как в действительности ищет только одного: давно утраченных мотивов любви. И наши писатели хорошо знают это — недаром же все они, в конечном счете, прибегают к жалкому, истощенному суррогату любви, называемому моралью. Современные люди способны, вероятно, подчинить себе все чувства, и в этом состоит их великое преимущество. Но есть по крайней мере одна вещь, которую большинство из них никогда не сможет обрести вновь, — это давно отнятая у человека сила любви. Вот она — истинная причина их стыда. И будет вполне справедливо, если художник разделит с ними сей стыд постольку, поскольку он тоже способствовал этой утрате. Но только пусть не побоится сказать о том, что стыдится самого себя, а не своей профессии.

Ибо все, что составляет истинную гордость искусства, восстает против подобного устройства

общества, отрицает его. Произведение искусства одним фактом своего существования зачеркивает завоевания идеологии. Одним из направлений завтрашней истории станет начавшаяся уже сегодня борьба между завоевателями и художниками. Хотя и те и другие ставят себе одну цель. Политическая деятельность и созидание — суть две стороны одного и того же протеста против творящихся в мире беспорядков. И в обоих случаях возникает стремление унифицировать этот мир. Недаром же устремления художников и политических реформаторов всегда бывает трудно различить. Честолюбие Наполеона весьма схоже с честолюбием Гете. Правда, от Наполеона остался барабанный бой в лицеях, а от Гете — «Римские элегии». Однако с тех пор, как в наш мир вошли идеологии эффективности, подкрепленные современной техникой; с тех пор, как революционер, незаметно перейдя решающую грань, превратился в завоевателя, эти два образа мышления резко расходятся. Ибо то, чего добивается завоеватель правых или левых убеждений, зовется не единством, которое в первую очередь является гармонией противоположностей, а тоталитаризмом, уничтожающим любые различия. Там, где художник различает, завоеватель уравнивает.

Художник, живущий и творящий как ему подсказывают плоть и страсти, понимает, что мир крайне сложен, что в нем существуют другие, не похожие на него существа. Завоеватель отрицает право других на существование; его мир — это мир господ и рабов, тот самый мир, в котором мы и живем сегодня. Мир же художника — это мир живой дискуссии, терпимости и понимания. Я не знаю ни одного великого произведения искусства, основанного только на ненависти и зле, тогда как нам известны целые империи зла. И когда завоеватель, по самой логике своих убеждений, становится палачом или полицейским, художник вынужден сопротивляться. Перед лицом современного политизированного общества художник должен избрать для себя единственно достойную нравственную позицию, если он не хочет вообще расстаться с искусством; эта позиция — категорический отказ от сотрудничества с режимом. Истинно творческий человек даже при желании не может быть сообщником тех, кто использует язык или приемы современных идеологий.

Вот почему бесполезно и нелепо требовать от нас оправдания современного общества и сотрудничества с ним. Мы и так уже в какой-то степени

ангажированы, пусть и против воли. И, наконец, последнее: не борьба делает нас художниками — напротив, искусство принуждает становиться в ряды борцов. По самой своей сути художник — это защитник свободы, и в этом его оправдание, за которое ему нередко приходится дорого платить. По самой своей сути он обречен попасть в безжалостную мясорубку истории, переламывающую все живое в человеке. Мир — такой, каким он сложился, — неизбежно в той или иной степени ангажирует всех нас, но мы, художники, по природе своей не приемлем абстрактных идолов, царящих ныне в обществе, какую бы национальную или партийную окраску они ни имели. И мы отрицаем их не во имя морали или добродетели, как это нам пытаются доказать всеми правдами и неправдами. Мы тоже не праведники. Но при близком знакомстве с добродетелями наших современных реформаторов отпадает всякое желание зваться праведником. И во имя любви человека ко всему, что есть неповторимого в человеке, мы неизменно будем отвергать все притязания на нас со стороны общества, которое прикрывает свои истинные намерения самыми презренными мотивами, какие только можно помыслить.

Но этот же фактор и укрепляет солидарность деятелей искусства. Именно потому, что мы призваны защищать право каждого человека на одиночество, мы больше никогда не будем одиноки. И нам нельзя медлить, нельзя бороться без поддержки. Толстой еще мог написать на материале войны, в которой сам не участвовал, величайший роман всех времен и народов. Современные войны не оставляют нам времени описывать что-либо другое, кроме них самих; в настоящий момент они убивают Пеги и тысячи других юных поэтов. Вот потому-то я и считаю, что сегодняшнее собрание, вопреки всем нашим, может быть, даже коренным разногласиям, крайне важно. Художники, разделенные границами, тем не менее, иногда сами того не подозревая, вместе трудятся над общим тысячеликим делом, которое должно противостоять монстру тоталитаризма. Это именно так — мы трудимся сообща, а с нами и те тысячи других, что пытаются бороться с агрессивным грохотом городов немотой своих бессловесных творений. И еще многие, кого пока нет здесь, непременно, неизбежно однажды присоединятся к нам. Среди них будут и те, кто сейчас считает себя способным обслуживать тоталитарную идеологию средствами

своего искусства, тогда как в действительности мощь этого искусства, таящаяся в их произведениях, взрывает официальную пропаганду и зовет к единению, которому они на самом деле и служат; эта сила поставит таких художников в наши сплоченные ряды, вызвав злобу тех, кто до поры до времени эксплуатировал их талант.

Настоящие художники не могут стать победоносными политиками, ибо они (и в этом вы можете мне поверить!) органически не способны радоваться смерти противника. Они привержены жизни, а не смерти. Они — защитники живого человека, а не статей закона. Талант обрекает их на понимание даже того, что им враждебно и чуждо. Но это вовсе не означает, что они не умеют верно судить о добре и зле. Просто способность художника жить жизнью других позволяет ему принять оправдание любого человека, даже худшего из преступников, ибо оно зовется страданием. Именно это никогда не позволит нам вынести окончательный приговор кому бы то ни было и тем самым согласиться со смертной казнью. В нашем обществе, где смертный приговор стал нормой, художник защищает все то, что восстает в человеке против смерти. Художник никому не враг, разве только палачу!

Это и подвергает нас, убежденных жирондистов, угрозам и нападкам монтаньяров в люстриновых нарукавниках. А впрочем, столь невыгодная позиция самим своим неудобством делает нам честь. Придет день, когда все поймут это, и самые заслуженные деятели искусства, проникшись уважением к тому, что разнит нас, перестанут поносить друг друга, как они это делают сейчас. Они поймут, что их истинное призвание состоит в том, чтобы беззаветно защищать право своих соперников на собственное мнение. Они заявят, что лучше ошибиться, не казнив преступника, что лучше предоставить другим право говорить, нежели разглагольствовать самому в кладбищенской тишине задавленных оппонентов. Они попытаются доказать, что если революции и вершатся посредством насилия, то дальнейшее их существование возможно только при условии свободного диалога. И, наконец, они поймут, что это их особое призвание создает самое волнующее братство на Земле — братство тяжкой борьбы со злом, братство высоких моральных ценностей, которым грозит уничтожение, братство, которое во все времена существования интеллигенции неустанно билось с абстракциями истории за утверждение того, что выше всякой истории, а

именно — за живого человека, как страдающего, так и счастливого. Вся современная Европа с высоты своего величия объявляет нам, что эта борьба нелепа и бесплодна. Но мы для того и живем, для того и творим, чтобы доказать обратное.

Время убийц

1949

Летом 1949 года отдел культуры Министерства иностранных дел предложил Альберу Камю прочитать цикл лекций в Южной Америке, главным образом, в Бразилии, но также в Чили (он ненадолго остановился в Аргентине и затем продолжил путь через Уругвай, но публично в этих странах не выступал). Приводимая ниже лекция, машинопись которой хранится в авторском архиве под названием «Время убийц», была составлена специально для этой поездки и прочитана несколько раз. Темы, затронутые Камю, продолжают проблематику его выступлений 1946 года в Северной Америке, но здесь появляются также идеи, которые впоследствии, в 1951 году, получат выражение в эссе «Человек бунтующий».

Дамы и господа!

Некоторые из вас проявили великодушие, заинтересовавшись Европой, и я признателен им за это. Этот старый континент щедро покрыт шрамами, что придает ему бандитский вид. Он

часто впадает в дурное настроение и довольно безосновательно полагает, что за его пределами ничего не существует, хотя его территория не превышает территории одной только Бразилии. Но все-таки у него есть прошлое, он знал столетия славы, которые не сбросишь со счетов, и века культуры, которые стоят еще больше. В великой пустыне бесплодного мира, одержимого духом силы, во времена, когда люди, движимые жалкими и злобными идеологиями, привыкают стыдиться всего, включая счастье, случается, что они, рассеянные по континентам, иногда все же поворачиваются к несчастной Европе и задаются вопросом о ее будущем, понимая, что рабство и отчаяние не могли бы захватить Европу, не очернив две-три ценности, от которых никогда не откажется гражданин ни одной страны, если он желает сохранить звание человека.

Я разделяю это беспокойство и хотел бы дать на него ответ. Я не обладаю ни даром пророка, ни достаточными знаниями, чтобы судить о том, есть ли у Европы будущее. Вполне вероятно, что она нуждается в притоке новых сил, которые получит от соприкосновения со свободными народами. Но я могу сказать хотя бы одно: чтобы быть полезной миру, Европа должна исцелиться от болезней, и

среди них есть те, в каких я совершенно не разбираюсь. Другие люди сегодня постараются назвать и вылечить их. Но есть по меньшей мере одна болезнь, которой я заразился вместе с людьми моего поколения и о которой много размышлял. Лучшее, что я могу сделать, приехав сюда и отвечая на наше общее беспокойство, это просто рассказать все, что мне известно об этой болезни, внося свой вклад в постановку диагноза, без чего невозможно назначить нужное лечение.

Полагаю, тем самым я дополню представление о Европе, складывающееся в мире. Она воспринимается как царство гуманизма, и в каком-то смысле это действительно так. Однако в последние годы Европа стала кое-чем еще: царством концентрационных лагерей и холодного научного разрушения. Как на земле гуманизма возникли концлагеря и как сами гуманисты смирились с их существованием — вот вопросы, на которые люди моего поколения могут дать ответ, и именно об этом я буду говорить, оставив другим, более опытным экспертам, рассказывать вам о гуманизме в братской Европе.

Сегодня Европа несчастна. В чем заключается ее несчастье? На первый взгляд, его легко назвать: в последние годы мы совершили много

убийств, а кое-кто полагает, что они будут продолжаться. Столь большое число жертв, в конце концов, сгущает атмосферу. Разумеется, это не ново. Официальная история всегда была историей убийц. Каин убил Авеля не сегодня! Но сегодня Каин убивает Авеля во имя некой логики, а потом требует за это орден Почетного легиона. Чтобы вам стало понятнее, я приведу один пример.

Во время забастовок 1947 года газеты сообщили, что парижский палач тоже остановил работу. На мой взгляд, мало кто обратил внимание на этот поступок нашего соотечественника. Он очень четко изложил свои требования. Ясное дело, палач просил премию за каждую казнь — нормальная практика для любого предприятия. Но, главное, он настойчиво требовал, чтобы ему дали должность начальника отдела. Желал получить от государства, которому, по его мнению, служил верой и правдой, единственную награду, единственный знак почета, каким нация сегодня отмечает своих слуг, — административный статус. Так под грузом истории на наших глазах исчезла одна из последних свободных профессий. Это произошло именно под грузом истории. Во времена варварства фигура палача держалась на отдалении, окруженная ореолом ужаса. Он был

тем, кто в силу своего ремесла мог покушаться на тайну жизни и смерти. Палач воплощал собой — и знал это — страшный объект, и этот страх одновременно освящал цену человеческой жизни. Сегодня он — всего лишь стыдный объект, и я полагаю, что в данных обстоятельствах палач совершенно прав, когда не желает быть бедным родственником, которого не пускают дальше кухни потому, что у него грязные ногти. В цивилизации, где убийство и насилие уже превратились в доктрину и постепенно становятся институтом, палачи имеют полное право занимать высокие чиновничьи должности. Откровенно говоря, парижский палач прав еще и в том, что мы, французы, отстаем от других. Почти везде в мире палачи уже устроились в министерских креслах. Только заменили топор на пресс-папье.

Когда смерть становится статистикой и административным вопросом, действительно, что-то идет не так. История про поезд[33]. Европа больна потому, что способна воспринимать смертную казнь без ужаса и возмущения, как это должно

[33] Примечания: 33

См. «Кризис человека»: «Знакомые мне участники французского Сопротивления, развозившие листовки, читали в поезде Монтеня, тем самым доказывая, что мы как минимум способны понять скептиков, не отвергая идея чести». — *Прим. изд.*

быть; пытки людей считает чем-то вроде неприятной обязанности, так же как продуктовые карточки и необходимость стоять в очереди за крохотным кусочком масла. Европа поражена убийством и абстракцией. На мой взгляд, это одна и та же болезнь. Я просто хочу предложить вам рассмотреть в двух частях своего выступления, как мы до этого дошли и что нужно сделать, чтобы излечиться.

I

Ответ на первый вопрос прост. Мы дошли до этого своими мыслями. В определенном смысле это недуг, которым мы хотели болеть.

Разумеется, никто из нас, за редким исключением, никогда не исполнял обязанности палача. Но мы присутствовали — и до сих пор присутствуем — при масштабных исторических операциях по массовому уничтожению людей. Вероятно, мы мужественно и упорно боролись против них. Но какими доводами мы могли подкрепить свое возмущение происходящим? Разве мы не слышали рассуждений и изложения целых доктрин, оправдывающих действия этих мясников? Что касается людей моего поколения, то, как ни жаль, следует признать: да, слышали. Человек не вы-

нашивает дурные мысли потому, что он убийца; он становится убийцей потому, что вынашивает дурные мысли. Это первое размышление, каким мне хотелось бы с вами поделиться.

И правда, многие из нас увлеклись нигилизмом, распространившимся в период между двумя войнами. Вопрос не в том, можно ли найти извинения тому, что они жили с ощущением нигилизма. Отыскать их нетрудно. Важно, что они с ним жили. Например, мои ровесники во Франции и в Европе родились как раз накануне или во время Первой мировой войны, вступили в подростковый возраст в разгар мирового экономического кризиса и достигли двадцати лет в год прихода к власти Гитлера. Для завершения образования им вскоре предложили войну в Испании, Мюнхен, войну 1939 года, поражение и четыре года оккупации и подпольной борьбы. Наконец им сулят атомный фейерверк. Я полагаю, именно это именуется «интересным» поколением, и оно особенно интересно тем, что, ни во что не веря, вступило в период этого бесконечного испытания, обладая единственной силой — стремлением к бунту. Литература того времени восставала против ясности, повествования и самой фразы. Живопись возражала против сюже-

та, реализма и элементарной гармонии. Музыка отказалась от мелодичности. Что до философии, то она учила, что истины не существует и есть только феномены, что могут быть мистер Смит, мсье Дюран и герр Фогель, но между этими тремя отдельными феноменами нет ничего общего. В нравственном отношении это поколение было еще более категорично: национализм казался ему устаревшим понятием, а религия — способом бегства от реальности. Двадцать пять лет международной политики приучили его с сомнением относиться к любой чистоте и думать, что никто никогда не ошибается и каждый может оказаться правым. Что касается традиционной морали общества, то она представлялась им тем, чем всегда и являлась, — уходом от ответственности или чудовищным лицемерием.

Итак, данное поколение жило в нигилизме. Разумеется, в этом тоже не было ничего нового. Другие поколения в иных странах и на разных отрезках истории пережили подобный опыт. Новым было то, что люди, чуждые любым ценностям, были вынуждены определять свою позицию по отношению к убийству и террору. Действительно, в войну, например, они вступили как в ад — если правда, что ад — это отрицание.

Им не нравилась ни война, ни насилие; им пришлось мириться с войной и применять насилие. Если они и испытывали ненависть, то только к самой ненависти. Тем не менее они освоили эту трудную науку. Чтобы бороться, надо во что-то верить. Эти люди, судя по всему, не верили ни во что. Поэтому они не могли бороться. Но если ты не борешься, то принимаешь ценности, навязанные врагом, даже если это презираемые тобой ценности, — ведь именно они торжествуют.

Мы инстинктивно чувствовали, что не можем покориться зверью, поднявшему голову по всей Европе. Но не понимали, как объяснить самим себе, в чем заключается наш долг. Мало того, самые сознательные из нас замечали, что не способны сформулировать принцип, который помог бы противостоять террору и осудить убийство.

Ведь если ни во что не веришь и все бессмысленно, тогда все позволено и ничто не имеет значения. Тогда не существует ни добра, ни зла, а Гитлер одновременно и неправ, и прав. Злонравие и добродетель случайны и подчинены капризу. Можно отправить миллионы невинных душ в печи крематория — или посвятить себя уходу за прокаженными. Можно воздавать последние почести усопшим или выбрасывать

трупы на помойку. Все равноценно. [*Четыре слова неразборчиво*.] Пара сапог, как утверждал нигилист Писарев, сто́ит больше Шекспира.

Но если ничто не имеет смысла, то мы вынуждены признать: прав тот, кто добился успеха. Главное — показать себя самым эффективным, то есть очень сильным. Отныне мир делится не на праведников и негодяев, а на хозяев и рабов. Еще и сегодня находится множество умных скептиков, заявляющих: если бы Гитлер выиграл войну, история признала бы его заслуги и воздвигла бы ему тот отвратительный пьедестал, на который он попытался вскарабкаться сам. Ничего удивительного! «Официальная история верит убийцам на слово»[34], — сказала Симона Вейль, и нам не приходится сомневаться, что история, как мы ее понимаем, прославила бы Гитлера и оправдала террор и убийства, как мы прославляем и оправдываем то и другое, едва осмелимся подумать, что ничто не имеет смысла.

Таким образом, с какой стороны ни посмотреть,

---

[34] Примечания: 34

В 1949 г. Альбер Камю опубликовал в литературной серии «Надежда», которой руководил в издательстве «Галлимар», посмертное сочинение Симоны Вейль «Укоренение». Здесь он пересказывает один из его фрагментов: «Кстати, лишь потому, что историческое мышление состоит в том, чтобы верить убийцам на слово, представляется, будто эта догма [*прогресса*] так хорошо соответствует фактам». — *Прим. изд.*

научное — *полезное* — убийство занимает внутри отрицания и нигилизма привилегированное место. Естественным продолжением этого рассуждения стало появление К[оцентрационных] Л[агерей]. Поэтому, если мы считаем законным погружение в тотальное отрицание, то должны быть готовы убивать, и убивать по науке. Разумеется, потребуются определенные правила. Но, если судить по опыту, их будет меньше, чем представляется, не говоря уже о том, что всегда остается возможность убивать чужими руками, как это происходит сплошь и рядом. В любом случае ничего из того, о чем мы думали, не позволяло нам отвернуться от того, чтобы мы наблюдали, даже если речь шла о Дахау. Вот почему многие люди моего поколения оказались чуть ли не случайно брошены в эти трагические события, не имея за душой ничего, что могло бы помешать убийству или его оправдать. Обработанные целой эпохой нигилизма, они чувствовали себя одинокими и брали в руки оружие с тоской в сердце.

* * *

Другие люди, остро сознавая свою заброшенность, внешне отреклись от нигилизма и, по-прежнему не признавая доводов на основе

высших принципов, сделали выбор в пользу ценностей истории. В частности, им показалось, будто они нашли прибежище в историческом материализме, полагая, что он подскажет им правила действия, не вынуждая отрекаться от бунтарства. Достаточно было поступать в согласии с ходом истории. Эти люди говорили, например, что война, а также многое другое необходимы для ликвидации эры национализмов и подготовки наступления эпохи империй, за которой последует, возможно, через череду новых конфликтов, построение универсального общества.

Но, рассуждая подобным образом, они приходили к тому же выводу, какой вытекает из идеи о том, что ничто не имеет смысла. Если история имеет смысл, то это может быть только всеобъемлющий смысл, иначе это не смысл. Эти люди думали и действовали так, словно история подчиняется собственной независимой диалектике, а все мы движемся к некой точно определенной цели. Они думали и действовали по гегелевскому принципу: «Человек для истории, а не история для человека». На самом деле, всякий политический и моральный реализм, управлявший и до сих пор управляющий судьбами мира, подчиня-

ется, часто неосознанно и с опозданием на сто лет, возникшей в Германии философии истории, согласно которой человечество разумными путями движется к конечному универсуму. Можно заменить нигилизм грубым рационализмом, но в обоих случаях мы придем к тому же результату. Поскольку, если верно, что история подчиняется собственной логике, если, следуя той же философии, на смену анархии неизбежно приходит феодальное общество, его сменяют сначала национальные государства, а затем — империи, пока, наконец, не наступит эра глобального общества, то все, что служит этому поступательному движению, правильно, а исторические свершения суть проявления неоспоримых истин.

Но, поскольку их осуществление возможно только обычными средствами, такими как войны, интриги и убийства, как единичные, так и массовые, то об этих свершениях судят не по тому, хороши они или дурны, а по тому, эффективны они или нет. Естественным продолжением данного рассуждения становится появление К[оцентрационных] Л[агерей] и научно обоснованного убийства. По своим последствиям оба подхода, о которых я говорил, ничем не различаются, и то и другое — конечный результат долгих блужда-

ний духа модерна, который, начиная с того, что Ницше назвал смертью Бога, только и делал, что писал кровью истории трагедию европейской гордыни. Всякая ложная идея приводит к кровопролитию — такова земная справедливость. Но проливается всегда чужая кровь — такова несправедливость нашего существования.

II

Итак, причиной болезни Европы стали ложные идеи. Они заразили ее вирусом эффективности и сделали убийство необходимостью.

Эффективность — главное слово современности, и в той мере, в какой мы от безнадежности или следуя логике захотели эффективности, мы все несем ответственность за убийства, случившиеся в истории. Дело в том, что стремление к эффективности — это жажда доминирования. Стремясь доминировать над кем-то или чем-то, мы желаем его оскудения, молчания или смерти. Вот почему мы в какой-то степени живем, словно призраки, в мире, отныне превращенном в абстракцию и умолкнувшем, устав от криков и угрозы уничтожения. Философия, ставящая эффективность превыше всех ценностей, есть философия смерти. Именно под ее влиянием

жизненные силы покинули Европу, и отныне цивилизация этого континента демонстрирует все признаки угасания. Цивилизации тоже болеют цингой, и у нас этот недуг проявляется в зле абстракции.

[*Нрзб*] Приведу лишь несколько примеров. Возьмем полемику. Жизни без диалога не существует. Но на большей части Земли сегодня диалог вытеснен полемикой, говорящей на языке эффективности. XX век стал у нас веком полемики и оскорблений. Полемика занимает то место, которое в отношениях между народами и людьми и даже прежде незаинтересованными представителями научных дисциплин занимал осмысленный диалог. Тысячи голосов, день и ночь бубнящие каждый свое, низвергают на людей потоки вводящих в заблуждение слов. Но каков механизм полемики? Он заключается в том, чтобы рассматривать оппонента как врага, следовательно, упрощать его позицию и отказываться его видеть. Когда я оскорбляю человека, мне не интересно, какого цвета у него глаза. Из-за полемики отныне мы живем не в мире людей, а в мире силуэтов.

Не существует также жизни без убеждения. Но современная история ведает только устра-

шение — один из инструментов достижения эффективности. Люди живут и могут жить лишь с сознанием, что у них есть нечто общее и они всегда могут найти точки соприкосновения. Однако мы совершили одно открытие: есть люди, которых невозможно убедить. Узники концлагерей не могли — и не могут — объяснить своим мучителям, что те не должны их мучить. Все дело в том, что эти последние — уже не люди, а воплощение доведенной до точки кипения идеи несгибаемой воли. Тот, кто хочет доминировать, глух к любым доводам. С ним или борются, или умирают. Вот почему современные люди живут в страхе. В «Книге мертвых» говорится, что праведный египтянин, чтобы заслужить спасение, должен иметь возможность сказать: «Я ни на кого не наводил страха». В подобных обстоятельствах мы напрасно будем в день Страшного суда искать в толпе попавших в рай наших современников.

И разве удивительно, что с этими тенями людей — глухими, слепыми, напуганными, получающими продукты по карточкам, позволившими свою жизнь свести к полицейскому досье, — станут обращаться как с безымянными абстракциями? Интересно отметить, что режимы, опирающиеся на идеологии, о которых я говорю, системати-

чески пытаются перемещать народы, отрывая людей от корней, передвигая их по всей Европе, превращая в обескровленные символы и сводя их ничтожную жизнь к цифрам статистики. С тех пор, как в истории появились эти прекрасные концепции, огромные массы людей, каждый из которых прежде обменивался с другими рукопожатием, оказались окончательно низведены до пары инициалов, какими этот очень логичный мир придумал обозначать перемещенных лиц.

Это все действительно логично. Если вы хотите унифицировать весь мир, согласно некой доктрине, используя метод эффективности, у вас нет иного пути, кроме одного: вы должны сделать этот мир таким же бесплотным, слепым и глухим, как сама эта доктрина; таким же холодным, как разум; таким же жестоким, как [*нрзб*]. У вас нет иного пути, кроме одного: вы должны обрубить корни, привязывающие человека к жизни и природе. Природа не поддается истории и разуму. Поэтому и требуется ее [*нрзб*]. Не случайно в великой европейской литературе после Достоевского больше нет пейзажа. Не случайно заметные современные книги больше не интересуются тонкостями душевных переживаний и истинами, сокрытыми в любви, зато увлеченно

рассказывают о судьях, процессах и механике обвинений. Вместо того чтобы распахнуть окна красоте мира, они плотно закрывают их, запирая одиночек наедине с их страхами [*семь слов нрзб*]. Персонажи стали литературой пейзажей. Не случайно философ, оказавший большое влияние на значительную часть европейской мысли, написал, что только современный город позволяет духу осознать себя. Далее он доходит до утверждения, что природа является абстракцией и только разум конкретен. Действительно, такова позиция Гегеля, послужившая отправной точкой грандиозной интеллектуальной авантюре, в конечном счете оборачивающейся убийством всего и вся. В величественном зрелище природы эти опьяненные умы видят только себя. Это крайняя степень ослепления.

Следует ли продолжать? Те, кто бывал в разрушенных городах Европы, понимает, о чем я говорю. Эти города представляют собой картину изможденного, утратившего гордость мира, лишенного красок апокалипсиса, по которому бродят призраки в безнадежных поисках дружеского участия и единения с природой и другими ее созданиями. Великая драма западного человека заключается в том, что между ним и его

историческим будущим больше не стоят ни силы природы, ни узы дружбы. С обрубленными корнями, с безвольно опущенными руками, его силуэт уже почти не различим с очертаниями виселицы, которую сулят ему его убийства и идеологии.

III

На этом я завершу свое описание, хотя оно далеко от полноты. Слишком многие в сегодняшней Европе стали несчастными свидетелями происходящего с ней, чтобы у нас оставалась возможность продолжать ею восхищаться. Меня интересует, как выйти из этого состояния — если мы еще способны из него выйти. Бывали времена, когда законы жизни людям диктовали божественные заповеди, и я хорошо понимаю, что это было одно из возможных решений. Но те времена миновали, и сегодня 80 процентов европейцев живут, не ведая благодати.

Единственный практический вывод заключается в том, что Европа может черпать силы для возрождения только из того, чем располагает, то есть из отрицания и бунта. Но, возразите вы, именно концепции бунта и привели ее туда, где она сейчас находится. Вначале Европа восстала против мира, лишенного смысла, и пришла к

мысли, что надо подчинить себе этот мир силой. Она выбрала эффективность и получила то, чего хотела. Правда, большинство европейцев, сами того не сознавая, предпочли жить так же, как прежде. Это означало, что на всем континенте останутся только монастыри и пустыни. Если бы это случилось, будущее мира оказалось бы в руках инфантильных народов, которые смеются, глядя сверху вниз из башен своих машин.

Но я все же дам другой ответ, понимая его ограниченность. Бунт не ведет к господству, и тем, что интеллектуальная гордыня сделала из него выводы, приведшие к столь ужасным последствиям, она обязана своей извращенной природе. Объяснить эту ярость разрушения можно лишь ослеплением возмущенного ума, который не видит и не слышит собственных доводов. Отвергая оправдания высшего порядка, нигилизм уничтожает все границы и, в конце концов, приходит к убеждению, что убивать можно кого угодно, потому что все живое и так обречено на гибель.

Это безумие. Даже бунт может хотя бы на своем уровне предложить способы действия, направленные на снижение человеческой боли, а не на ее усиление, и что же в действительности означал бунт в мире, лишенном ценностей, в

той духовной пустыне, что служила нам домом? Он превращал нас в людей, умеющих говорить *нет*. Но в то же самое время мы были людьми, говорившими *да*. Мы говорили *нет* этому миру, его сущностному абсурду, опасным абстракциям и цивилизации смерти, которую он нам готовил. Говоря *нет*, мы утверждали, что все это продолжалось достаточно долго и мы приблизились к краю, заступить за который нельзя. Но одновременно мы поддерживали все, что находится за этим пределом. Мы утверждали, что в нас есть нечто такое, что не приемлет безобразия, и невозможно слишком долго терпеть унижение. Разумеется, в этом содержалось противоречие, и оно должно было заставить нас задуматься. Мы полагали, что мир живет и борется, не имея реальной ценности. Тем не менее мы боролись — например, против Германии, и самим фактом собственного неприятия и своей борьбы утверждали нечто позитивное.

Немецкий анекдот[35]

Но имело ли это нечто общую ценность, выходившую за границы мнения одного индивидуума и способную диктовать правила поведения? Ответ на этот вопрос уже был дан. Люди, о которых я говорю, в своем бунтарском порыве готовы были идти на смерть, и их готовность доказывала, что они жертвовали собой ради истины, стоявшей выше их существования и простиравшейся дальше их личной судьбы. В борьбе против судьбы, навязываемой врагами, наши бунтари защищали ценность, общую для всех. Когда палачи старательно пытали людей, вынуждали матерей обрекать на гибель своих детей, когда праведников не хоронили, а закапывали в землю, как свиней, эти бунтари чувствовали, что происходит отрицание чего-то такого, что

---

[35] Примечания: 35

Эту историю приводит Герберт Лоттман в своей биографии Альбера Камю (1978): «[…] немецкие офицеры услышали, как в ресторане молодые французы спорили о философии, и один из них заявил, что на свете нет такой идеи, ради которой стоило бы умереть. Немцы подозвали его к своему столику, и один из них, приставив ему к виску пистолет, предложил повторить только что сказанное. Француз повторил фразу, и офицер сказал: «Полагаю, вы только что доказали, что ошибаетесь. Вы только что доказали, что некоторые идеи стоят того, чтобы ради них умереть». — *Прим. изд.*

принадлежит не только им, но является общим достоянием человечества, на котором зиждется солидарность. Одновременно посреди этого абсурда мы усвоили следующий урок: мы пережили коллективную трагедию, ставкой в ней были человеческое достоинство и единство людей, и следовало продолжать защищать их, пока мы не разберемся с этим лучше.

Да, эти страшные годы преподали нам великий урок. Оскорбление, нанесенное студенту в Праге, не оставило равнодушным рабочего из парижского пригорода, а кровь, пролитая на берегу европейской реки, заставила шотландского фермера проливать свою на земле Арденн, куда он попал впервые в жизни. Это казалось абсурдным, безумным, почти немыслимым.

Теперь мы поняли, что нам делать, узнали, как человек посреди полнейшего отрицания морали может обрести необходимые ценности и подчинить им свое поведение. Ведь если единение людей во взаимном признании их права на жизнь и достоинство есть истина, то мы должны служить этому диалогу.

Чтобы поддерживать это единение, людям нужна свобода, потому что между хозяином и рабом нет ничего общего и бессмысленно объединяться

и даже просто разговаривать с порабощенным человеком. Рабство обрекает на молчание, и это самое ужасное из всех молчаний.

Ради поддержки единения мы также должны добиться исчезновения несправедливости, потому что не может быть диалога между угнетенным и угнетателем. Зависть тоже принадлежит зоне молчания.

Ради поддержки единения мы должны проклясть наконец ложь и насилие, поскольку лгущий человек закрывается от других людей, а тот, кто пытает других и навязывает им свою волю, обрекает нас на полное молчание.

Так, из отрицания и простого побуждения к бунту мы вернули себе нравственную основу свободы и искренности, моральную основу диалога.

Чтобы исцелить Европу и послужить будущему мира, мы пока должны противопоставить мораль диалога морали убийства. Бороться против несправедливости, порабощения и террора, ведь три эти бедствия суть то, что вынуждает людей к молчанию, воздвигает между ними барьеры, делает их непроницаемыми друг для друга и мешает им обрести ту единственную ценность, которая способна спасти их от мира отчаяния и являет собой прочное братство людей, вместе

сражающихся против судьбы. Сегодня, когда закончилась эта долгая ночь, мы знаем, что должны делать.

Что это означает на практике? Европа не исцелится, если мы не назовем вещи своими именами и не согласимся, что становимся человекоубийцами каждый раз, когда принимаем определенные идеи. Поэтому первое, что надо сделать, это решительно, и в мыслях, и на деле, отказаться от любой формы философии цинизма. Мы не будем заявлять, что отвергаем насилие, что было бы утопией, но мы должны отвергнуть удобное насилие, то есть насилие, легитимируемое государственными интересами или той или иной философской концепцией. Не должно быть насилия по доверенности, и не должно быть его оправдания. Каждый акт насилия должен заставить нас полностью пересмотреть свое отношение к совершившему его человеку. В любом случае первой статьей Международного устава, учреждения которого ждет каждый из нас, должен стать запрет смертной казни и осуждение системы концентрационных лагерей. Рассуждать о допустимости смертной казни могут только люди, верящие в обладание абсолютной истиной. Это не наш случай, и мы вынуждены признать,

что ни о ком нельзя сказать: этот человек абсолютно виновен. Поэтому вынесение приговора об абсолютном наказании невозможно.

Европа не исцелится, если мы не откажем политической философии в праве решать все. Речь ведь не идет о том, чтобы дать миру политический или моральный катехизис. Беда нашего времени состоит в том, что политика, помимо катехизиса, пытается навязать нам целую философию, а порой даже учить нас искусству любить. Но роль политики — заниматься уборкой, а не разрешать наши внутренние проблемы. Лично мне неведомо, существует ли абсолют. Но я точно знаю, что он не находится в области политики. Абсолют — не общее, а личное дело каждого, и все мы должны строить свои взаимоотношения таким образом, чтобы каждый имел внутренний досуг для размышлений об абсолюте. Наша жизнь в каком-то смысле принадлежит другим, и это правильно, что в случае необходимости мы приносим ее в жертву. Но наша смерть принадлежит только нам. Именно так я определяю свободу.

Европа не исцелится, если не начнет, отталкиваясь от отрицания, вести поиск переходных ценностей, которые позволят совместить негативное мышление с позитивной деятельностью.

Именно в этом заключается работа философов, а я лишь обозначил ее контур. По меньшей мере она позволит нам пересмотреть ложные ценности, на какие ориентируются современники, в первую очередь, ценность героизма. Пора заявить: героизм следует подвергнуть суду по обвинению в узурпации. Ложность его ценности состоит в том, что наши философские концепции слишком часто ставят его на место, которое ему не принадлежит, то есть на первое место. Шопенгауэр называл храбрость «чисто унтер-офицерской добродетелью». Не будем заходить так далеко, но все же заметим, что нам нужны не всякие герои. Многие из нас засвидетельствуют, что немецкие эсэсовцы были храбрыми людьми, однако это не доказывает, что они были правы, занимаясь устройством концлагерей. Следовательно, героизм — второстепенная ценность, зависящая от других ценностей, в противном случае он лишен смысла. Если человек умирает за неправое дело, это не дает нам оснований оправдывать его. Существует смелость иного сорта — смелость признать, что главной добродетелью является не героизм, а честь, без которой смелость теряет смысл, а героизм превращается в позор.

Европа не исцелится, пока снова не откроет

для себя универсализм, способный объединить всех людей доброй воли. Чтобы избавиться от молчания и абстракции, необходимо общаться. Но говорить надо откровенно и в любом случае высказывать всю правду, какая тебе известна. Но мы можем говорить правду, только если живем в мире, где она определена и основана на ценностях, общих для всех людей. Ни один человек ни сегодня, ни завтра не сможет утверждать, что его правда достаточно хороша для того, чтобы навязать ее остальным. Только общее для всех сознание способно соответствовать этому амбициозному стремлению. Мы должны вернуться к ценностям, питающим это общее сознание, сегодня разрушенное страхом. Это означает, что мы должны создать надпартийные структуры, которые займутся налаживанием на международном уровне диалога между сообществами думающих людей и своими выступлениями и примером собственной жизни покажут, что этот мир должен перестать быть миром полицейщины, солдатни и денег и превратиться в мир мужчины и женщины, плодотворного труда и досуга. Свобода, за которую мы боремся, в конечном счете сводится к праву не лгать. Только при этом условии мы познаем, в чем состоит смысл жизни и смерти.

Только при этом условии мы сможем, учитывая сложность обстановки, в которой живем, хотя бы попытаться быть невинными убийцами.

Заключение

Таковы размышления, которыми я хотел с вами поделиться. Возможно, вы решите, что мой достаточно ограниченный подход имеет мало шансов в противостоянии силе убийства. Но я так не думаю. Я говорю о расчетливой осторожности, впрочем, временной, требующей от нас усилий и упорства. Проще говоря, она требует, чтобы жизнь мы любили больше, чем идею. Наверное, в этом и состоит трудность: Европа разучилась любить жизнь и делает вид, что больше всего любит будущее, готовая все принести ему в жертву. Но, если она хочет вернуть себе вкус к жизни, ей придется заменить ценности эффективности ценностями примера.

И, по правде говоря, если она этого не сделает, никто в мире не сделает этого за нее. Европа окунулась в те же смертоносные авантюры, что и прочие державы, сегодня изображающие мировых лидеров. Однако они лишь повторяли уроки, которые им преподала Европа, и она же [*два слова нрзб*] способна предложить решение

и сформулировать концепцию, от которой ныне зависит наше общее спасение.

Пример такого спасения и путь к его достижению нам показывает деятель античной эпохи. Он знал, что в жизни есть как светлая, так и теневая сторона, а человек не может управлять всем, и необходимо объяснить ему тщету его усилий. Он понимал, что есть вещи, нам неведомые, а тот, кто претендует на полное знание, заканчивает убийством всего живого.

Предвосхищая слова Монтеня: «Во всяком случае, заживо поджарить человека из-за своих домыслов — значит придавать им слишком большую цену»[36], он проповедовал на улицах Афин ценность незнания [*нрзб*], благодаря чему человек способен выносить другого человека. В итоге его, конечно, казнили. Со смертью Сократа начался упадок греческого мира. В Европе в последние годы убили многих Сократов. Это знак того, что только сократовский дух терпимости к другим и строгости к себе в данный момент представляет опасность для нашей цивилизации убийц. Это хорошо понимал Ницше, распознавший в фигуре Сократа худшего врага воли к власти.

---

[36] Примечания: 36

Монтень. Опыты. Том III, глава XI. О хромых. Пер. А. Бобовича.

Следовательно, это знак того, что только этот дух способен принести в мир добро. Любое другое, направленное на подавление усилие, какое бы восхищение оно ни вызывало, может лишь еще больше искалечить человека. Сократ был прав: человека нет без диалога. И, судя по всему, для Европы и для всего мира настал момент объединения сил, выступающих за диалог, против идеологий подавления.

Здесь я должен вспомнить, что я писатель. Потому что смысл сегодняшней и в еще большей мере завтрашней истории заключается в битве между художниками и завоевателями и, каким бы мелким это ни казалось, между словами и пулями. Завоеватели и художники хотят одного и того же и живут тем же духом бунтарства. Но современные завоеватели стремятся к единству мира, достижимому только через войны и насилие. У них есть всего один соперник, который вскоре превратится в их врага, — это искусство. Потому что художники тоже хотят единства мира, но ищут и ценой долгой личной аскезы, порой находят его в красоте. «Поэты — непризнанные законодатели мира»[37], — писал Шелли. Но тем

[37] Примечания: 37
П. Б. Шелли. Защита поэзии.

самым он обозначил огромную ответственность современных художников, которым необходимо понять, кто они такие, например, признать, что они стоят на стороне жизни, а не на стороне смерти. Они — свидетели живой плоти, а не законов. Самим своим призванием они обречены к осознанию того, кто является их врагом. Это не означает, что они не способны различать добро и зло. Но, глядя на самого страшного преступника, они, умеющие вникнуть в жизнь другого человека, узнают то, что всегда оправдывает человека, — его боль. Именно это умение сострадать в самом глубоком смысле слова с исторических времен сделало их [*нрзб*]. Художник не бежит от риска и ответственности, он принимает их [*нрзб*]. Их борьба может быть только борьбой [*нрзб*].

Европа не исцелится, если не откажется от поклонения событию, факту, богатству, власти, истории — как она складывается — и миру — куда он движется; если не примет человека таким, какой он есть. А мы знаем, какой он. Именно это ужасное положение потребовало рек крови и столетий истории, чтобы добиться едва заметных изменений в человеческой судьбе. Таков закон. В XVIII веке во Франции на протяжении долгих лет людям рубили головы, и Французская революю-

ция жгла сердца восторгом и ужасом. В результате в начале следующего столетия удалось заменить традиционную монархию конституционной. Мы, французы, живущие в XX веке, слишком хорошо знаем этот ужасный закон. Понадобились война, оккупация, массовая гибель людей, тысячи тюрем и стонущая от боли Европа — и все это ради того, чтобы в разоренном мире возникли два-три едва заметных изменения, позволяющих нам с чуть меньшей безнадежностью смотреть вперед. Возмущение должен вызывать оптимизм сытых. Европе следует научиться большей скромности. Потому что тот, кто возлагает надежды на человека, возможно, безумен. Но тот, кто приходит в отчаяние от событий, — наверняка трус.

Отныне им остается одно: своим творчеством и примером продемонстрировать, что сострадание — тоже сила, что лучше ошибиться, но никого не убивать и позволить говорить другим, чем оказаться правым посреди молчания и груды трупов. Им остается заявить: если революции и побеждают из-за насилия, сохранить свои успехи они могут только благодаря диалогу. Будущее Европы отчасти находится в руках наших мыслителей и художников, познавших, причем одновременно, и ничтожество, и величие. Но так

было всегда, и это выглядит по-своему захватывающе. Сегодня история выдвигает на первый план вечное призвание интеллигенции, которая на протяжении веков сомнительных битв и низвергаемых авторитетов не прекращала борьбу против абстракций истории за то, что стоит выше всякой истории и являет собой человеческую плоть, страдающую или счастливую. Сегодня Европа всем своим величием внушает нам, что наши усилия ничтожны и напрасны. Но мы здесь вместе со всем миром для того, чтобы доказать обратное.

Европа и верность

1951

12 апреля 1951 года Ассоциация друзей Испанской Республики, в руководство которой входили Эдуар Эррио[38], Рене Кассен[39] и Пьер Мендес-Франс[40], организовала в Париже, в зале «Сонье», собрание, куда пригласили выступить Камю. В своей речи он снова подчеркнул, что построение Европы невозможно без освобождения Испании от франкизма, тогда как в это же время США, Англия и Франция возобновили дипломатические отношения с Франко. Текст выступления Камю был опубликован в мае 1951 года, в 50-м номере революционного профсоюзного журнала «Проле-

---

[38] Примечания: 38

Эдуар Эррио (1872–1957) — французский государственный и политический деятель, лидер партии радикалов и радикал-социалистов, писатель, историк, публицист, академик.

[39] Примечания: 39

Рене Кассен (1887–1976) — французский юрист и общественный деятель, один из авторов Всеобщей декларации прав человека.

[40] Примечания: 40

Пьер Мендес-Франс (1907–1982) — французский государственный и политический деятель левоцентристских взглядов.

тарская революция»[41], *руководимого Пьером Монаттом*[42].

Западные демократии, судя по всему, придерживаются традиции предавать друзей; восточные режимы считают своим долгом их пожирать.

Находясь между этими двумя огнями, мы должны сотворить Европу, которая не будет ни континентом лжецов, ни рабов. Бесспорно, нам необходима новая Европа, как справедливо отмечает Сенат США. Но нам нужна не какая угодно Европа. Если мы согласимся строить ее с участием преступных немецких генералов и преступного мятежника Франко, это будет Европа отступников. В конце концов, если именно такой Европы хотели западные демократии, то им было легко создать ее. Гитлер попытался ее построить, и у него почти получилось; достаточно было стать на колени, и на костях и пепле убитых свободных людей возникла бы идеальная Европа. Но западные люди этого не захотели. С 1936 по 1945 год

---

[41] Примечания: 41

Камю проявил интерес к этому журналу с 1947 г., когда тот возобновил свою работу, и напечатал в нем больше десятка текстов. — *Прим. изд.*

[42] Примечания: 42

Пьер Монатт (1881–1960) — французский профсоюзный и политический деятель и публицист, один из основателей Революционно-синдикалистского крыла Всеобщей конфедерации труда.

они сражались; ради того чтобы Европа сохранилась и европейская культура осталась надеждой и не утратила смысла, миллионы погибли или умерли в мрачных темницах.

Может, сегодня кто-то об этом и забыл, но мы помним. Европа — это прежде всего верность. Вот почему сегодня мы здесь.

Если верить франкистским газетам, маршал Петен называл Франко «самым чистым мечом Европы». Это, конечно, милитаристские политесы, из которых ничего не следует. Но мы категорически не желаем, чтобы Европу защищал подобный «меч». Серрано Суньер[43] недавно тоже написал статью, в которой заявил, что Европа должна стать аристократической. Я ничего не имею против аристократии. Напротив, я считаю, что проблема европейской цивилизации заключается в появлении новых элит, поскольку прежние покрыли себя позором. Но аристократия по Суньеру слишком напоминает гитлеровских главарей. Это «аристократия» гангстерской банды, преступного мира, жестокое господство посред-

[43] Примечания: 43

Серрано Суньер (1901–2003) — в 1938–1940 гг. министр в правительстве Франко, в 1940–1942 гг. министр иностранных дел. Как высокопоставленный чиновник именно он занимался организацией встречи Гитлера и Франко 23 октября 1940 г. в Андае. — *Прим. изд.*

ственностей. Лично мне известны всего два вида аристократии: аристократия ума и аристократия труда. В сегодняшнем мире они подвергаются угнетению и оскорблениям, их цинично использует целое племя функционеров и прислужников власти. Освободившись и придя к согласию, в первую очередь, придя к согласию, они сумеют сотворить единственно возможную надежную Европу, основанную не на принудительном труде и рабской индоктринации интеллигенции, не на нынешнем лицемерии и морали лавочников, а живую Европу коммун и профсоюзов, которая подготовит ее долгожданное возрождение. Я глубоко убежден, что в этой огромной работе нам не обойтись без Испании.

Действительно, если Европа превратилась в пространство бесчеловечности, где все толкуют о гуманизме, в рабский лагерь, в мир теней и руин, то лишь потому, что она с бесстыдством поддалась влиянию самых экстравагантных доктрин, возмечтав о том, чтобы стать землей богов, и ради обожествления человека силой поработить всех людей. В этом прекрасном предприятии ее помощниками и советчиками выступили философские концепции Севера. Сегодня в Европе Ницше, Гегеля и Маркса мы пожинаем плоды

этого безумия. Если человек стал Богом, то приходится признать, что это малосимпатичный бог — у него лик илота или прокурора. Никогда еще в мире не царствовали такие пошлые боги. Разве нас удивляет, что, судя по первым страницам газет или кадрам кинохроники, их церкви — сплошь полицейские участки?

Величие Европы всегда проявлялось в том напряжении, какое она создавала между народами, их ценностями и учениями. Европа воплощает собой это равновесие в напряжении — или обращается в ничто. Едва отказавшись от этой роли и попытавшись силой навязать миру единство абстрактной теории, она захирела, словно изможденная мать, способная произвести на свет лишь жадных и злобных отпрысков. И, возможно, это только справедливо, что эти создания бросаются друг на друга в отчаянно-самоубийственной надежде обрести наконец мир. Но наша задача, наша общая роль состоит не в том, чтобы обслуживать эту чудовищную несправедливость. Она заключается в том, чтобы воссоздать в возрожденной Европе более скромную справедливость, то есть отказаться от учений, призывающих все принести в жертву ради истории, разума и власти. Нам необходимо отыскать миру путь,

помочь человеку обрести равновесие благодаря природе, заменить зло красотой, а правосудие — состраданием. Нам нужно возродиться в трудной и напряженной заботе, без нее невозможно процветание общества. В этом нам должна помочь Испания.

Действительно, можно ли обойтись без испанской культуры, которая за долгие века истории никогда, ни единого раза не позволила себе принести человеческое тело и крик человеческой души в жертву чистой идее. Она дала миру не только Дон Жуана, но и Дон Кихота — высочайшие образцы чувственности и мистицизма. Испания в самых безумных своих творениях не отрывалась от реализма повседневности — без этой полнокровной культуры, вобравшей в себя целую вселенную с ее солнцем и ночным мраком. Именно эта культура поможет нам перевоссоздать Европу, где ничто не будет отвергнуто и ничто в человеке не будет изуродовано. Еще и сегодня она продолжает отчасти подпитывать наши надежды. Пока эту культуру кололи в Испании штыками, она делилась своей кровью — своей лучшей кровью — с Европой и этими надеждами. Испанские узники, погибшие в

немецких лагерях, партизаны с плато Глиэр[44], солдаты дивизии Леклерка[45], двадцать пять тысяч убитых в Ливийской пустыне — все это были части этой культуры и этой Европы. Именно им мы храним верность, и если сегодня они могут где-то воскреснуть, то среди студентов и рабочих Барселоны, которые только что дали понять изумленному миру, что настоящая Испания не умерла и требует себе свое законное место.

Но если завтрашняя Европа не может обойтись без Испании, она по тем же причинам не выстроит себя с Испанией Франко. Европа — это олицетворение контраста, она не способна приспособиться к глупым и свирепым теориям, запрещающим любую свободу выражения, кроме их собственной. Несколько месяцев назад испанский министр клялся, что сейчас усиливается взаимопроникновение французских и испанских элит, и одновременно с этим испанская цензура запрещала Ануя и Марселя Эме. Эти писатели

---

[44] Примечания: 44

Плато Глиэр в горном массиве Борн известно как один из очагов французского Сопротивления. В конце марта 1944 г. в результате атаки солдат вермахта в бою погибло более ста партизан. — *Прим. изд.*

[45] Примечания: 45

Филипп Леклерк (1902–1947) — французский генерал, участник Тунисской кампании; в 1944 г. командовал французскими войсками во время высадки союзников в Нормандии.

никогда не являлись революционерами, и легко догадаться, как Испания восприняла бы проникновение в ее культуру Сартра, Мальро или Жида. Что до нас, то мы охотно соглашаемся читать Бенавенте[46]. Дело в том, что книги Бенавенте просто не читаются, вот и все. Судя по недавним публикациям во франкистской прессе, цензура заметно смягчилась. Чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с текстами. К чему же свелось смягчение цензуры? К тому, что разрешено все, кроме того, что запрещено. Франко, черпающий вдохновение в сочинениях одного из наших великих писателей — я имею в виду Жозефа Прюдома, — заявил, что «Испания толедского Алькасара[47] привязана к плоти святого Петра». Но он же подвергает цензуре речи папы римского, когда тот выступает в защиту свободы прессы. В той Европе, какую мы считаем нашей, папа имеет право высказываться — так же, как те, кто полагает, что понтифик плохо пользуется этим правом.

---

[46] Примечания: 46

Хасинто Бенавенте-и-Мартинес (1866–1954) — испанский писатель и драматург, автор более 150 пьес; лауреат Нобелевской премии по литературе 1922 г. — *Прим. изд.*

[47] Примечания: 47

Толедский Алькасар — средневековый замок, расположенный в испанском Толедо.

Европа, к которой мы стремимся, — это порядок. Когда кто угодно может арестовать кого угодно, когда поощряются доносы, а в тюрьмах беременных женщин великодушно освобождают от работы — но только на девятом месяце беременности, — это означает, что царит хаос, и Франко доказывает всему миру, что он намного более опасный анархист, чем наши друзья из НКТ[48], которые как раз стремятся к порядку, и хаос достигает апогея по меньшей мере, на мой взгляд, когда религия самым гнусным образом участвует в казнях, а за спиной палача стоит священник. Во франкистской Испании приказ о приведении смертного приговора в исполнение заканчивается почтительным обращением к начальнику тюрьмы: «Да продлит Господь ваши дни». Кроме того, заключенных тюрем заставляют подписываться на еженедельник «Искупление». Европа, где Бог предоставлен в личное пользование начальнику тюрьмы, — та ли это цивилизация, ради которой мы должны бороться и умирать? Нет! Но, к счастью, есть искупление, на которое нельзя подписаться, оно

[48] Примечания: 48

НКТ (Национальная конфедерация труда) — основанная в 1911 г. организация анархистско-либертарианского толка, первый испанский рабочий профсоюз начала XX в.

состоит в суждении свободных людей. Если в Испании и есть Христос, то он и правда находится в тюрьме, но только сидит на нарах узника; он — с теми католиками, кто отказывается причащать заключенных, потому что во многих тюрьмах по приказу священника-палача это стало обязательным. Они наши братья и сыновья свободной Европы.

Наша Европа — это также Европа подлинной культуры. Мне горько об этом говорить, но я не вижу никаких следов культуры в Испании Франко. Недавно я прочитал эссе по философии истории, написанное лично каудильо. Его суть сводится к следующему: «Франкмасонство, запрятанное в троянского коня „Энциклопедии“, было внедрено в Испанию Бурбонами». Одновременно я прочитал, что Франко принял американского паломника-католика, и тот нашел его «чрезвычайно умным человеком». Паломники всегда полны энтузиазма. Они проделали слишком большой путь, чтобы разочаровываться. Однако мне представляется, что между словами Франко и словами паломника есть несоответствие, и мое убеждение в том, что отношения между культурой и официозной Испанией можно обозначить как вежливые, лишь укрепляется, когда я читаю,

что «Франко должен разрубить своим мечом гордиевы узлы вековых проблем, решение которых доступно только его гению», или что «Бог, похоже, осенил судьбу Франко знамением сияющих исторических свершений, окружив нимбом его фигуру, взошедшую на горизонте нашего века». Нет, идолопоклонство — это не культура. Культура, во всяком случае, не способна пережить нелепость. Франко, требуя себе место в союзе народов и права (того же требуем и мы) Испании иметь то правительство, какое она хочет, формулирует свою доктрину, над которой я не перестаю размышлять, в следующем виде: «Не то чтобы мы шли в противоположном направлении… Просто мы шагаем быстрее других и уже возвращаемся, тогда как остальные все еще движутся к цели». Эта дерзкая метафора действительно все объясняет, в том числе и то, почему для нашей культуры мы предпочитаем Испанию Унамуно[49] Испании Рокаморы[50].

Наконец, и это главное, наша Европа не может

---

[49] Примечания: 49

См. «Испания и донкихотство». — *Прим. изд.*

[50] Примечания: 50

Педро Рокамора (1911–1993) был в то время генеральным директором отдела пропаганды в департаменте народного просвещения, прикрепленном к министерству национального образования во франкистском правительстве. — *Прим. изд.*

без мира. Но Испания Франко живет и выживает, только пока нам угрожает война, тогда как с увеличением шансов на сохранение мира крепнет и Испанская Республика. Если Европе для выживания потребуется пройти через войну, то она превратится в Европу полицейщины и руин, и тогда все поймут, что Франко необходим — за печальным отсутствием Гитлера и Муссолини. Именно так рассуждают те, кому видится образ Европы, внушающий нам ужас. Франко удостаивался самых суровых оценок — до тех пор, пока не выяснилось, что у него тридцать дивизий. В этот момент он обрел истинность. Перефразируя сентенцию Паскаля[51], о нем стали говорить: «Именуемый заблуждением по сю сторону тридцатой дивизии именуется истиной по ту сторону». Зачем в этих условиях воевать с Россией? Она более чем истинна, потому что у нее сто семьдесят пять дивизий. Однако Россия является вражеской державой, и для борьбы против нее все средства хороши. Значит, чтобы победить, надо сразу извратить истину. Так вот, настало время сказать, что та Европа, к какой мы стремимся, никогда не будет пространством, в ко-

[51] Примечания: 51

«Именуемое истиной по сю сторону Пиренеев именуется заблуждением по ту сторону!» Паскаль. Мысли. — *Прим. изд.*

тором правота той или иной стороны измеряется количеством ее пушек. Оценивать силу армии по числу ее офицеров — уже глупость. Если так рассуждать, то придется признать, что самая сильная в мире армия — как раз испанская.

Но в то же время она и самая слабая. Надо быть аналитиком *State Department*[52], чтобы верить, что испанский народ станет сражаться за свободу, которой у него нет. Но глупость — это еще полбеды. Гораздо хуже предательство священного дела — построения Европы, какой мы хотим ее видеть. Возобновляя дипломатические отношения с Франко, официальная Америка и ее союзники подписываются под разрывом с той Европой, которую мы считаем своей, будем защищать и станем вместе служить. Но мы сможем верно служить ей только в том случае, если будем отличаться от тех, кто не имеет морального права ей служить; от тех, кто, поддавшись на полицейскую провокацию, подвергает у нас пыткам таких честных активистов НКТ, как Хосе

[52] Примечания: 52
Госдепартамент (*англ.*).

Пейратс[53]; от тех, кто закрывает глаза на фальсификации алжирских выборов; от тех, кто смывает с рук кровь расстрелянных в Праге и осыпает оскорблениями заключенных русских лагерей. Эти люди лишают себя права говорить о Европе и изобличать Франко. А кто тогда заговорит? Кто его изобличит? Мои испанские друзья, я дам вам простой ответ: это будет спокойный голос верности. Но ведь верность одинока? Нет, во всем мире нас, верных, миллионы, и мы готовим день нашего объединения. Триста тысяч барселонцев[54] только что громко вам об этом сообщили. Мы должны делать все, чтобы объединиться, и не предпринимать ничего, что могло бы нас разъединить. Да, давайте объединяться! Объединяйтесь, умоляю вас! Здесь, в изгнании, Испания доказывает свою правоту, доказывает тем, что мы смогли собраться вместе, доказывает несгиба-

---

[53] Примечания: 53

Хосе Пейратс Вальс (1908–1989) — рабочий и журналист, секретарь НКТ, редактор анархо-синдикалистской газеты «Солидаридад Обрера». После победы Франко был вынужден эмигрировать. В начале 1950-х опубликовал книгу об испанском анархо-синдикализме «НКТ и испанская революция». — *Прим. изд.*

[54] Примечания: 54

В марте 1951 г. в ответ на повышение платы за проезд жители Барселоны бойкотировали трамвайное сообщение, что вскоре переросло в крупномасштабную забастовку, на две недели парализовав жизнь в городе. — *Прим. изд.*

емой волей к терпеливой борьбе. Настанет день, когда Европа восторжествует над своими бедами и преступлениями и наконец возродится.

Но этот день — и я хочу подчеркнуть это особо — станет днем, когда Испания верности, собравшись со всех концов мира на вершине Пиренеев, увидит раскинувшуюся перед ней израненную землю, о которой многие из вас долго и напрасно мечтали и которая так долго молча ждала вас. В этот день мы, европейцы, обретем вместе с вами еще одну родину.

Лекция в обществе «Казаль-де-Каталония»

[Календарь свободы: 19 июля 1936]

1951

19 июля 1951 года общество «Казаль-де-Каталония» отмечало в здании Лиги образования на улице Рекамье в Париже 15-ю годовщину социально-освободительной революции в Испании, начавшейся 19 июля 1936 года. Вместе с Альбером Камю на этом торжественном мероприятии выступили Октавио Пас[55], Жан-Поль Сартр и Жан Кассу[56]. Текст речи Камю был опубликован 4 августа 1951 года в еженедельнике испанской НКТ «Солидаридад Обрера». Три года спустя он был перепечатан в пятом выпуске журнала «Темуэн» («Свидетели») весной 1954 года вместе с

---

[55] Примечания: 55

Октавио Пас (1914–1998) — мексиканский поэт, эссеист-культуролог, переводчик, дипломат, политический публицист, исследователь цивилизаций Запада и Востока.

[56] Примечания: 56

Жан Кассу (1898–1986) — французский писатель, поэт, искусствовед, переводчик. Участник Сопротивления.

речью, которую Альбер Камю произнес в зале «Мютюалитэ» (Париж) 30 июня 1953 года в связи с рабочими волнениями в Восточном Берлине. Оба текста были опубликованы под единым заголовком «Календарь свободы».

19 июля 1936 года в Испании началась Вторая мировая война. Сегодня мы вспоминаем это событие. Эта война закончилась везде, но только не в Испании, и предлогом к ее продолжению служит необходимость подготовки к третьей мировой войне. В этом находит отражение трагедия республиканской Испании, в которой мятежные генералы навязали гражданскую войну с участием иностранцев, а сегодня во имя чужой войны ей навязывают тех же генералов. На протяжении пятнадцати лет одно из самых благородных побуждений человека подвергалось постоянной деформации и даже извращению ради более широких интересов мира, одержимого борьбой за власть. Дело республики всегда шло — и сейчас идет — рука об руку с делом мира, и это служит ему лучшим оправданием. К сожалению, с 19 июля 1936 года мир так и не выбрался из состояния войны, и, как следствие, продолжается предательство или циничное использование Испанской Республики. Вот почему бесполезно,

наверное, обращаться, как мы часто это делали, к духу справедливости и свободы, к совести правящих кругов. У правительств по определению отсутствует совесть. Иногда у них есть политическое чутье, но это все. И, возможно, самый надежный способ защитить Испанскую Республику заключается не в том, чтобы в очередной раз заявить, что недостойно для демократии снова убивать тех, кто сражался и умер за нашу общую свободу. Этот язык — язык истины, и он звучит в пустыне. Лучше сказать, что, если поддержка режима Франко оправдана лишь необходимостью обеспечить защиту Запада, она не оправдана ничем. Необходимо понять, что подобная защита Запада лишит его всяких оправданий, а если он и дальше будет поддерживать тиранический режим узурпатора, от него отвернутся лучшие борцы.

Поскольку западные правительства решили принимать во внимание только реальные факты, им следует сказать, что убеждения целой части Европы также являются фактом реальности, и это нельзя полностью отрицать. В XX веке правительства имеют достойное сожаления свойство полагать, будто общественным мнением и совестью людей можно управлять так же,

как объектами физического мира. Им действительно удалось, используя методы пропаганды и устрашения, превратить общественное мнение и совесть в удручающе податливую материю. Но у всего есть свой предел, и в особенности это касается гибкости общественного мнения. Можно было обманывать революционное сознание, внушая ему восхищение жалкими подвигами тираний. Но самые бесчинства этих тираний делают обман явным, и вот мы видим, как в середине века революционное сознание снова пробуждается и возвращается к своим истокам. С другой стороны, можно было извратить идеал свободы, ради которого сражались отдельные люди и целые народы, тогда как их правительства капитулировали. Можно было приучить народы к терпению, заставляя их принимать все более серьезные компромиссы. Но теперь, и об этом следует ясно сказать, предел достигнут; больше нельзя использовать в своих целях сознание людей, напротив, с ним тоже нужно бороться. Для нас, европейцев, этот предел наступил 19 июля 1936 года, когда мы осознали, в чем состоит наша истинная судьба, и этим пределом стала Испания и ее свобода.

Худшей ошибкой, какую могли бы допустить

западные правительства, было бы игнорирование этого предела, и если мы позволим им его игнорировать, это будет проявлением нашей величайшей трусости. В одной газете, приучавшей нас стремиться к максимальному нейтралитету, я прочитал несколько любопытных статей[57], посвященных тому, что они называют испанской проблемой. В них говорится о том, что испанские республиканские лидеры сами ничуть не верят в республику. Если бы это было правдой, этим можно было бы объяснить самые жестокие действия, направленные против республиканизма. Но автор статей, г-н Креак, рассуждая о республиканских лидерах, добавляет: «По меньшей мере те из них, кто живет в Испании». К несчастью для г-на Креака и к счастью для свободы Европы, республиканские лидеры не живут в Испании. Но даже если живут, г-ну Креаку не удастся встретиться с ними в министерских кабинетах или мадридских гостиных. Те, с кем он знако́м и кто называет себя республиканцами, на самом деле давно перестали верить в республику. Но они перестали в нее верить сразу, как только согла-

[57] Примечания: 57

В июле 1951 г. газета «Монд» опубликовала серию статей Жана Креака под общим заголовком «Составные части испанской проблемы». — *Прим. изд.*

сились во второй раз покориться ее убийцам. Истинные республиканские лидеры, живущие в Испании, настроены так решительно, что, боюсь, они не понравились бы ни г-ну Креаку, ни тем, кто, угодничая перед Франко, не прекращает пугать всех угрозой войны и твердить о необходимости защиты Запада. Мы должны доносить точку зрения этих подпольных активистов, потому что только она способна обозначить важный для нас предел, выйти за который мы, со своей стороны, не позволим. Вот почему я хочу, чтобы мой голос звучал как можно громче и долетал до тех, чья задача — определять западную политику с учетом реальных фактов, чтобы они услышали недвусмысленные заявления человека, представляющего самое мощное в Испании подпольное движение. Эти заявления, достоверность которых я гарантирую, коротки. Вот они: «Своими обычаями, культурой, цивилизацией мы принадлежим западному миру, и мы против восточного мира. Но, пока Франко остается у власти, мы сделаем все, чтобы ни один человек у нас не взял в руки оружие, защищая Запад, и мы для этого хорошо организованы».

Такова реальность, над которой западным реалистам следовало бы поразмыслить, и не только

в том, что касается Испании. Активист, чьи слова я привел и чья жизнь сегодня находится в постоянной опасности, — брат по оружию сотен тысяч похожих на него европейцев, полных решимости сражаться за свою свободу и определенные западные ценности. Они знают, что всякая борьба подразумевает толику реализма, но никогда не путают реализм с цинизмом и не возьмут в руки оружие, чтобы защищать Запад бок о бок с маврами Франко и свободу — бок о бок с поклонниками Гитлера. Есть предел, заходить за который нельзя. Мы почти десять лет питались горьким хлебом стыда и поражения. В день освобождения, наряду с великим всплеском надежды, мы также узнали, что и победа предана, и нам пришлось расстаться с некоторыми нашими иллюзиями. С некоторыми? Наверное. В конце концов, мы не дети. Но не со всеми. Мы не расстались с самым главным для нас — с идеей верности. В любом случае на границе, о какой мы рассказали, находится Испания, в очередной раз помогающая нам яснее видеть происходящее. Наша битва не станет справедливой, если на практике будет направлена против испанского народа. Если она будет вестись именно так, то мы в ней участвовать не желаем. Никакая Европа и никакая

культура не будет свободной, если строить ее на порабощении испанского народа. Но если она будет строиться на таком порабощении, то будет направлена и против нас тоже. Умный реализм западных политиков, в конце концов, приведет к тому, что в качестве выигрыша они получат пять аэродромов и три тысячи испанских офицеров и оттолкнут от себя сотни тысяч европейцев. После чего эти гении от политики смогут поздравить друг друга на фоне руин. Если только реалисты не усвоят настоящий язык реализма и не поймут, что лучший союзник Кремля сегодня — не испанский коммунизм, а лично генерал Франко и те, кто поддерживает его на Западе.

Наверное, эти предостережения окажутся бесполезными. Но пока, несмотря ни на что, остается небольшая надежда. То, что эти предупреждения прозвучали, а испанский активист заговорил на упомянутом мной языке, доказывает, что никакое поражение не фатально, пока у испанского народа сохраняется воля к борьбе, как он только что это нам продемонстрировал. Парадоксально, но именно этот голодный, порабощенный, изгнанный из сообщества наций народ является сегодня хранителем нашей надежды. Во всяком случае, в отличие от начальников г-на Креака,

он жив, страдает и борется. Настолько жив, будто смущает теоретиков реализма, утверждавших, будто этот народ думает, в первую очередь о своем спокойствии. Но он думает об этом так мало, что теоретикам пришлось изворачиваться. Газеты, предоставляющие слово тем, кто причисляет себя к европейской элите, из кожи вон лезли, чтобы объяснить феномен испанских забастовок чем угодно, только не противодействием франкистскому режиму. Их последней находкой стало открытие, что эти забастовки поддерживали буржуазия и армия. Но правда в том, что в забастовках участвовали те, кто работает и страдает, и если хозяева предприятий и испанские епископы увидели в них предлог выразить, ничем не рискуя, свое неприятие происходящего, то они заслуживают еще большего презрения, потому что решили воспользоваться болью и кровью испанского народа, чтобы высказать от его лица все то, что не смеют сказать от своего собственного. Эти движения были спонтанными, а их порыв подтверждает реальность заявлений нашего товарища и дает нам единственное основание для надежды.

Давайте не будем верить, что дело республики поколеблено! Не станем верить в агонию Евро-

пы! Если что и находится в агонии с востока на запад, то это идеологии. И, вероятно, Европа, с которой так солидарна Испания, достойна презрения лишь в той мере, в какой она вся целиком, включая свою революционную мысль, отвернулась от источника благородной жизни; от идеи, объединяющей в единый организм справедливость и свободу; от идеи, равно удаленной и от буржуазной философии, и от цезаристского социализма. Народы Испании, Италии и Франции владеют секретом этой идеи и сохранят ее до тех пор, пока она не послужит их возрождению, и тогда день 19 июля 1936 года станет одной из дат второй революции века, той, что берет начало в Парижской коммуне и всегда кажется проигравшей, но продолжает потрясать мир и, в конце концов, поднимет человека выше, чем это сделала революция 17-го. Подпитываемая Испанией и всем духом свободы, однажды она вернет нам и Испанию, и Европу, а вместе с ними — новые задачи и сражения, которые будут проходить уже под открытым небом. По меньшей мере такова наша надежда и причина нашей борьбы.

Испанские товарищи! Поверьте, говоря это, я не забываю, что если, с точки зрения истории, пятнадцать лет — это почти ничего, то те пят-

надцать лет, которые мы только что пережили, лежат огромным грузом на многих из вас, принужденных к молчанию и изгнанию. Есть нечто, о чем я больше не могу говорить потому, что повторял это слишком часто, и это — мое страстное желание увидеть, как вы вернете себе единственную землю, какая вас достойна. Еще и сегодня я чувствую горечь от того, что могу говорить лишь о борьбе и новых битвах, а не о справедливом счастье, на которое вы имеете право. Но если мы и можем сделать что-то, что оправдает такое количество страданий и смертей, то только не дать угаснуть в себе их надеждам, не позволить, чтобы эти страдания были напрасными, а гибель этих людей обрекла их на одиночество забвения. Эти пятнадцать суровых лет одних обессилили, зато других закалили, и судьба последних оправдывает то, что случилось с первыми. Трудно это принять, но именно так возвышаются народы и цивилизации. От вас, представляющих часть Испании, мы научились стоять прямо и не сетуя исполнять нелегкий долг свободных людей. Для Европы и для нас вы, часто сами о том не догадываясь, были и остаетесь учителями свободы. Это тяжкая обязанность, не дающая передышки, и теперь наша очередь разделить с вами ее бремя,

не жалуясь на усталость и не соглашаясь на компромиссы. В этом доказательство вашей правоты. С тех пор как я достиг возраста взросления, я видел в истории множество победителей, и их облик внушал мне отвращение. Я читал в нем ненависть и одиночество. Не будь они победителями, они были бы никем. Возможно, все, в чем они нуждались, — это убивать и порабощать. Но есть и другая порода людей, они помогают нам дышать, они всегда видели смысл существования в свободе и даже в своих поражениях черпают силу, чтобы продолжать жить и любить. Эти люди, даже будучи побежденными, никогда не станут одинокими.

Речь Альбера Камю о всеобщих выборах в Великобритании

1951

С конца 1947 года British Broadcasting Company[58] (BBC) приглашает французских интеллектуалов выступить в ежемесячной передаче Letter from Paris[59], выходящей в рамках Third Programme[60]. Альбер Камю согласился прокомментировать досрочные общие британские выборы, прошедшие в октябре 1951 года, по результатам которых Лейбористская партия Клемента Эттли, несмотря на большинство поданных за нее голосов, получила в парламенте меньше мест, чем консерваторы. Через шесть лет после неожиданного проигрыша на выборах 1945 года премьер-министром снова стал Черчилль. Речь

---

[58] Примечания: 58
Британская вещательная корпорация *(англ.).*

[59] Примечания: 59
Письмо из Парижа *(англ.).*

[60] Примечания: 60
Третья программа *(англ.).*

Камю, записанная, судя по всему, не в Лондоне, а в Париже, впервые прозвучала по радио 8 ноября 1951 года под вышеприведенным заголовком. Согласно английской традиции, 10 ноября состоялась ее вторая, а 30 ноября — третья трансляция, на сей раз в сопровождении выступления Раймона Арона[61], ответившего на тезисы Камю.

Я не стану, как это принято, говорить, что внутренняя политика Англии меня не касается. Напротив, у меня впечатление, что она меня касается, как прямо или косвенно касается миллионов жителей Европы. Зато я охотно допускаю, что мои английские слушатели сочтут мое мнение, как и мнение любого француза, не несущего за него политической ответственности, лишенным непосредственного интереса. Вот почему я буду говорить о ваших последних выборах одновременно откровенно и свободно. Откровенно — потому, что очень хорошо понимаю их важность. Свободно — потому, что говорю только от своего лица и не нуждаюсь в маскировке собственных мыслей. К тому же я обращаюсь к свободным людям.

Прежде всего я полагал бы нечестным скрывать

---

[61] Примечания: 61

Раймон Арон (1905–1983) — французский философ, политолог, социолог и публицист либеральных взглядов.

свои предпочтения. Я не являюсь социалистом в строгом смысле слова, и мои симпатии принадлежат скорее анархическим формам синдикализма, однако мне хотелось, чтобы на этих выборах победили лейбористы. Если бы меня спросили почему, я, очевидно, признался бы в том, что строю свое рассуждение на аналогии: в континентальной Европе мне предпочтительнее лейбористские правительства, чем министерства консерваторов. Причина проста. Те из моих английских слушателей, кому известен характерный для городов континента возмутительный разрыв между нищетой предместий и немыслимой роскошью немногих, поймут, что приличие требует принятия комплекса мер, направленных на повышение уровня жизни рабочих за счет пропорционального уменьшения размера отдельных состояний, обладатели которых даже не скрывают, что нажили их мошенническим путем. Я хорошо знаю, что англичане заплатили свою цену за относительную социальную справедливость, в результате чего они живут в условиях жесткой экономии, и я лишен предрассудков, воспевающих суровость жизни. Но при прочих равных мы, глядя вокруг, ежедневно убеждаемся, что суровость жизни — несравненно

меньшее зло, чем несправедливость.

Кроме того, лейборизм интересует меня как пример социализма, лишенного — или почти лишенного — философской подоплеки. На протяжении века европейский социализм ставил философские воззрения своих лидеров выше конкретных интересов рабочих масс. И, поскольку эта философия, эффективная в своей критической ипостаси, в позитивной части нереализуема, она постоянно сталкивалась с действительностью, и у социалистов континента не оставалось выбора, кроме оппортунизма, объясняющего их провалы, или террора, главной целью которого является стремление подчинить человеческую и экономическую реальность принципам, с ней несовместимым. Когда философия вмешивается в историю, она способна зайти очень далеко. Во всяком случае, в Европе она наплодила лжецов и палачей, тогда как социализм обещал создать общество свободных и великодушных людей. Мне представляется, что, напротив, английский лейборизм, как и скандинавский социализм, остался верен своим истокам, хотя порой подвергался заражению оппортунизмом, и ему удалось, действуя на ощупь, обеспечить минимум справедливости при максимуме по-

литической свободы. Пример, который в этом отношении дает нам Англия, должен устыдить многих европейских правителей.

Это поучительный пример, во всяком случае, для континентальной Европы. Настолько поучительный, что я не вижу для себя возможности рассуждать об английских выборах и их международном значении, обходя вниманием стоящие перед вами и на континенте проблемы — социальной справедливости. Я хочу сказать, что это не две отдельные проблемы: социальная справедливость как внутреннее дело и мир как вопрос внешней политики. Это одна и та же проблема: мир зависит от справедливости внутри страны, как справедливость внутри страны зависит от войны и мира. Европа, и это несомненно, не обретет мир, пока не будет достигнута социальная справедливость. Нам говорят, например, что г-н Черчилль укрепил все департаменты, связанные с обороной, и, если снова настанут трагичные времена, твердой рукой он возьмет управление ими на себя. Охотно в это верю. Все годы войны я восхищался речами г-на Черчилля. Он выражал надежду и гордость не только вашей страны, но также нашу надежду и гордость, пока нас вынуждали держать рот на замке. Такое не

забывается, и есть люди, в том числе и я, которые их помнят, несмотря на все, что разделяет нас и г-на Черчилля. Но нам также говорят, что ваш премьер-[министр] намерен завершить свою карьеру выдающегося государственного деятеля, укрепляя дело мира. Это бесконечно меня радует. Я просто убежден, что г-н Черчилль не ограничится встречей со Сталиным, с которым, если память мне не изменяет, он уже встречался в Ялте; во внутренней политике он во многом продолжит то, что до него делал г-н Эттли. В целом, мне кажется, что с учетом обстоятельств внешнего характера лейборизм не так уж проиграл на последних выборах, потому что г-ну Черчиллю, если он стремится к миру, придется в значительной мере самому стать лейбористом. Я поясню, что имею в виду.

Действительно, трудно сомневаться, что мир зависит от того, каким образом западные демократии победят в «холодной войне», не разжигая пламени войны как таковой. Англия — единственная из европейских демократий, кто уже победил в ней, потому что коммунизм в этой стране практически исчез. О себе мы не можем сказать того же. Когда в Италии и во Франции четверть избирателей голосуют за врага, на которого

им указали, мы, несмотря на наше перевооружение, не можем эффективно противостоять ему. Все, кто утверждает обратное, лгут. Сила коммунистических партий в континентальной Европе объясняется не ее абсурдной пропагандой и, разумеется, не примером русских концлагерей, а постоянным возмущением нашей ситуации с социальной справедливостью. Что думать о нации, борющейся против коммунистической державы и одновременно терпящей у себя хаос, в котором коммунисты чувствуют себя так же комфортно, как растения во влажной среде? Мы можем сказать лишь одно: эта нация делает себя жертвой любых авантюристов и рискует дать вовлечь себя в последнюю авантюру, которая завершится крупным пожаром.

Наши европейские демократии испытывают искреннее желание мира. Они хотя бы знают, и мы, французы, знаем это лучше кого бы то ни было, что война — отнюдь не доброе дело, а атомная война будет абсурдом и самоубийством. Но если все мы это сознаем, не все мы располагаем равными возможностями для сохранения мира. Зачем опрокинутому на землю человеку предлагать мир тому, кто его толкнул и наставил на него оружие? Но даже когда столкнутся два

одинаково вооруженных человека, зачем одному из них предлагать другому мир, если у него за спиной стоит родственник, готовый перерезать ему горло? Вот почему и, говоря это, я взвешиваю каждое слово, континентальные демократии в своем нынешнем положении не могут служить делу мира. Все, что мы можем, это, в первую очередь, постараться излечиться от пожирающего нас рака или, что то же самое, вернуть согласие в собственную семью. Напротив, Англия — это страна, которая в последние годы «холодной войны» дала больше всего гарантий делу мира, в то же время ясно показав, что не уступит духу агрессии. Наверное, сегодня мы дышим свободно только благодаря многократно проявленной мудрости вашего правительства. Но ваша страна не смогла бы позволить себе роскошь после победы в войне поддерживать мир, если бы не наложила на себя внутренние ограничения в роскоши.

Действительно, сегодня социальная справедливость — исключительная роскошь, ее могут позволить себе нации, имеющие много денег: либо для того, чтобы компенсировать ее разрушительные последствия, либо для содержания большого полицейского аппарата, способного заткнуть рты недовольным. Англия, не распола-

гая крупными запасами валюты, зато располагая свободой, сумела отказаться от этой роскоши и поэтому временно победила в «холодной войне», которую континентальная Европа пока проигрывает из-за алчности и несознательности собственных элит.

По этим причинам, я думаю, консервативное правительство, если оно намерено проводить политику мира, в то же время не допуская агрессии, не должно отменять основные реформы, недавно принятые в Англии. Убедить его в этом должны не шаткость недавней победы и не рост числа голосов, поданных за лейбористов, а сами требования «холодной войны». Мое единственное беспокойство вызывает возможное стремление консерваторов проводить мирную внешнюю политику, одновременно занявшись пересмотром внутренней политики их оппонентов. Это не беспокойство политического деятеля, это тревога человека, существующего вне партий и официальных кругов, много размышлявшего о причинах слабости современной демократической Европы и сделавшего вывод о том, что они заключаются в безразличии или охлаждении все большего числа людей, справедливо чувствующих себя обделенными при распределе-

нии национального богатства. Диктатуры могут позволить себе воевать с нищими: у них есть средства для их убеждения. Напротив, демократии нуждаются в солдатах, которым есть за что сражаться. Когда у человека отнимают все, даже надежду, ему нечего больше защищать. Похоже, многим миллионам европейцев кажется, что, защищая свою нацию, они защищают не себя. Вот самый важный факт нашей истории, трагическая очевидность, составляющая вашу силу и нашу слабость. Нам предстоит преодолеть эту слабость. Что касается вас, то постарайтесь, по крайней мере, сохранить эту самую надежную силу, любой ценой поддерживая справедливость. В завершение скажу: если г-ну Черчиллю удастся, чего я ему от всей души желаю, сохранить мир, этим он будет обязан в том числе реформам, начатым и продолженным коалиционным правительством г-на Эттли, и это, несмотря на внешние различия, станет символизировать глубокое единство народа, который в очередной раз в своей долгой истории заслужит наше уважение и благодарность.

Но, если мне будет позволено выразиться так же свободно, я добавлю, что ваша страна добьется еще больше прав на благодарность свободных

людей, как только перестанет проявлять свои добродетели в отрыве от них. Европа по причине царящего в ней хаоса нуждается в Англии, и, каким бы жалким ни выглядел этот континент, нет сомнений, что без Европы Англия не спасется. Вероятно, предрассудки или равнодушие, какое ваши политики часто питают по отношению к континенту, вполне законны, но это не делает их менее достойными сожаления. Презрение может неплохо работать в качестве метода. Но оно нетерпимо как принцип: часто возникают моменты, когда принцип вступает в противоречие с фактами. А факты свидетельствуют, что Англия и Европа солидарны — и в радости, и в горе. Этот союз может показаться мезальянсом. Но, как заметил один из наших моралистов, бывают крепкие браки, не бывает чудесных. Пусть наш союз далек от чуда, давайте хотя бы сделаем его крепким, раз уж развод невозможен. Англия может сколько угодно служить гарантом мира — ей придется вступить в войну, если Европа, неспособная обрести внутреннее единство, рано или поздно присоединится к одному из блоков. Но и мы не добьемся европейского единства, если наш континент не найдет путь к справедливости. Европа не отыщет этот путь, если силы и люди,

во все времена служившие делу мира и справедливости, не объединятся. В Европе они чаще всего представлены социалистами — таков факт. Но европейский социализм, деморализованный своими безумными доктринами или оппортунистическими эксцессами, не может обойтись без английского тред-юнионизма. Лейбористское правительство совершило большую ошибку, игнорируя или отталкивая от себя братскую Европу и тем самым позволяя нашему континенту постепенно превращаться в арену борьбы в рамках «холодной войны», которая завтра может стать «горячей», чего никто из нас не хочет. Если бы оппозиционность лейбористов помогла им лучше это понять, а г-н Черчилль, руководствуясь реализмом или одной из тех великих концепций, какие порой венчают долгую политическую карьеру, испытал чувство солидарности и с реформаторами-лейбористами, и с трудящимися Европы, если бы он продемонстрировал высшее мастерство в одновременной защите интересов справедливости и мира, тогда Европа, Франция и похожие на меня отдельные французы вместе со мной порадовались бы, несмотря на свои предпочтения, результатам ваших последних выборов — во имя того, что стоит выше партий

и наций и в зависимости от ситуации именуется достоинством или счастьем людей.

Призыв в защиту осужденных на смертную казнь

1952

«Франко продолжает убивать!» — возвещала надпись на афише Лиги прав человека, сообщавшей о том, что 22 февраля 1952 года в Париже, в зале «Ваграм», состоится большой митинг протеста против смертного приговора, вынесенного франкистским режимом одиннадцати деятелям испанского профсоюзного движения, членам Национальной конфедерации труда (НКТ). С трибуны митинга выступили многие представители интеллигенции, в том числе Жорж Альтман[62], Андре Бретон[63], Альбер Беген[64],

---

[62] Примечания: 62

Жорж Альтман (1901–1960) — французский журналист, участник Сопротивления.

[63] Примечания: 63

Андре Бретон (1896–1966) — французский писатель и поэт, основоположник сюрреализма. В 1927–1933 гг. состоял во Французской коммунистической партии.

[64] Примечания: 64

Альбер Беген (1901–1957) — швейцарский франкоязычный писатель, литературный критик и издатель.

Альбер Камю, Луи Гийу[65], Жан-Поль Сартр, Рене Шар[66], а также Иньяцио Силоне[67]. Призыв, с которым выступил Альбер Камю, в апреле 1952 года был опубликован в журнале «Эспри». Несмотря на громкий резонанс этого события, 14 марта 1952 года пятеро из одиннадцати осужденных (Сантьяго Амир Груаньяс, Педро Адровер Фонт, Хорхе Понс Архилес, Хосе Перес Педреро и Хинес Урреа Пинья) были расстреляны.

Сегодня парижская ежедневная газета поделилась со своими преданными читателями исследованием об основных направлениях франкистской политики. Этим же вечером мы, к сожалению, вынуждены ограничиться рассмотрением всего одного из этих направлений, и оно совпадает с линией прицела ружей расстрельной команды. В пользу данного направления можно сказать лишь одно: оно отличается постоянством и никогда не сворачивает в сторону.

Действительно, вот уже почти пятнадцать лет

---

[65] Примечания: 65

Луи Гийу (1899–1980) — французский писатель, журналист и переводчик. Участник Сопротивления.

[66] Примечания: 66

Рене Шар (1907–1988) — французский поэт, участник Сопротивления.

[67] Примечания: 67

Иньяцио Силоне (1900–1978) — итальянский писатель, публицист, политический деятель социалистической ориентации.

франкистский режим упорно целится в одну и ту же мишень — в лица и грудь свободных испанцев.

Признаем, что в цель он попадает часто, и, если ему, не жалеющему пуль, пока не удалось окончательно изуродовать это упрямо возрождающееся лицо, теперь у него появилась надежда добиться своего из-за неожиданного сообщничества мира, именующего себя свободным.

Так вот, мы категорически отказываемся вступать в это сообщество! Мы снова собрались здесь, возмущенные неприемлемой европейской позицией, чтобы в очередной раз осудить ее. Эти новые жертвы взывают к нам из своих темниц, напоминая, что дольше терпеть этот обман нельзя.

Да, мы должны сделать выбор между франкизмом и демократией. Между двумя этими концепциями не может быть компромисса. Компромиссом является гнусное неразличение добра и зла и стремление демократий к цинизму, тогда как франкизм пытается учтиво делать вид, будто соблюдает законы. Он предоставляет одиннадцати заключенным четырех адвокатов и заполняет целую скамью офицерами, которые, не давая адвокатам раскрыть рта, выносят приговор в

соответствии с особым законом. Точно так же Франко отказывается осудить на смерть шестнадцатилетнего юношу и держит его в тюрьме до совершеннолетия, чтобы затем по всем правилам расстрелять. Представителям демократий давно пора разоблачить эту карикатуру на правосудие и публично отречься от странной теории, смысл которой сводится к следующему: «Давайте вооружим диктатора, и он станет демократом». Нет! Если вы дадите ему оружие, то он, поскольку это его ремесло, выстрелит в живот свободе.

Необходимо выбирать между Христом и автоматчиком, а католическим иерархам давно пора публично и решительно осудить этот чудовищный союз. Можно упрекать Филиппа II, что он склонялся к тому, чтобы считать Бога испанцем. Но король выглядит достаточно скромно по сравнению с Франко, который под барабанную дробь казни беспрестанно твердит, что Бог — фалангист. Так чего же мы ждем, чтобы осудить эту странную религию, на протяжении пятнадцати лет благословляющую гнусные обряды, дюжинами раздавая свинцовые гостии и проливая кровь праведников?

Если это осуждение не прозвучит без промедления, то я не понимаю, по какой причине мы

будем выбирать между лицемерием и страхом, потому что лицемерие навсегда поступит в прислужники к страху. Тогда мир действительно станет единым — единым в мерзости. Но мы и посреди этой отвратительной эскалации останемся твердыми и сумеем увидеть, что еще можно спасти — и сегодня, и завтра. Еще можно спасти жизнь — хрупкую, бесценную жизнь свободных людей. Потому что, если мы позволим убить их, нам будет их не хватать — не сомневайтесь в этом, нас ведь не так уж много. Напротив, мы задыхаемся в той Европе, где человеческие качества деградируют, и с каждым днем все сильнее. На каждого погибшего свободного человека рождается десять рабов, и будущее предстает во все более мрачном свете.

Именно об этом будущем мы переживаем. Нам необходимо сохранить шанс на жизнь, а вместе с ней — шанс на величие. Тот крик, что вырывается у нас при виде многочисленных убийств, — это крик протеста против систематического разрушения людей, чье существование еще способно спасти мир от бесчестья.

Мы могли сказать, что испанский народ — это аристократия Европы. Кто в этом усомнится, глядя на то, что происходит вокруг нас? К сожале-

нию, сегодня эта аристократия стала жертвенной. Это элита, которую убивают, тогда как нам надо, чтобы она жила и помогала жить нам. Вот почему действовать нужно незамедлительно; каждый день и час имеет значение.

Пусть каждый из нас сделает то, что может, но пусть он это сделает. Не дадим себе уснуть, погрузиться в печаль и отчаяние, ведь это слишком просто. Давайте не принимать с легкостью чужое страдание. Но, главное, не поддаваться искушению и не повторять, что их страдание не напрасно. Чтобы знать, что его жертва не была напрасной, мученик может полагаться только на людскую память, однако это означает, что однажды о нем забудут и тогда его жизнь окажется бессмысленной. Сегодня повсюду слишком много жертв, и людской памяти может не хватить. Нам не нужна смерть этих людей, прежде всего нам необходима их жизнь.

Нет, не дадим им умереть, поскольку человеческое сердце ненадежно. Пока они еще живы, пока по их жилам струится теплая кровь, пока не угасла их гордость свободных людей. Все это мы должны сохранить. Для этого мы должны высвободить этих людей из рук палачей, положив конец кровавой мессе и мелочным расчетам кан-

целярий; вырвать их из рук тех глав государств, которые раздают награды главарям гестапо, а потом приветствуют президентов демократических стран, но, главное, — мы должны покончить с равнодушием мира. Спасение каждого свободного человека будет означать кончину десяти будущих рабов, и тогда завтрашний день снова станет возможным. В этом смысл нашей сегодняшней встречи, и смысл нашей надежды — в противостоянии палачам Испании и всем тираниям.

Испания и культура[68]

1952

Мы празднуем сегодня новую обнадеживающую победу демократии. Это победа, одержанная ею над самой собой и своими принципами. Франкистская Испания втихомолку пробралась в теплый храм культуры и просвещения, в то время как Испания Сервантеса и Унамуно опять оказалась выброшена на улицу. Когда знаешь, что теперешний мадридский министр информации, отныне непосредственный сотрудник ЮНЕСКО, — это тот же самый человек, который во времена Гитлера проводил нацистскую пропаганду, а правительство, недавно наградившее христианского поэта Поля Клоделя, — то же самое, которое некогда наградило орденом Красных Стрел Гиммлера, отца газовых печей, то, право же, есть все основания сказать, что не Кальдерон или Лопе де Вега принят сегодня демократическими государствами в общество просвещения и культуры, а Йозеф Геббельс. Сто-

---

[68] Примечания: 68
Речь, произнесенная в зале «Ваграм» 30 ноября 1952 г.

ит поздравить правительство господина Пине с этой замечательной капитуляцией через семь лет после окончания войны. Его не упрекнешь в излишней щепетильности, когда речь идет о большой политике. До сих пор все полагали, что судьба истории хоть немного, но зависит от борьбы просветителей с палачами. И никому не приходило в голову, что можно попросту взять да и объявить официально палачей просветителями. А правительству г-на Пине пришло.

Операция эта, что и говорить, неприглядная, пришлось провести ее стремительно. Но в чем дело? Школа школой, а торговля торговлей! По правде говоря, все это слегка напоминает торговлю рабами. Меняем жертв фаланги на подданных колоний. А что до культуры, то ее можно отложить на потом. К тому же это вообще не правительственное дело. Культуру создают художники, а правительства лишь ее контролируют и при случае уничтожают художников, чтобы сподручнее было контролировать. Наконец наступает день, когда горстка военных и промышленников может сказать «мы», говоря о Вольтере и Мольере, или издать в искалеченном виде произведения поэта, заблаговременно расстрелянного. В этот день — а он уже наступил

— стоило бы посочувствовать бедному Гитлеру. Напрасно этот неисправимый романтик покончил с собой, лучше бы он последовал примеру своего друга Франко и набрался терпения. Сегодня он был бы представителем ЮНЕСКО по просвещению Верхнего Нигера, а Муссолини занялся бы повышением культурного уровня маленьких эфиопов, чьих отцов он слегка пострелял в свое время. Тогда в примиренной наконец-то Европе началось бы поистине триумфальное шествие культуры в честь грандиозного банкета генералов и маршалов, на котором прислуживала бы команда министров-демократов, решительно настроенных в пользу реализма.

Слово «гнусность» будет здесь чересчур мягким. Но мне кажется отныне бессмысленным выражать снова и снова свое негодование. Раз наши правительства настолько прозорливы и реалистичны, что могут обойтись без чести и без культуры, то не будем поддаваться эмоциям, а постараемся сами мыслить реалистически. Поскольку Франко спустя восемь лет после того, как власть диктатур рухнула вместе с руинами Берлина, оказался в ЮНЕСКО благодаря объективной оценке исторической ситуации, будем и мы объективны и попробуем хладнокровно

взвесить те доводы, которые нам предлагаются в оправдание поддержки Франко.

Первый довод опирается на принцип невмешательства. Его можно резюмировать так: внутренние дела государства не касаются никого, кроме этого государства. Иначе говоря, хороший демократ всегда сидит дома. Этот принцип неуязвим. Есть в нем, конечно, и свои недостатки. Приход Гитлера к власти не касался никого, кроме Германии, и первыми узниками концлагерей — будь то евреи или коммунисты — были действительно только жители Германии. Однако уже через восемь лет Бухенвальд стал общеевропейской столицей страдания.

Но принцип есть принцип, сосед в своем доме хозяин. С этим надо смириться и признать, что ваш сосед по лестничной площадке волен бить свою жену и спаивать детей кальвадосом. Однако в нашем обществе есть все-таки некоторые меры воздействия. Если сосед зайдет слишком далеко, у него отберут детей и отдадут их на попечение государственной благотворительности. Для Франко такие ограничения не предусмотрены. Но вернемся опять же к соседу: над домашним животным, к примеру, он может измываться сколько ему угодно. Тут вы бессильны, это ясно.

У вас руки чешутся отделать его, как он того заслуживает, но вы засовываете их в карманы, потому что это вас не касается. Но если ваш пресловутый сосед является коммерсантом, вы вовсе не обязаны пользоваться его услугами. Равно как и не обязаны быть его поставщиком, давать ему в долг деньги или обедать с ним. Словом, вы можете, не вмешиваясь в его дела, перестать с ним знаться. И если в вашем квартале найдется достаточно людей, которые поведут себя так же, это заставит его задуматься, взвесить все за и против, и есть некоторый шанс, что он изменит свои представления о поведении в семье. Кроме того, такой бойкот может дать известное преимущество его жене. Это и будет, несомненно, подлинным невмешательством. Но если вы с ним обедаете и ссужаете его деньгами, то вы даете ему возможность со спокойной совестью продолжать вести себя по-прежнему, и в этом случае вы как раз вмешиваетесь в его дела, только не в пользу обиженных, а в ущерб им. А уж если вы наклеиваете потихоньку этикетку «Витамины» на бутылку кальвадоса, которым он потчует детей, и, главное, на глазах у всех поручаете ему воспитание своих собственных, тогда вы становитесь преступником, причем даже худшим,

чем он сам, — дважды преступником, ибо вы не только поощряете преступление, но и объявляете его добродетелью. Тут можно выдвинуть другой аргумент, который состоит в том, что вы поддерживаете Франко, несмотря на все его недостатки, потому что он противостоит коммунизму. Он подавляет его в своей стране, это во-первых. А во-вторых, он предоставляет стратегические базы для будущей войны. Не будем опять же спрашивать, насколько этот довод благороден, давайте лучше задумаемся, насколько он разумен.

Заметим для начала, что он полностью опровергает довод предыдущий. Нельзя выступать за невмешательство и одновременно стараться помешать победе некой партии, какая бы она ни была, в чужой стране. Но это противоречие никого не смущает. Потому что на самом деле никто, кроме, быть может, Понтия Пилата, никогда всерьез не верил в невмешательство во внешней политике. Будем же серьезны и, предположив на секунду, что мы можем вступить в союз с Франко ради сохранения наших свобод, подумаем, чем это выгодно атлантическим стратегам в их борьбе против стратегов восточных. Европа уже убедилась на опыте, что поддержка любого тоталитарного режима оборачивается через более

или менее короткий срок усилением коммунизма. В странах, где свобода есть политический принцип и основа народной жизни, коммунизм не приживается. И наоборот, для него нет ничего проще — как показывает пример стран Восточной Европы, — чем лечь в колею, проложенную фашизмом. В Испании у коммунизма как раз меньше всего шансов, потому что против него все мощное левое крыло свободолюбивых народных сил и сам испанский национальный характер. На последних свободных выборах 1936 года из 443 мест в Кортесах коммунисты получили всего пятнадцать. Совершенно очевидно, что сделать испанца последовательным марксистом может разве что заговор международной глупости. Но если даже предположить — хотя это совершенно нелепо, — что режим Франко — единственный бастион для защиты от коммунизма, то как с реалистических позиций мы можем оценить политику, которая, стремясь ослабить коммунизм в одном аспекте, усиливает его в десяти других? Ведь ничего не поделаешь с тем, что для миллионов европейцев отношение к ситуации в Испании, так же как к антисемитизму, концентрационным лагерям или фабрикации процессов самообвинения, является тестом на подлинность

демократической линии в политике. Систематическая поддержка Франко не может не быть помехой для веры людей в искренность демократических правительств, когда они объявляют себя поборниками свободы и справедливости. Люди никогда не согласятся защищать свободу бок о бок с ее душителями. Разве политика, которая ставит столько свободных людей в тупик, может именоваться реалистической? Она просто-напросто преступна, потому что, потворствуя преступлению, она подрывает надежды всех тех, кто в Испании и других странах выступает против преступления, кем бы оно ни совершалось.

Что касается чисто стратегической ценности Испании, то не могу о ней судить, ибо в военной науке я вечный новичок. Но я недорого дам за иберийскую платформу в тот день, когда в парламенты Италии и Франции войдут несколько сотен новых депутатов-коммунистов. За попытку остановить коммунизм в Испании недостойными средствами мы заплатим серьезной вероятностью коммунизации всей Европы, и самой Испании в том числе, а если так случится, то с этой стратегической платформы полетят такие аргументы, которые убедят в конце концов мыслителей из Вашингтона. «Значит, будем

воевать», — скажут они. Возможно даже, они победят. Но тут мне вспоминается Гойя и изображенные им изуродованные трупы. Знаете, что он говорил? *Grande hazaña, con muertos*[69].

Таковы жалкие аргументы, которыми хотят оправдать позор, заставивший нас сегодня здесь собраться. Я не хочу делать вид, будто верю, что тут действительно играли роль какие-то культурные соображения. Речь идет просто-напросто о сделке за ширмой культуры. Но даже как сделка она не выгодна. Быть может, она и обогатит горстку торговцев ранними овощами, но в итоге не принесет блага ни одной стране и не послужит общей пользе, а лишь ослабит последние стимулы, еще остающиеся у европейцев для продолжения борьбы. Вот почему для интеллектуала существует только одна возможная позиция по отношению к принятию Франко в ЮНЕСКО. Мало сказать, что мы отказываемся от всякого сотрудничества с организацией, которая соглашается покрывать подобную махинацию. Отныне каждый из нас на своем месте будет открыто и решительно бороться с ней, чтобы как можно скорее для всех стало очевидно, что

[69] Примечания: 69

«Великое мужество! с мертвыми…» *(исп.)* — гравюра Ф. Гойи из цикла «Бедствия войны» (1810–1820).

она вовсе не то, за что себя выдает, и является не собранием преданной культуре интеллигенции, а союзом правительств, служащим любым политическим целям.

Да, с той минуты, как Франко переступил порог ЮНЕСКО, ЮНЕСКО отделилась от мировой культуры, и наш долг — говорить об этом во всеуслышание. Нам возражают, что ЮНЕСКО — полезная организация. Можно было бы многое сказать о пользе чиновничьих организаций для культуры, но одно по крайней мере совершенно ясно: не может быть полезным ничто, увековечивающее ложь, в которой мы живем. Если ЮНЕСКО оказалась не способна отстоять свою независимость, то будет лучше, если она перестанет существовать. В конце концов, общества по делам культуры приходят и уходят, а культура остается. И она наверняка не погибнет оттого, что одна из организаций, состоящая на службе у большой политики, будет разоблачена. Настоящая культура живет правдой и погибает от лжи. И живет она вдали от дворцов и лифтов ЮНЕСКО, вдали от мадридских тюрем, на дорогах изгнания. У нее всегда есть свое общество, единственное, которому я не откажу в признании: общество художников и свободных людей; это

общество, несмотря на жестокость тоталитарных режимов и трусость буржуазных демократий, несмотря на процессы в Праге и казни в Барселоне, чтит всякое отечество, но у него оно одно — свобода, и только этому отечеству оно служит. В это общество мы примем свободную Испанию. Не протаскивая ее через черный ход и не увиливая от обсуждения, а открыто, торжественно, с почтением и любовью, с восхищением перед ее творениями и ее душой, наконец, с благодарностью за высокие уроки, которые эта великая страна нам давала и продолжает давать по сей день.

Хлеб и свобода

1953

Если сосчитать все беззакония и репрессии, о которых мы здесь услышали, то нетрудно представить себе в недалеком будущем такое время, когда в покрытой концлагерями Европе на свободе окажутся одни надзиратели, которым ничего другого не останется, кроме как арестовывать друг друга. Когда же из них уцелеет всего один, его провозгласят Верховным надзирателем и получится идеальное общество, где все проблемы оппозиции — кошмар правительств XX века — будут наконец навсегда разрешены.

Разумеется, это пока лишь некий взгляд в грядущее, и, хотя правительства и полиции всего мира с большим энтузиазмом делают все, чтобы достичь этого счастливого итога, мы все-таки до него еще не дошли. У нас, например, в Западной Европе свобода официально на хорошем счету. Только почему-то она напоминает мне бедных родственниц, которые живут в некоторых буржуазных семьях. Родственница овдовела, потеряла своего законного защитника. Ее приютили, вы-

делили ей комнатушку под крышей и терпят ее на кухне. Иногда, по воскресеньям, хозяева выводят ее погулять по городу, чтобы все видели, какие они порядочные и отзывчивые люди. В остальном же ее дело — помалкивать, особенно в важных случаях. И если какой-нибудь полицейский по рассеянности изнасилует ее в уголке, хозяева не поднимают шума: ей не впервой, ведь и сам хозяин дома не упускает случая, к тому же не стоит портить отношения с законными конституционными властями. В Восточной Европе, надо признать, все делается куда откровеннее. С родственницей там разобрались раз и навсегда, засунув ее в чулан и заперев на два надежных засова. Кажется, ее собираются выпустить примерно через полвека, когда будет окончательно построено идеальное общество. Тогда в ее честь будет устроен праздник. Но боюсь, к тому времени ее может слегка поесть моль, и она уже никуда не будет годна. А если вспомнить вдобавок, что эти две концепции свободы — кухонная и чуланная — вступили в соперничество и вынуждены теперь из-за суматохи еще больше стеснить бедную родственницу в передвижениях, то станет совершенно очевидно, что наша история есть не столько история свободы, сколько история

рабства, и наш мир именно таков, как мы только что описали, — каждое утро это бросается в глаза с газетных страниц, превращая наши недели и месяцы в один нескончаемый день негодования и отвращения.

Самое простое и, следовательно, самое заманчивое — это обвинить во всем плохие правительства или какие-то враждебные силы. Правительства, конечно, и в самом деле виновны, причем так тяжко и так давно, что никто уже не помнит, когда это началось. Но виновны не они одни. В конце концов, если бы только правительствам надлежало следить за ростом свободы, то, скорее всего, она бы до сих пор не вышла из младенчества или, наоборот, покоилась бы в могиле с надписью «Ангел вернулся на небеса». На общество денег и эксплуатации никогда, насколько мне известно, не возлагалась обязанность установить царство свободы и справедливости. Никто не заподозрит полицейские государства в том, что они открывают школы права в застенках, где ведутся допросы. Занимаясь притеснениями и эксплуатацией, они занимаются своим прямым делом, и если доверить им бесконтрольно распоряжаться свободой, то нечего удивляться, что ее незамедлительно обесчестят. И если свобода

сегодня унижена или закована в цепи, то вовсе не потому, что ее коварно предали враги, а потому, что она как раз потеряла своего законного защитника. От правды никуда не денешься: да, свобода овдовела, она потеряла нас с вами.

Свобода — дело угнетенных, и ее традиционными защитниками всегда были выходцы из притесняемого народа. В феодальной Европе ферментами свободы были общины, в 1789 году ее торжества, пусть ненадолго, добились обитатели городов, а начиная с XIX века честь единой борьбы и за свободу, и за справедливость приняли на себя рабочие движения, не усматривая в этих двух понятиях ни малейшей несовместимости. Труженики — интеллектуалы и рабочие — сделали свободу реальностью и дали ей силу идти вперед, пока она не стала самим принципом нашего мышления, воздухом, без которого мы не можем обойтись, которым мы дышим, сами того не замечая, до той минуты, когда, внезапно лишившись его, чувствуем, что умираем. И если сегодня на огромной части нашей планеты она отступила, то не только потому, что институты подавления никогда прежде не были так циничны и так хорошо вооружены, но, главное, потому, что ее подлинные защитники, в силу усталости,

отчаяния или ложного понимания стратегии и пользы, отвернулись от нее. Да, крупнейшее событие XX века — это отречение революционного движения от ценностей свободы и постепенное отступление истинно свободного социализма перед социализмом диктаторским и военным. Одной великой надеждой в мире стало меньше, и для свободных людей началось время одиночества.

Когда, после Маркса, начал распространяться и крепнуть слух, будто свобода — это буржуазная выдумка, одно-единственное слово было не на месте, и за эту ошибку в расстановке слов мы до сих пор расплачиваемся судорогами нашего столетия. Не свобода — буржуазная выдумка, а буржуазная свобода — выдумка, вот что следовало сказать. Следовало сказать, что буржуазная свобода — это вообще не свобода или, в лучшем случае, пока еще не успела ею стать. Но существует настоящая свобода, которую надо завоевать и никогда больше не выпускать из рук. Конечно, нет речи о свободе для человека, целый день прикованного к станку, а вечером теснящегося вместе с семейством в единственной общей комнате. Но вина тут на одном конкретном классе, конкретном обществе и установленном им раб-

стве, но никак не на свободе, без которой даже самый бедный из нас не может обойтись. Ибо даже если бы наше общество вдруг преобразилось и обеспечило каждому сносную спокойную жизнь, но только без свободы, такое общество все равно оставалось бы варварским. И разве оттого, что буржуазное общество говорит о свободе, но не дает ее людям, рабочее общество должно поступать так же, гордясь тем, что оно, по крайней мере, о свободе и не говорит? Однако путаница все-таки произошла, и рабочее движение постепенно отвернулось от свободы, из-за того что буржуазия использовала ее для мистификации. Начав со справедливого и здорового неприятия надругательства над свободой, мы кончили недоверием к свободе как таковой. Ее отложили до скончания времен с просьбой до той поры о ней не упоминать. Было объявлено, что в первую очередь нам нужна справедливость, а свобода — потом, как будто рабы могут рассчитывать когда-нибудь добиться справедливости. Гибкие интеллектуалы возвестили трудящимся, что им нужен лишь хлеб насущный, а вовсе не свобода, как будто трудящиеся не знают, что хлеб и свобода более чем тесно связаны. Конечно, вековая несправедливость буржуазного общества рождает сильное

искушение удариться в такие крайности.

В сущности, наверно, среди нас, здесь присутствующих, не найдется ни одного, кто бы хоть однажды не поддался ему в мыслях или в поступках. Но история ушла вперед, и то, что мы видели, должно заставить нас задуматься. Победившая в семнадцатом году революция трудящихся была зарей подлинной свободы и самой большой надеждой нашего мира, когда-либо выпадавшей на его долю. Но, оказавшись в окружении и подвергаясь опасности как извне, так и изнутри, эта революция вооружилась и обзавелась полицией. К несчастью, она унаследовала принцип, ставивший свободу под подозрение, и в результате постепенно выдохлась, в то время как полиция укрепилась, и величайшая надежда мира, окостенев, превратилась в самую сильную в мире диктатуру. Фальшивая свобода буржуазного общества от этого, однако, нисколько не пострадала. Это не ее убивали на московских и прочих процессах и в концлагерях революции, не ее казнили, когда расстреливали, как в Венгрии, железнодорожника за профессиональную ошибку, — не ее, не буржуазную свободу, а свободу 1917-го. Буржуазная свобода может тем временем спокойно продолжать свои мистификации. Сталинские

процессы и пороки революционного общества развязывают ей руки и дают аргументы.

Таким образом, нашу эпоху отличает своеобразная циничная диалектика, представляющая рабство и несправедливость в качестве противоположностей и укрепляющая одно другим. Когда святилище культуры открывает свои двери для Франко, подлинного победителя Второй мировой войны, соратника Геббельса и Гиммлера, то тем, кто протестует, говоря, что права человека, записанные в хартии ЮНЕСКО, ежедневно попираются в испанских тюрьмах, всерьез возражают, что Польша тоже состоит в ЮНЕСКО и что в плане соблюдения общественных свобод они друг друга стоят. Что за идиотский довод! Если вы имели несчастье выдать старшую дочь замуж за унтер-офицера дисциплинарного батальона, то это еще не повод выдавать младшую за инспектора полиции нравов: хватит одной паршивой овцы в стаде. Однако с этим глупейшим доводом мы сталкиваемся каждый день. Тому, кто, указывая на раба из колоний, взывает к справедливости, указывают в ответ на узника русских концлагерей, и наоборот. И если вы протестуете против убийства в Праге историка-оппозиционера, такого как Каландра, вам швыряют в лицо

пару-тройку американских негров. В этом омерзительном аукционе неизменно только одно: всякий раз в нем попирается или извращается одна и та же ценность — свобода, и когда отдаешь себе в этом отчет, то сразу же замечаешь, что одновременно с нею повсюду оказывается поругана и справедливость.

Как разорвать этот адский замкнутый круг? Только одним способом: как можно скорее восстановить вокруг нас и в самих себе престиж свободы и больше никогда не допускать, чтобы она приносилась в жертву, пусть даже временно, чему бы то ни было или противопоставлялась требованию справедливости.

Сегодня у нашей борьбы может быть один-единственный лозунг — продолжать добиваться справедливости, ни на миг не поступаясь свободой. Хочу напомнить: те немногочисленные демократические свободы, которыми мы еще пользуемся, — отнюдь не пустые иллюзии, не стоящие того, чтобы их защищать. Эти свободы — все, что осталось у нас от великих революционных завоеваний двух последних веков. И они вовсе не являются, как пытаются нас уверить лукавые демагоги, отрицанием подлинной свободы. Не существует идеальной свободы, которую

мы могли бы без усилий получить в один прекрасный день, как пенсию в старости.

Есть свободы, которые надо отвоевывать одну за другой, в трудной борьбе, а те, которыми мы пока еще располагаем, — это этапы, пусть, конечно, не завершающие, но все же этапы на пути конкретного освобождения. Если мы позволим их уничтожить, это не продвинет нас вперед. Наоборот, мы окажемся отброшены назад, нам придется проделывать весь путь заново, и это повторное усилие будет стоить немало пота и крови.

Нет, сегодня выбрать свободу вовсе не значит поменять, как это сделал Кравченко, положение человека, кормившегося при советском режиме, на положение человека, кормящегося при режиме буржуазном. Он-то как раз выбрал рабство, причем дважды, и что постыднее всего — выбрал его для других. Выбрать свободу не значит, как пытаются нам внушить, выбрать ее в ущерб справедливости. Сегодня мы выбираем свободу для тех и вместе с теми, кто повсюду на земле страдает и борется. Мы выбираем свободу и справедливость вместе, и, поверьте, выбрать одно без другого нельзя. Если кто-то лишает вас хлеба, он тем самым лишает вас и свободы. Но если у вас

отнимают свободу, то будьте уверены, что и хлеб ваш тоже под угрозой, потому что он зависит уже не от вас и вашей борьбы, а от прихоти хозяина. Нищета в мире растет по мере того, как отступает свобода, и наоборот. Если наш безжалостный век чему-то и научил нас, то лишь тому, что экономическая революция должна нести и свободу, или она не состоится вовсе, равно как и освобождение должно включать экономическую сторону, или оно будет пустым звуком. Угнетенные хотят освободиться не только от голода, но и от своих хозяев. Они прекрасно знают, что по-настоящему избавятся от голода только тогда, когда хозяева — все до единого — будут вынуждены с ними считаться.

Разделять свободу и справедливость, добавлю в заключение, так же неверно, как разделять культуру и труд, что есть самое настоящее общественное преступление. Растерянность в европейском рабочем движении отчасти объясняется тем, что оно потеряло свое подлинное отечество, в котором черпало силы после всех поражений, — веру в свободу. Точно так же растерянность европейских интеллектуалов происходит оттого, что двойная мистификация — буржуазная и псевдореволюционная — оторва-

ла их от единственного источника, питавшего подлинным смыслом их деятельность, — труда и страдания людей, разлучила с единственными естественными союзниками — трудящимися. Я лично всегда признавал только две аристократии: трудовую и умственную, и мне ясно, что пытаться подчинить одну другой — преступное безумие, ибо они составляют единый класс дворянства. Их правда и, главное, их могущество — в союзе друг с другом: поодиночке их задавят силы тирании и варварства, зато, объединившись, они будут править миром. Поэтому всякое действие, направленное на их разобщение, есть действие, направленное против человека и самых великих его надежд. Первая задача любой диктатуры — подавить разом и трудящихся, и интеллигенцию. Действительно, если не заткнуть им рот одновременно, одни рано или поздно вступятся за других, и тиранам это отлично известно. Таким образом, для современного интеллектуала существуют, на мой взгляд, два вида предательства, и в обоих случаях он оказывается предателем потому, что соглашается участвовать в разобщении труда и культуры. Первый отличает интеллектуалов буржуазных, которые соглашаются на то, чтобы их привилегии оплачивались за счет

порабощения трудящихся. Они сплошь и рядом заявляют, что защищают свободу, но защищают они прежде всего те привилегии, которые свобода дает им одним[70]. Второй типичен для интеллектуалов, которые считают себя левыми, но, с опаской относясь к свободе, соглашаются с тем, что культурой, как и предполагаемой ею свободой, необходимо управлять под бессмысленным предлогом служения будущей справедливости. В обоих случаях, пользуетесь ли вы выгодами несправедливости или отрекаетесь от свободы, вы утверждаете, освящаете разобщение труда физического и умственного, обрекая на бессилие и труд, и культуру, попирая одновременно и свободу, и справедливость!

Свобода, когда она складывается главным образом из привилегий, и в самом деле оскорбительна для тех, кто ее лишен, и воздвигает стену между трудом и культурой. Но в основе настоящей свободы лежат не привилегии, а прежде всего долг. Как только каждый из нас начинает видеть в свободе не столько привилегии, сколько долг, так она сразу же сплачивает труд и культуру и приводит в действие силу, которая одна только и способна

[70] Примечания: 70

Впрочем, они в большинстве случаев и не защищают свободу вовсе, если это связано хоть с каким-то риском. — *Прим. авт.*

эффективно служить справедливости. Принцип нашей борьбы, секрет нашего сопротивления может, таким образом, быть сформулирован просто: все, что унижает труд, унижает интеллект, и наоборот. Революционная борьба, вековое стремление к освобождению могут быть определены прежде всего как непрерывный протест против обоих видов унижения.

Говоря по правде, мы с этим унижением еще не покончили. Но дорога делает поворот, историческая ситуация меняется, и близко, я уверен, то время, когда мы будем уже не одни. Для меня сегодняшнее собрание — добрый знак. Профсоюзы теснятся вокруг своих свобод, дабы их защитить, — это и впрямь заслуживает того, чтобы люди сошлись отовсюду выразить свою солидарность и надежду. Путь впереди длинный. Однако, если все не смешается в отвратительной смуте войны, мы сумеем в конце концов облечь в реальные формы и справедливость, и свободу, столь для нас необходимые. Для этого прежде всего надо решительно отказаться — без гнева, но со всей твердостью — от измышлений, которыми нас так долго закармливали. Нет, голуби мира не садятся на виселицы, нет, силы свободы не объединяют мадридских и прочих палачей с сы-

новьями погибших! В этом, по крайней мере, мы сегодня совершенно уверены, как уверены в том, что свобода — это не подарок, который должно нам преподнести государство или какой-нибудь вождь, а достояние, которое отвоевывается повседневными усилиями каждого из нас и всех вместе.

Лекция в зале «Мютюалите»

[Календарь свободы: 17 июня 1953 года]

1953

16 июня 1953 года в Восточном Берлине после решения правительства увеличить нормы выработки без повышения зарплаты вспыхнуло рабочее восстание. Вскоре оно распространилось на всю страну. 17 июня в крупных городах ГДР десятки тысяч человек объявили забастовку. Для ее подавления генеральный секретарь СЕПГ [71] Вальтер Ульбрихт обратился к руководству СССР с просьбой ввести свои войска. В результате столкновений погибло около пятидесяти человек, многие получили ранения. 30 июня 1953 года в зале «Мютюалите» в Париже прошел митинг в поддержку бастующих, на котором выступил Альбер Камю. Текст его речи был опубликован в пятом выпуске журнала «Темуэн» («Свидетели») весной 1954 года, одновременно с текстом выступления в обществе «Казаль-де-Каталония»

---

[71] Примечания: 71
СЕПГ — Социалистическая единая партия Германии.

19 июля 1951 года по случаю пятнадцатой годовщины Испанской революции. Оба текста были напечатаны под единым заголовком «Календарь свободы».

Не принадлежа ни к одной партии и не имея в настоящий момент желания примыкать к какой бы то ни было из них, полагаю, что будет лучше, если я в нескольких словах объясню, что меня привело на эту трибуну и в чем я вижу смысл сегодняшней встречи. Чтобы верно изложить эти причины, прежде всего следует отметить, что берлинские события вызвали в определенных кругах подлое злорадство, разделить которое мы не можем. После двух лет заключения недавно были казнены супруги Розенберг[72], и вот сегодня мы видим, как стреляют в берлинских рабочих. Эта новость не в состоянии заставить нас забыть о казни Розенбергов, на что надеялась пресса, обычно именуемая буржуазной; она лишь усугубляет наше горе, поскольку мы понимаем, что живем в мире, где систематически, одну за другой, убивают все наши надежды. Когда «Фи-

[72] Примечания: 72

Юлиус и Этель Розенберг были приговорены к смерти за шпионаж в пользу СССР и 19 июня 1953 г. казнены. Судебный процесс по их делу был воспринят как несправедливый и пристрастный и вызвал волну протестов во всем мире. — *Прим. изд.*

гаро» с пафосом рассказывает о революционном народе Берлина, мы могли бы посмеяться, потому что ровно в тот же день «Юманите» гневно бичует тех, кого в соответствии со старой доброй традицией именует «зачинщиками», если бы на наших глазах не разворачивалась трагедия, сопровождаемая двойным обманом, позорящим даже сам наш язык.

Но, даже если я думаю, что берлинские волнения не в силах вытеснить из нашей памяти Розенбергов, еще более ужасным мне представляется то, что люди, называющие себя левыми, пытаются спрятать за тенями Розенбергов расстрелянных немецких рабочих. Но мы видели их своими глазами и продолжаем видеть каждый день, вот почему сегодня мы здесь. Не будь нас, скорее всего никто, включая тех, кто открыто заявляет о своем долге защищать человека труда, сюда не пришел бы. Мы здесь потому, что берлинские рабочие рискуют стать не только жертвами убийства, но и предательства со стороны тех, на чью солидарность они надеялись.

Если мы претендуем на служение делу освобождения тружеников, разве восстание рабочих

в Германии и Чехословакии[73], протестующих против увеличения норм выработки и, как следствие, требующих проведения свободных выборов, тем самым доказывая активистам-интеллектуалам, настаивающим на обратном, что справедливость невозможна без свободы, разве это восстание, преподавшее нам урок, и последовавшие за ним репрессии не заслуживают размышлений? Когда труженик в любой точке мира воздевает кулак навстречу танку с криком о том, что он не раб, кем мы будем, если останемся к этому равнодушными? И что тогда будет означать наша поддержка Ротенбергов, если мы промолчим, зная о судьбе Гёттлинга[74]?

Отказ от их поддержки вызывает у нас не только возмущение, но и отвращение, заставляющее нас сегодня взять слово. В том, что касается меня, мне показалось, что невозможно столь дешевой ценой сохранить спокойную совесть. Разумеется,

---

[73] Примечания: 73

1 июня 1953 г. на заводе «Шкода» в Пльзени началась забастовка, давшая толчок широкому протестному движению в ряде городов Чехословакии. В результате его подавления силами полиции и армии никто не погиб, но более двух тысяч человек были арестованы. — *Прим. изд.*

[74] Примечания: 74

Рабочий из Западного Берлина Вилли Гёттлинг родился в 1918 г., был арестован по обвинению в организации восстания и приговорен военным судом к смертной казни. 18 июня 1953 г. приговор был приведен в исполнение. — *Прим. изд.*

у меня вызывает восхищение и зависть та поразительная легкость, с какой определенная левая пресса и ее сотрудники постарались нейтрализовать — и это точное слово — значение берлинской трагедии. Меня поражает, что с первого дня наши прогрессивные издания так дружно разобрались, что восстание на Аллее Сталина[75] было инспирировано русским правительством. Это изобретательное объяснение немного потускнело, когда в кремлевских бунтовщиков полетели пули. Но ему уже удалось многим заморочить голову. После этого понадобилось лишь несколько типографических ухищрений, чтобы отправить самую важную новость последних лет на третью страницу. Меня также удивляет журналист, автор публикации о берлинских событиях, о которых он узнал в основном от третьих лиц, заявивший, что уход русских из Германии, предоставленной самой себе, повлечет за собой жестокости еще более ужасные, чем те, что мы наблюдали во время нашего освобождения. И правда, как не прийти в восторг от мысли, что единственный урок, который мы должны усвоить по результатам берлинского восстания, заключается в том,

[75] Примечания: 75

Восстание началось с забастовки строителей, работавших на Аллее Сталина в Берлине. — *Прим. изд.*

что вообще-то нам следовало бы оплакивать уход Гитлера. Но мое восхищение сменяется чем-то вроде почтительного благоговения, когда я думаю о журналисте якобы левого издания, который, рассказывая о тех же событиях, не дрогнув, пишет, что у него вызывает воодушевление дисциплина и хладнокровие русских войск.

Наконец, несмотря на все эти восторги, есть по меньшей мере один аргумент, который не представляется мне достаточным: его суть в том, что нам не все известно. Но, о каких бы тоталитарных режимах ни шла речь, мы всегда остаемся недостаточно информированными о том, что там происходит. Значит ли это, что суждение общественного мнения не может распространяться на диктатуру потому, что именно она отказывается информировать общественное мнение? Следует ли помалкивать обо всех бастилиях под тем предлогом, что их узники не имеют прямой особой связи с редакторами наших газет? Тот факт, что интересующие нас события случились в непосредственной близости от западной зоны, вызывает единственное затруднение, и оно состоит в том, что их не удалось полностью замаскировать. Иначе мы ничего не узнали бы об этом восстании или услышали бы о нем так же,

как о волнениях в Чехословакии, — по крупицам, проникающим сквозь стены полицейских участков и тюрем. Но эти события протекали на глазах берлинцев, их снимал голландский фотограф, и мы больше не можем игнорировать то, что произошедшее — что бы там о нем ни говорили обе стороны — было восстанием рабочих против правительства и армии, призванными защищать интересы рабочих. Даже если бы мы не были в этом убеждены, речи правителей Восточного Берлина нам это подтвердили бы. Тех, кто после этого публично заявляет, что у них недостаточно информации, я призвал бы повторить то же себе в одиночестве, в час истины. С учетом того, что области, охваченные восстанием, покрыты мраком неизвестности, и мы ничего не знаем о судьбе тысяч людей, недостойно использовать эти доводы в ущерб жертвам. Если наше незнание и предполагает чью-то вину, то это вина инициаторов репрессий, а не восставших. Пора наконец об этом сказать, и для меня это окончательный приговор, что еще и сегодня убивают рабочих, требующих свободы, но мы никогда не узнаем их имен. Эти жертвы останутся безымянными, но значит ли это, что и мы должны еще раз вычеркнуть их, теперь уже из своей памяти? Мы знаем

одно: это люди труда, вставшие на защиту своих прав; и если нам не известны их имена, может ли это послужить предлогом, чтобы сделать их еще более безымянными, отказать им в праве на собственное лицо, оспорить их звание трудящихся и даже при первой возможности бесчестить их, называя сбродом и фашистами?

Нет, этому делу мы отказываемся служить, и чтобы хотя бы что-нибудь противопоставить этим отвратительным махинациям, мы здесь сегодня и собрались. Если выразить в одной фразе причины нашего присутствия, скажем перед лицом немецких и чешских рабочих, принужденных к молчанию, что мы не желаем, чтобы однажды нам крикнули: «Они их убили, а вы их позорно похоронили!»

Мне мало что остается добавить в завершение. После освобождения каждый из нас много раз стоял перед решающим выбором. Но сегодня, когда произошло самое серьезное после этого освобождения событие, настал, по моему мнению, час окончательного выбора. Мне представляется невозможным, чтобы люди, заявляющие о своей приверженности достоинству и делу освобождения трудящихся, молча согласились с казнью рабочих, единственное преступление

которых состоит в том, что они восстали против невыносимых условий труда. Ни одни, ни другие не помешали разыграться трагедии, это правда. Но репрессии не остановлены, и мы еще можем, ясно выразив свою позицию, хоть в какой-то мере повлиять на дальнейшее. Когда на Востоке проявились первые признаки антисемитизма, спонтанное возмущение на Западе тех, кто был не только сторонником народных правительств, определенным образом показало им, что не допустит распространения этого безобразия. Вот почему я вместе с вами обращаюсь ко всем, кто не забыл, что мы были товарищами, чтобы сказать: если в ближайшие дни мы спасем жизнь хотя бы одного немецкого рабочего, эта жизнь стоит того, что мы здесь собрались; она стоит наших усилий, потому что те, кто лишен голоса, смогут теперь заговорить и помочь нам спасти ее. Не ставьте свои рассуждения и мечты выше беды, которая криком кричит нам последние две недели; не пытайтесь оправдать сегодняшнюю кровь и боль историческим будущим, которое по меньшей мере для тех, кого оно убьет, будет лишено смысла. Поверьте нам в последний раз, когда мы говорим вам, что человеческая мечта, какой бы грандиозной она ни была, не может служить

оправданием убийства тех, кто трудится и кто беден. Никто не просит вас отказываться от того, во что вы верите и к чему стремитесь. Но во имя истины, которой вы, по вашим словам, служите, потребуйте вместе с нами создания комиссии по расследованию с участием всех центральных профсоюзных организаций, чтобы она могла, по крайней мере, сыграть роль посредника в этой драме, поскольку ставка в игре — не идеальное общество как предмет ваших споров и грез относительно неопределенного будущего, а ужасная гибель несчастных людей, вслед за Марксом поверивших в то, что равенство не может и не должно существовать без свободы.

Будущее европейской цивилизации

1955

В апреле 1955 года Альбер Камю отправился в Грецию в рамках франко-греческого обмена, организованного посольством Франции в Греции. Во время трехнедельного пребывания в этой стране 28 апреля он принял участие в дискуссии о будущем европейской цивилизации, состоявшейся в Афинском союзе греко-французской дружбы. Перед визитом, в процессе предварительных переговоров, Камю самостоятельно выбрал тему своего выступления и попросил, чтобы оно протекало не в форме обычной лекции, а в виде вопросов и ответов. Приводимый ниже текст представляет собой машинописную версию его звуковой записи. Он был опубликован в 1956 году Библиотекой Французского института в Афинах. Слова Камю воспроизведены здесь полностью; выступления остальных участников — в сокращенном виде, в квадратных скобках.

[Г-н Папануцос попросил писателя опреде-

лить основные характеристики европейской цивилизации (сам он выделяет их две: с одной стороны, стремление опираться на науку и технику, несмотря на возможные разочарования, и подчинять природу человеческим желаниям, а с другой — заботу о достоинстве человеческой личности), уточнить, какие ее особенности следует сохранить любой ценой, и обозначить, в какой мере им в настоящем угрожают основные исторические факторы.]

— Что ж, должен заметить, что я немало смущен широтой проблемы. Если рассматривать ее как тему нашей сегодняшней дискуссии, то данный подход представляется мне, пожалуй, слишком амбициозным. В частности, я хотел бы прежде всего остановиться на том, что мешает мне с полной определенностью высказываться на эту тему.

В первую очередь, мне трудно рассуждать в перспективе будущего. Я остро и сильно чувствую настоящее и, полагаю, неплохо — прошлое. Напротив, что касается будущего, я думаю, что мне недостает воображения. Мне всегда приходится делать над собой усилие, чтобы представить, что произойдет в будущем с той или иной идеей, с той или иной позицией.

Второе препятствие носит гораздо более общий характер. Мне кажется, что для рассуждений на данную тему, учитывая сумму всевозможных знаний, вовлеченных в судьбу Европы и цивилизации, требуется культура, которой я не обладаю.

При этом я считаю, что вы, господин Папануцос, совершенно справедливо выделяете две отличительные черты, характерные как для цивилизации вообще, так и для нашей цивилизации в частности. Верно, что ответ будет зависеть от точки зрения говорящего. Если признать, что западная цивилизация стремится поставить природу, то есть науку и технику, на службу человеку, то торжествует не только Европа, но и враждебные ей силы, позаимствовавшие у Европы ее технические достижения, ее научный поиск или хотя бы научный метод или метод научного мышления. Из этого следует, что, если Европе что-либо и угрожает, то только всеобщее самоубийство, причем в определенном смысле подготовленное ее собственными усилиями.

Напротив, если допустить, что наша цивилизация концентрирует внимание на понятии человеческой личности, то эта точка зрения, также имеющая право на существование, под-

разумевает, как вы справедливо подчеркиваете, совершенно другой ответ. Я имею в виду, что, по всей вероятности, трудно назвать иную эпоху, в какую число людей, подвергающихся унижению, достигало бы таких величин. Впрочем, я не стал бы утверждать, что наша эпоха демонстрирует особенное презрение к человеческой личности. Одновременно с силами, которые мы для простоты назовем силами зла, на протяжении веков — и в том нет сомнения — все заметнее действовала сила коллективного сознания, в частности осознание важности прав отдельной личности. Просто две мировые войны несколько замедлили этот процесс, и я думаю, будет правильно, если мы ответим, что наша цивилизация находится под угрозой ровно в той мере, в какой человеческая личность, поставленная ею во главу угла, практически повсюду подвергается унижению.

К вашему полезному разделению я хотел бы добавить следующее. Мы могли бы спросить себя (я продолжаю говорить в сослагательном наклонении), не несет ли выдающийся успех западной цивилизации с ее техническими достижениями частичную ответственность за ее столь же серьезный моральный провал. Несет ли абсолютная, в каком-то смысле слепая вера в силу разума (для

простоты скажем: картезианского разума, поскольку именно он лежит в основе современного знания), несет ли эта абсолютная вера в рациональный ум долю ответственности за поэтапное снижение человеческой восприимчивости — воздержусь от перечисления этих этапов, что заняло бы слишком много времени, — которое в результате привело к постепенной деградации пространства личности. Мир техники сам по себе ничуть не плох, и я категорически не согласен с теми, кто предлагает вернуться к прялке и ручному плугу. Но помещение технической мысли, рассматриваемой как важнейший механический фактор цивилизации, в центр вселенной, в конце концов, приводит к своего рода извращению, как интеллектуальному, так и нравственному, и рискует завершиться тем провалом, о каком мы уже говорили. Интересно было бы поразмышлять, как именно это происходит.

Теперь следует ответить на три точных вопроса, которые вы мне задали. Во-первых, из каких элементов состоит европейская цивилизация? Я бы ответил, что не знаю. Но у каждого из нас свой взгляд на вещи, в каком-то смысле эмоциональный (что не мешает ему оставаться рациональным и опираться на наблюдения),

вынуждающий склоняться к одному из этих элементов. Что до меня (и здесь я в кои-то веки дам четкий ответ), то я считаю, что европейская цивилизация — это прежде всего плюралистическая цивилизация. То есть она представляет собой пространство разнообразия мнений, оппозиций, контрастирующих ценностей и бесконечной диалектики. Живая диалектика Европы — это диалектика, не приводящая к какой-либо тоталитарной и одновременно ортодоксальной идеологии. Полагаю, что плюрализм, всегда лежавший в основе понятия европейской свободы, представляет собой важнейший вклад нашей цивилизации. Именно он сегодня находится под угрозой и нуждается в защите.

Кажется, Вольтер однажды сказал: «Я не согласен с вами, но готов отдать жизнь за ваше право высказывать свои мысли»[76]. И это с полной очевидностью величайшее изречение европейского мыслителя.

Не подлежит сомнению, что сегодня в сфере интеллектуальной свободы (как и в других областях) опасности и нападкам подвергается именно этот принцип, на мой взгляд, нуждающийся в

[76] Примечания: 76

Достоверность цитаты, приписываемой Вольтеру, не подтверждается. — *Прим. изд.*

защите. Что же касается вопроса о том, спасем ли мы его и будет ли будущее, как говорится, принадлежать нам, то на вопросы подобного рода я отвечаю так же, как на другие, которые в схожих обстоятельствах задаю себе сам. Мне кажется, что в определенных условиях человек может ответить: «По-моему, это верно или, вероятно, верно. Поэтому это должно жить. У меня нет уверенности, что я смогу обеспечить этому жизнь, как нет уверенности в том, что эту вещь, которую я считаю главной, не ждет гибель. В любом случае единственное, что я могу сделать, это бороться за то, чтобы она жила».

[Г-н Папануцос задался вопросом о том, возможно ли гармоничное сосуществование между развитием науки и техники (кибернетики, машинной цивилизации) и правами человеческой личности.]

— Я бы сказал, что хотя бы по этому пункту не являюсь пессимистом. Надо быть терпеливыми. Европейская история все-таки знает два характерных феномена. Первый состоит в том, что в период примерно с 1800 по 1950 год мир изменился намного больше, чем за долгие столетия, например, отделяющие средневековые общины

от нашего века классицизма.

На протяжении одного столетия в истории произошел резкий рывок, придавший ей такое ускорение, что человеку, как мне кажется, было трудно с помощью одного интеллекта, предполагающего размышление, следовательно, требующего времени, угнаться за неудержимым прогрессом машин. Второй феномен, тонко подмеченный Ортега-и-Гассетом в «Восстании масс», заключается в одной цифре. С VI по XVIII век население Европы никогда не превышало 180 миллионов человек. С 1800 по 1914 год, то есть чуть больше чем за столетие, оно увеличилось со 180 миллионов жителей до 460 миллионов. Эта цифра отражает приход на историческую сцену больших масс людей. В сочетании с ускорением истории (разумеется, оба эти фактора находятся во взаимодействии) их появление создало ситуацию, далеко выходящую за рамки интеллектуальных и рациональных сил, ее породивших. Сегодня перед нами, в первую очередь, стоит проблема адаптации нашего интеллекта к новой реальности, возникающей в мире. Питающие нас идеологии опоздали на сто лет. Вот почему они так плохо мирятся с инновациями. Нет ничего более убежденного в своей правоте,

чем пришедшая в негодность идеология.

[Второй выступающий, г-н Цацос, полагает, что в европейской культуре наблюдается два противонаправленных течения: классическое и романтическое. Первое имеет рациональный характер, заостряет внимание на существовании границ и противопоставляет себя безграничности; оно настаивает на чувстве меры, относительности в трактовке истории и отвергает идеи абсолюта, чрезвычайности и мессианства. Оно привязано к настоящему, к имманентности, к живому индивидууму, который представляет для него большую ценность. Романтическое течение утверждает все то, что отвергает классическая тенденция: иррациональность, интуицию; тоталитарные идеологии, на первый взгляд так хорошо организованные, на самом деле жертвуют настоящим в пользу будущего; мессианство потустороннего мира они заменяют культом будущего. Должен ли эллинизм как составная часть классического гуманистического течения внести основной вклад в социальное и культурное обновление Европы?]

— Что ж, я снова немного робею перед вопросом. В то же время нахожу проводимое вами

различие между романтизмом и классицизмом настолько соблазнительным, что готов распространить его на всю историю цивилизаций. В этом случае надежда получила бы рациональную основу. Если все цивилизации были вынуждены следовать диктату этих двух тенденций, свойственных человеческой природе, а история продлилась до наших дней, то ничто не мешает нам думать, что и мы сумеем сделать несколько шагов вперед. Но я хотел бы уточнить свою мысль. Вы правы в своем утверждении о том, что этот мир предлагает нам только негативные подходы, однако я думаю, что было бы ошибкой считать понятие меры — одно из немногих, над которыми я много размышлял, — негативным понятием. Вы и сами знаете, что оно таковым не является, и не мне вас этому учить. Но почему оно не является негативным?

Если сегодня на каком-нибудь парижском коллоквиуме вы упомянете понятие меры, к потолку взметнутся тысячи рук романтиков. Для наших интеллектуалов мера есть не что иное, как дьявольская буржуазная умеренность. Однако это полное заблуждение. Мера — это не отказ от противоречия, но и не разрешение его. В эллинизме, если меня не подводят мои позна-

ния, мера всегда представляла собой признание противоречивости и решимость, несмотря ни на что, придерживаться этой самой меры. Формулировка подобного рода — не просто пример рационального, гуманистического или удобного мышления. На самом деле, она предполагает героизм. В любом случае она имеет все шансы дать нам не готовое решение, чего мы от нее не ждем, а метод, позволяющий подойти к изучению стоящих перед нами проблем и двигаться вперед к сносному будущему.

Попробуем применить, если угодно, этот метод к современной Европе. Существует буржуазная, индивидуалистическая Европа, озабоченная своими холодильниками и гастрономическими ресторанами и заявляющая: «Я не хожу на выборы». Это действительно буржуазная Европа. Она не хочет жить. Она, несомненно, говорит, что хочет жить, но ставит жизнь на столь низкий уровень, что не имеет ни единого шанса продлить себя в истории. Она прозябает, а ни одно общество не в состоянии долго прозябать. Но я не вижу в ней ничего, что служило бы выражением классической меры. Замечаю только нигилистический индивидуализм, который заявляет: «Мы не хотим ни романтизма, ни какой-либо

чрезмерности; мы не желаем жить на границе и сталкиваться со страданием». Но если вы не желаете жить на границе и сталкиваться со страданиями, то вообще не будете жить, и ваше общество не будет живым.

Великий урок — и я говорю это потому, что категорически не согласен с идеологией народных демократий, — который преподает нам Восток, заключается в осмысленности участия в общем деле, и у нас нет причин отворачиваться от данного примера.

С этой точки зрения, я ничуть не склонен оправдывать буржуазную Европу. Напротив, я охотно присоединяюсь к позиции, выразители которой утверждают: «Мы знаем, что такое чрезвычайность; мы ее пережили и снова переживем, когда это будет необходимо, и можем сказать, что пережили ее потому, что столкнулись с событиями, позволившими нам ее узнать». Действительно, имела место французская национальная солидарность, как и греческая национальная солидарность, основанная на страдании. Мы видим эту солидарность повсюду, и не только под видом страдания. Если бы мы достаточно осмыслили этот опыт, уверен, то лучше поняли бы, что понятие меры включает в себя примирение противо-

речий, в том числе в общественно-политической сфере, примирение прав и обязанностей индивидуума. Действительно, позиция буржуазной Европы сводится исключительно к требованию соблюдения прав человека. Права человека суть ценности, которые мы должны защищать, но только не в том случае, если они подразумевают отрицание обязанностей, и наоборот. Мы не можем согласиться с превозносимой на Востоке концепцией обязанностей человека, если она означает отрицание всего, что составляет право человека быть собой.

Мне кажется, что в этом смысле мы могли бы дать определение социальных форм, при которых будет достигнуто это неустойчивое равновесие, разумеется, помня, что оно не может быть комфортным состоянием. Сегодня, когда о ком-то говорят, что он «уравновешенный человек», в этом слышится доля презрения. На самом деле, уравновешенность требует усилий и постоянной смелости.

Общество, обладающее такой смелостью, и станет настоящим обществом будущего. Впрочем, на мой взгляд, сейчас оно как раз формируется в разных частях света, и в этом отношении я опять-таки не испытываю пессимизма. Надежда

существует. Она исходит от эллинизма, который первым дал ей определение и на протяжении веков предоставил ее наиболее волнующие примеры. Сегодня мы можем надеяться, что из этого семени появятся всходы и помогут нам найти решение наших проблем.

[Третий выступающий, г-н Теотокас, отметил, что противопоставление романтизма миру науки и техники устарело, а перед современностью стоит проблема гармонизации этих новых сил и человеческой природы. Современная Европа обречена в силу собственной структуры: она разделена на множество государств и не способна взять под контроль динамичное развитие науки и техники. Сможет ли Европа добиться подобной гармонизации без политического объединения?]

— Прежде всего я хочу выразить полное согласие с вами по существу вопроса. Но затем я сделаю небольшую оговорку. Как и вы, я думаю, что в настоящее время Европа затянута в два десятка жестких корсетов, в которых ей нечем дышать. Сейчас, когда от Афин до Парижа можно добраться за шесть часов, а от Рима до Парижа — за три часа, а границы существуют только для таможенников и пассажиров, подчиняющихся принятым

юридическим нормам, мы продолжаем жить в феодальном государстве. Европа, из лоскутов смастерившая идеологии, доминирующие сегодня в мире, видит, как, воспринятые большими по размеру и более индустриально развитыми странами, они оборачиваются против нее же. Европа, сумевшая разработать эти идеологии, способна так же породить понятия, которые позволят ей обуздать или уравновесить эти идеологии. Она попросту нуждается в глотке кислорода; ей необходимы ощущение комфорта и идеи, которые в отличие от всех наших нынешних не будут носить отпечатка провинциальности.

Парижские идеи — это провинциальные идеи; афинские идеи — тоже провинциальные, в том смысле, что нам неимоверно трудно поддерживать достаточно контактов, получать достаточно знаний и обмениваться мыслями для взаимного оплодотворения общих ценностей, обреченных на изоляцию в каждой отдельной стране. Что же, этот идеал, к какому мы стремимся, который должны защищать, ради него должны делать все, что в наших силах, боюсь, мы не скоро достигнем. Вы только что произнесли роковое слово, и это слово — «суверенитет». Слово «суверенитет» уже давно вставляет палки в колеса международной

истории, и оно продолжит заниматься тем же. Раны недавней войны еще слишком свежи и болезненны, чтобы мы надеялись, что национальные общности смогут совершить усилие, на которое способны лишь высшие индивидуумы и которое состоит в подавлении собственного ресентимента. Таким образом, психологически мы сталкиваемся с препятствиями, затрудняющими осуществление этого замысла. Вместе с тем я согласен с вами в том, что мы должны бороться за то, чтобы преодолеть эти препятствия и наконец создать ту Европу, где Париж, Афины, Рим и Берлин станут нервными центрами своего рода Срединной империи, а она, если позволите, так или иначе сумеет сыграть роль в завтрашней истории.

Теперь сделаю оговорку. Вы сказали, что к проблеме будущего Европы невозможно интеллектуально подступиться, о ней сложно размышлять, пока у нас нет структуры, на которую мы могли бы опереться. Моя оговорка заключается в следующем: мы все-таки должны подступиться к решению данной проблемы, наполнить содержанием европейские ценности, даже если создание такой Европы состоится не завтра.

Вы привели поразивший меня пример. Вы ска-

зали: «В сущности, Германия, пока она не была объединена, не являлась мировой державой». Это совершенно верно. Что не мешает нам отметить, что значительная часть современных идеологий уходит корнями в немецкую идеологию XIX века и труды всех немецких философов, в частности самого выдающегося из них, стоявших у истоков этой новой формы мировоззрения, предшествовали немецкому объединению (разумеется, если мы согласимся, что объединение Германии завершилось в 1971 году). Следовательно, даже в состоянии одиночества и бедности, похожего на то, в каком находимся мы, остается возможность оказывать влияние на цивилизацию. В любом случае роль интеллектуалов и писателей в каком-то смысле заключается в том, чтобы не ослаблять своих усилий в этом направлении, продолжая толкать колесо истории, пока они могут и успевают это делать, чтобы в определенный момент необходимые ценности появились не в готовом виде, а как полезные ферменты.

[Г-н Веглерис напомнил, что для европейской культуры выжны два главных элемента: принцип свободы и принцип социальной справедливости; второй призван скорректировать разрушительное начало, которое может содер-

жаться в первом. Он задался вопросом, способна ли Европа совместить оба эти принципа.]

— Сильно упрощая и огрубляя ситуацию, можно было бы сказать, что сегодня Запад ставит свободу выше справедливости, а Восток — справедливость выше свободы. Мы не будем углубляться в вопрос, есть ли на Западе свобода, а на Востоке справедливость, и ограничимся констатацией позиций обеих сторон. Не исключено, что свобода, размахивающая одной атомной бомбой, и справедливость, угрожающая другой, взаимно уничтожаются на границе, какую нетрудно провести. В этом случае мне не хватит воображения, чтобы представить третью мировую войну, которая будет атомной. Что до меня, то я считаю виновниками глав государств, внушающих своим народам, что после такой войны возможно какое-то будущее. Тем не менее, если этой атомной войны, этого самоубийства, не произойдет, мы по-прежнему будем наблюдать, как две статуи — статуя свободы и статуя справедливости — стоят друг против друга и морщат носы. Я думаю, что сегодня соотношение сил примерно равно; преимущество в численности населения со стороны Востока компенсируется более продвинутыми техническими достижениями Запада. Полагаю,

что сама история, которой так доверяют многие люди, неизбежно оправдает это доверие и понятие меры и противоречия сыграет в этой точке свою роль. Оно вписано в человеческую природу и в природу истории. Например, мы придем к концепции, которую разделяет определенное число европейских интеллектуалов, а именно признаем, что свобода и справедливость имеют свои ограничения. Граница свободы проходит по линии справедливости, иначе говоря, она заканчивается там, где начинается существование другого человека. Граница справедливости проходит по линии свободы, иначе говоря, она заканчивается там, где начинается право человека оставаться внутри коллективной общности собой.

[Далее ряд выступающих задали свои вопросы.]

– Европейская цивилизация не едина, но многолика. Может быть, имеет смысл рассуждать не столько о слиянии в некую единую сущность, сколько о гармоничном сотрудничестве?

— Полагаю, что сумею ответить на данный вопрос коротко. Гармония — это превосходная вещь. К сожалению, она не всегда достижима.

Мы, например, можем сказать, что брак — превосходный институт, но при условии, что на него согласны оба супруга. Однако случается, что это не так, и бывает, что в некоторых случаях, не скажу, что частых, брак оборачивается катастрофой. Но если мы будем рассчитывать только на добрую волю европейских народов — а мы должны на нее рассчитывать, потому что очевидно, что без этого мы не продвинемся вперед, — то одной этой воли нам не хватит. Нам нужны институты. Ваше возражение против этих институтов, которые естественным образом станут общими, заключается в том, что этому могут помешать различия в обычаях и образе жизни разных европейских народов. В ответ я приведу вам пример Франции. Житель Марселя ближе к неаполитанцу, чем к жителю Бреста. Житель Перпиньяна совсем не похож на жителя Рубе. Тем не менее сегодня Франция едина, а Перпиньян и Рубе вместе избирают себе правительство, не важно, хорошее или плохое.

– Каков вклад в европейскую культуру Жана Жене, книги «Мандарины»[77] *и книги «История*

[77] Примечания: 77

Роман Симоны де Бовуар, опубликованный в 1954 г. и тогда же удостоенный Гонкуровской премии. — *Прим. изд.*

О»[78]?

— Вы имеете в виду вклад в будущее Европы или во французскую литературу?

– Вклад в европейскую цивилизацию.

— Откровенно говоря, я думаю, что он нулевой.

– Что такое европейское разнообразие — помеха или надежда на спасение?

— Надежда на спасение — по той причине, что в истории любая империя, перешагнув за известные пределы, непременно рушилась. Если бы Александр остался в границах Македонии, вероятно, еще и сегодня существовала бы Греция, являющаяся прямой наследницей Александра. У разнообразия есть, конечно, свои минусы. Это, во-первых, недостаток свободы, а также честности и объективности. Несмотря на это, именно благодаря объективности и свободе мир в той области, которая нас интересует, движется по пути прогресса, и мы должны мириться с этими недостатками. Откровенно говоря, я думаю, что

[78] Примечания: 78

Роман Доминик Ори, опубликованный в 1954 г. под псевдонимом Полин Реаж, один из классических образцов эротической литературы XX в. — *Прим. изд.*

недостатки империй и больших континентов для их будущего расцвета по меньшей мере так же значительны, как недостатки разнообразия для Европы. Мне, например, кажется, что научный поиск, сегодня лежащий в основе материального могущества, в долгой перспективе может стать убедительным, эффективным и плодотворным, только если станет развиваться в атмосфере свободы.

– Разве европейская цивилизация не должна защищаться от угроз, которые исходят одновременно и с Востока, и с Запада?

— Вы спросили то, что называется вопросом-ловушкой. Хорошо. Вначале я дам вам уклончивый ответ, а потом — прямой. Итак, в первом случае я замечу, что для меня главный враг европейской цивилизации — это она сама. Если европейская цивилизация находится в опасности, то, наверное, потому, что извне на нее оказывают давление империи и другие цивилизации, но потому, что она не обладает крепким здоровьем и достаточной силой, чтобы суметь ответить на этот вызов истории. По зрелом размышлении, я, пожалуй, не так уж уклончив.

Но я отвечу вам еще более прямо. Я не принадлежу к числу людей, которые думают, что угроза,

исходящая от Востока, и угроза, исходящая от Запада, равновелики. Полагаю, что угроза, исходящая от Востока, учитывая, что она носит военный характер и связана с опасностью наступления тоталитаризма, серьезнее, чем та, которую могут представлять для нашей цивилизации с трудом воспринимаемые нами формы американской культуры. Пока речь идет о мирном столкновении между формами американской и нашей цивилизации, тогда как в случае противостояния Востока и Запада мы имеем воинственную, или почти воинственную, конфронтацию. Вот что я вкратце об этом думаю. Разумеется, я выступаю здесь исключительно от своего лица. Тем не менее я уверен, что вы задаете мне этот вопрос не для того, чтобы выяснить мою точку зрения, которую я только что изложил, а для того, чтобы услышать, что я думаю о потенциальной опасности для нас американской культуры. Попробую ответить, каково мое личное мнение по данному вопросу.

Я мало знаю Америку и провел в этой стране всего три месяца[79]. При этом я неплохо знаком с ее литературой и историей. Америка представля-

[79] Примечания: 79

См. выше «Кризис человека», с. 24, и «Правда ли, что мы пессимисты?», с. 49.

ется мне примером осуществления французских надежд XVIII века. Сейчас я уточню, что имею в виду, и остановлюсь на тех, кого мы называем энциклопедистами, и кто первым в Европе дал определение философии счастья. Они мечтали о разумном счастье, основанном на гармоничном устройстве мира и делали акцент на том, что природа и мир могут сделать человека счастливым. Это, в принципе, философы счастья. Несомненно, в Америке, и я обнаружил это сразу, едва прибыл сюда, и нашел весьма привлекательным, у людей сильна воля к счастью. Порой она проявляется в негативных признаках, иногда — в позитивных. Так, чисто негативным мне представляется их нежелание всерьез воспринимать философию пессимизма, рассуждать о несчастье и выпячивать его. Например, в Америке быстро хоронят покойников. Их действительно хоронят очень быстро, тогда как в средиземноморской цивилизации, как вам хорошо известно, принято продлевать прощание с умершим и не спешить расставаться с ушедшим из жизни любимым человеком. Этот небольшой пример, хотя он и не служит основой для широких обобщений, однако иллюстрирует, на мой взгляд, определенное отрицание несчастья и утверждение желания

так организовать жизнь, чтобы она была легче и светлее. В этом смысле, скажем прямо, путями, какие нетрудно проследить, философия XVIII века, несомненно, обрела свое весьма удивительное воплощение.

В то же время я думаю, что по причинам, которые я мог бы назвать, но не стану этого делать, чтобы не занимать ваше время, американскому характеру не хватает того, что в философии счастья наших энциклопедистов играло роль тормоза и регулятора. Мы называем это словом, которому трудно дать определение, — словом «вкус». Я имею в виду отвращение перед стремлением заходить слишком далеко (например, Бенжамен Констан, атеист, позднее немного брезгливо говорил, что «в безбожии есть нечто вульгарное и избитое», потому что, по его мнению, воинственное безбожие отличается категоричностью и не признает нюансов). Об американской культуре приходится слышать, особенно в Европе, много глупостей и несправедливых суждений. Эта культура дает нам первоклассных интеллектуалов, литературу и науку. Если сегодня в Европе снижается число больных туберкулезом, чья в этом заслуга? Впрочем, не будем об этом. У вас, в практическом применении этой философии

счастья есть чрезмерность, проявляющаяся в американском темпераменте, своего рода воля к тотальному завоеванию, которая, в конце концов, естественным образом переходит всякие границы и стирает нюансы. Это затрудняет адаптацию вашей повседневной жизни к жизни среднего европейца; и я в данном случае объективен, потому что сам не европеец, а уроженец Северной Африки, и американский ритм жизни показался мне вполне комфортным. Тем не менее европейца он сбивает с толку. Точно так же систематический отказ от обобщений, страсть к конкретике, эмпирике, факту, то есть тому, что можно немедленно услышать и понять, — все это оттолкнуло американскую мысль от желания обобщать. Кстати, в этом проявляется прямое влияние французских и английских эмпириков XVIII века. Это презрение к обобщению обрекло ее — и в этом утверждении я гораздо более категоричен, чем во всем, о чем говорил ранее, — на полное непонимание европейской драмы.

Определенное число американских ляпсусов — иначе это назвать нельзя — в том, что касается европейских проблем, объясняется отказом рассматривать причины европейской трагедии, носящие идеологический и метафизический ха-

рактер. Но я добавлю, что Америка — это страна молодого народа, и ее лидерство, начавшее проявляться примерно с 1945 года, — это недавнее лидерство. У нее еще есть время набраться опыта. Возможная опасность, исходящая от Америки, заключается в тенденции подталкивать нас к восприятию фактов жизни такими, какие они есть; в отношении мало подготовленных людей (особенно сильно здесь влияние кино) это чревато риском свести чувствительные темы на уровень, который представляется для этих тем нежелательным. Вот что я об этом думаю.

– Как объяснить, что французская философия сильно зависима от немецкой философии?

— Вы и сами в силу своих профессиональных знаний понимаете, насколько в истории философии труден вопрос влияний. Поэтому просто скажу вам: я тоже задавал себе этот вопрос, поскольку избежал заражения и был в какой-то степени удивлен, обнаружив такое количество причин глубокого расхождения с интеллектуальными кругами общества, в котором я живу. Вот ответ, какой я дал себе. Я просто думаю, что Германия открыла экзистенциальное несчастье раньше, чем Франция. Не потому, что у нее более драматичная история, а просто она позднее и

с большим трудом появилась на свет как единая нация. Возможно, также из-за черт своего характера, о которых упоминал Стендаль. Он действительно говорил о том, что немцы склонны все всегда усложнять. Во всяком случае, немецкие философы с XIX века размышляли о несчастье существования. Вы хорошо знаете нашу философию того же времени. Она держалась вдали от истинных проблем нашей цивилизации. Эти проблемы возникали в Германии, а также в России, хотя и в другой форме, но не во Франции. Наша философия XIX века представляла собой идеологию всем довольного класса, погруженного в собственное довольство, оторванного от истории и не желающего с ней соприкасаться. Но затем случились две войны: одна, начавшаяся ужасно и потом выигранная ценой огромных жертв, и вторая, в которой все было потеряно и все спасено. Французы столкнулись с историческим несчастьем. Если в тот момент они обратились к своим философам, то что они у них нашли? Ничего, что могло бы рассказать им о горе, какое на них обрушилось. Тогда они обратились к философам, которые рассказали им о несчастной истории, о несчастном сознании, о трудности жить, о бытии, ведущем к смерти, — обо всем,

что вам хорошо известно. Вполне очевидно, что в этом побуждении было, на мой взгляд, слишком много страсти и исключительности, но тем не менее это не значит, что его нельзя объяснить. Дополнительное объяснение по интересующему вас вопросу можно найти в том факте, что большинство сегодняшних французских мыслителей придерживается левых, то есть частично марксистских взглядов. Но ведь Маркс — прямой наследник немецкой идеологии. Под влиянием своих убеждений они повернулись к истокам. Отсюда — новый интерес к изучению Гегеля, самого Маркса и общий всплеск внимания к немецкой экзистенциалистской философии. Впрочем, мне кажется, что наблюдаются признаки эволюции. Утверждают, что готовится крупный разговор. М. Мерло-Понти[80], один из представителей волнующего нас направления, недавно опубликовал книгу «Приключения диалектики», которая, судя по всему, знаменует разрыв с этой тенденцией и, следовательно, начало разворота французской идеологии, если мне позволено употребить это ужасное слово.

---

[80] Примечания: 80

Об отношениях Камю и Мерло-Понти см. выше, «Выступление на круглом столе «Цивилизации», с. 57, прим. 1.

– Но разве слабость Европы и ее нигилизм не связаны с тем фактом, что она утратила веру, тогда как в странах Востока вера по-прежнему жива?

— Ну, знаете, я ведь еще и писатель. Меня немного огорчает, что я вынужден постоянно отвечать на вопросы, выходящие за рамки своей компетенции. В области литературы я обладаю определенной компетенцией и мог бы говорить и выражать свое мнение с большей свободой, тогда как сейчас чувствую себя скованным. Итак, у Востока есть вера. Действительно есть? Вы точно это знаете? У нас нет веры? Кто это сказал? Я знаю много верующих людей, но у нас нет веры, потому что это не записано в текстах; в наших Конституциях она не упоминается. Однако в 1945 году, когда народы Европы находились под немецким господством, они доказали, что у них есть вера, и это было не так уж давно. Мне по-прежнему приходится рассуждать об этих проблемах, немного… ну, откровенно говоря, они не кажутся мне по-настоящему глубокими. Разумеется, мы можем и должны их обсуждать, но я не думаю, что нигилизм присутствует только на одной стороне. Я всегда отстаивал данную позицию. Я не считаю, что в мире существует лишь один капитализм; на

мой взгляд, он может принимать разные формы: есть частный капитализм и есть государственный капитализм. Нельзя сказать, что на одной стороне наблюдается отсутствие веры, которая произрастает исключительно на другой стороне. В конце концов, существует христианская вера, и на Западе есть христианское движение. Почему бы сегодня христианской вере не выступить созидательницей институциональных форм? Она уже делала подобные попытки и продолжает их делать; возможно, она достигнет в этом успеха? Что мы об этом знаем?

Я уверен, что подлинная проблема не в этом. Она заключается в том, хотим ли мы выжить как цивилизация, и это наше желание не всегда рационально. Если я говорю, что хочу продолжать жить, то не потому, что отлично знаю, кто я такой, а потому, что испытываю чрезвычайно живое и острое чувство собственного бытия и желаю длить свое бытие. Следовательно, первичен не разум, а инстинкт жизни. Так вот, если современная западная молодежь лишена этого инстинкта, то ей необходимо его обрести, и в том-то и состоит проблема. И я думаю, что она обретет его не благодаря людям, которые подробно объяснят ей, во что ей нужно верить и что делать. Они

обретут его, доверяясь себе. То есть собственному жизненному опыту и своим размышлениям.

— Разве развитие науки не ставит под удар сам научный и картезианский рационализм (в физике и химии невозможно дать рациональное объяснение самым элементарным свойствам)? Не угрожает ли это развитие европейской цивилизации?

— Я думаю, что открытие иррациональных понятий в современной науке свидетельствует о ее прогрессе. Это прогресс, потому что, если бы современная наука доказала правоту полного детерминизма, что нашло бы соответствие в цивилизационных формах, это означало бы непосредственное наступление тоталитаризма; это нетрудно доказать, жаль только, что у нас мало времени. Что касается картезианского рационализма, то о нем я только что упомянул в качестве намека. Он — часть нашей цивилизации. Но в результате его интерпретаций и сформированного на его основе понятия индивидуума картезианский рационализм стал причиной определенного упадка западного общества. Еще раз хочу уточнить, что речь не о самом Декарте. Философы остаются выдающимися умами и

великими людьми. Однако мы берем у них не лучшее, а всякий мусор. Во всяком случае, одна из слабостей западной цивилизации — это учреждение индивидуума, отделенного от общины, рассматриваемого как отдельная целостность.

Резюмируя все, о чем я не очень внятно только что сказал, добавлю: мне кажется, что сегодня западное общество гибнет от чрезмерного индивидуализма, тогда как восточное общество по причине чрезмерного коллективизма еще даже не родилось. В той мере, в какой наш индивидуализм вернется к более четкому пониманию обязанностей перед обществом, а восточный коллективизм в то же самое время увидит первые ростки индивидуальной свободы, мы добьемся прогресса. Именно в этом смысле меня нисколько не беспокоит, если труды кого-нибудь вроде Гейзенберга[81] обернутся угрозой для определенного — статичного и чисто рационального — понимания человека, какое сложилось на Западе.

– Если художник должен требовать свободы, чтобы говорить от имени тех, кто лишен этой возможности, разве он не ограничивает эту

[81] Примечания: 81

Вернер Карл Гейзенберг (1901–1976) — немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики; сформулировал соотношение неопределенностей.

свободу, когда вынужденно выбирает, от чьего имени будет говорить, исключая всех других?

— Да, это ограниченная свобода. Свобода без границ — противоположность свободы. Только тираны могут пользоваться безграничной свободой. Гитлер, например, был относительно свободным человеком, впрочем, единственным в своей империи. Но если человек хочет пользоваться настоящей свободой, это невозможно, если он будет ею пользоваться исключительно в своих интересах. Свобода — и это старая история — всегда имеет ограничение в виде свободы других. К этому общему месту я добавил бы следующее: свобода существует и имеет смысл только в той мере, в какой она ограничена чужой свободой. Свобода, дающая только права, — это не свобода, а всемогущество и тирания. Наполнена содержанием и жизнью та свобода, что предполагает права и обязанности. Безграничная свобода нежизнеспособна, а если и жизнеспособна, то в пределе за счет чужой гибели. Ограниченная свобода — это единственное, что наполняет жизнью того, кто ее предоставляет, и того, кому ее предоставляют.

– Не возвращает ли нас концепция художника

как глашатая страдающего народа к временам церковных проповедников или к мифу? Является ли она единственным противоядием против буржуазной индивидуалистической литературы?

— Я понимаю вопрос: он состоит в том, какой смысл мы вкладываем в понятие истины, не так ли? Но дело в том, что мы не можем вернуться к эпохе церковных проповедников, как и во времена греческих храмов. Мы рассуждаем об эллинизме, но, думаю, ни один из нас не хотел бы, нарядившись в короткую тунику, прогуляться по агоре. Итак, возврат к церковной кафедре невозможен. Возврат к мифу — это другая проблема, более содержательная, потому что многие великие произведения современности, например «Моби Дик» Мелвилла[82], наполнили всем понятный миф глубокими и тонкими истинами. В американских школах книгу «Моби Дик» вручают ученикам в качестве награды; между тем этот роман представляет собой одно из самых глубоких и волнующих художественных исследований проблемы зла. То есть не подлежит сомнению,

[82] Примечания: 82

Альбер Камю искренне восхищался этим американским автором, которого называл одним из «величайших гениев Запада» (см. «Герман Мелвилл»; опубликовано в сборнике «Знаменитые писатели» в 1952 г.). — *Прим. изд.*

что миф продолжает оставаться одной из возможных форм литературного и художественного возрождения. Однако путь к этому художественному возрождению, к искусству, понятному всем, не пролегает через тот или иной жанр. Вероятно, нас ожидает возрождение трагедии, или яркий расцвет романа, или, напротив, оживление жанра эпоса — не знаю. Но для этого возрождения гораздо важнее внутреннее отношение художника. Оно может быть только искренним. Вы лучше поймете, что я имею в виду под искренностью, если скажу, что быть искренним художник может только в одиночестве. Художники, добровольно изолирующие себя от общества, вынуждены жертвовать частью своей искренности по той причине, что искренность — это не состояние чистоты, не раскаленное добела железо, а способ показать себя другому — читателю или зрителю, если речь идет об изобразительном искусстве или театральной постановке. Это самый простой и достоверный способ представить себя другому. Вроде это очень легко, но очевидно, что это и есть вершина искусства, не достижимая ни для кого из нас. Сегодня мы все, европейские художники, настолько связаны, на нас так давят разные помехи, рассуждения, бремя истории, ускоре-

ние жизни, потоки информации, мы настолько опутаны всем этим, что, например, простая и естественная искренность Гомера для нас невозможна. Но именно к этой искренности и простоте мы должны стремиться — хотя бы потому, что она и есть то общее место, в котором встречаются художник и публика. Впрочем, я не пророк и не могу предсказать, какую форму приобретет это возрождение.

– Почему вы согласились поговорить о будущем европейской цивилизации, хотя сейчас всех больше волнует настоящее?

— Для начала я дам вам дежурный ответ: я соглашаюсь говорить на темы, которые мне предлагают.

Но добавлю, что меня данная тема действительно интересует. Я действительно высказывался в том смысле, что меня волнует только настоящее, но под ним я понимаю нечто такое, что выходит за рамки текущего или будущего года. Историческое настоящее в целом — это живущее ныне поколение, и оно неизбежно связано с будущим Европы. В тот момент, когда мое поколение покинет сцену и наконец удалится на покой, мое настоящее в каком-то смысле завершится. Если мне явно не хватит воображения, чтобы пред-

ставить, что будет происходить, скажем, в 2000 году, то я вполне способен вообразить, что с нами будет через несколько лет. Эти годы принадлежат мне. В этом смысле они — мое настоящее. Все, что я способен воспринять, все, что заставит меня страдать или подарит мне радость, — это и есть мое настоящее.

Поэтому признаю свою ошибку. Я поспешил дать определение настоящего, которое не нахожу правильным. Ваш вопрос оправдан, а моя формулировка была неудачной.

– В лекции на тему «Художник и его время» вы подвергли критике искусство для искусства и реалистическое искусство. Но вместо того чтобы рассматривать процесс творчества в рамках противопоставления субъекта и объекта, не следует ли подойти к нему как к постепенной идентификации художника со своим объектом? Такой художник, как, например, Брак, проделывает огромную работу, идентифицируя себя с изображаемым объектом. Возможен ли подобный процесс идентификации в литературе?

— Я думаю, что он возможен в поэзии; во всяком случае, я это предполагаю, потому что я не поэт. В литературе это невозможно по той простой причине, что в прозе нельзя полностью исключить

рационального посредника. Литература творится языком, а он невозможен без рационального посредника. Подобные попытки предпринимались, и вы о них знаете. Эксперименты с так называемым автоматическим письмом были интересны именно как эксперименты. Можно даже в какой-то мере (все мы, даже те писатели, которые в максимальной степени контролируют себя) попробовать заняться автоматическим письмом. С его помощью нельзя выстроить систему композиции, как Брак в известных мне текстах выстраивает ее на основе этой почти мистической идентификации, не правда ли? Что возможно в живописи — и творчество Брака это подтверждает, — на мой взгляд, невозможно в литературе. Я не знаю ни одного подобного примера.

– Разве писатель не отождествляет себя со своими персонажами?

— Да, в определенной мере. Но это частичная мера. Дело в том, что композиция книги, особенно романа, это рациональная композиция. Она заставляет работать эстетику, которая сама по себе является упражнением ума. Вот почему я говорю, что если ты писатель, то можешь опро-

бовать подобный метод, но но должен посвятить себя ему.

– Разве не следует разделять понятия европейской цивилизации и географического пространства, с которым ее обычно связывают? Разве не следует определять культуру так, как Исократ определял эллинскую культуру: «Мы считаем греками тех, кто участвует в создании нашей культуры»? Отказываясь от универсалистского характера европейской цивилизации, обеспечившего ее силу и расцвет за пределами географической территории, разве мы не приближаем ее гибель?

— Ваша мысль вызывает у меня очень теплое чувство. Ни одно явление духовной жизни не может иметь разумно объяснимой привязки к той или иной территории. Географические границы никогда не совпадали с границами духа. Не вызывает сомнения, что влияние европейской цивилизации вышло за рамки места своего рождения. Оно выплеснулось за них настолько далеко, что мы обнаруживаем его следы в культуре народов или на территориях, которые никогда не были европейскими. Несомненно, Англия — лишь наполовину европейская страна, как географически, так и культурно.

Несмотря на все разнообразие, нюансы и

несходства, для удобства дискуссии мы можем обозначить географические рамки, условно и в общих чертах показывающие область европейской цивилизации.

Что касается вопроса о том, должна ли эта цивилизация, чтобы не погибнуть, влиять на другие народы, то я скорее согласен с вами, и это одно из оснований моей надежды. Пока Европе угрожают собственно европейские идеи, в том числе восстание колоний, воспринявших в европейских школах идеи свободы. На мой взгляд, в этом есть элемент веры в будущее (разумеется, наряду с беспокойством за него).

– Ценится ли во Франции творчество Казандзакиса[83]?

— Мне кажется, я об этом уже говорил: да, ценится, и очень высоко. У нас переведены два его романа. Также переведены некоторые сборники поэзии, вернее сказать, сборники поэтической прозы, такие как «Аскеза». Переведены и опубликованы две его пьесы. Надеюсь, мы увидим их на сцене.

Сегодня не так много зарубежных писателей,

[83] Примечания: 83

Никос Казандзакис (1883–1957) — греческий писатель, философ, драматург и поэт, автор известных романов «Грек Зорба» (1946) и «Последнее искушение Христа» (1954).

которые пользуются во Франции такой популярностью. Есть более популярные авторы, например Фолкнер или Томас Манн; они всемирно известны, и во Франции их много переводят и читают. Но в числе писателей, с которыми французский читатель познакомился недавно — и я надеюсь, что это знакомство продолжится, — Казандзакис действительно один из самых значительных. Кроме того, у нас переводят и ваших молодых авторов; в издательстве «Галлимар» вышли два романа Либераки[84].

– Можно ли сказать, что французский роман совершил рывок со времен Бальзака и Стендаля?

— Ни один из ныне живущих писателей не рискнет сравнить себя с этими великими тенями прошлого.

[84] Примечания: 84

Маргарита Либераки (1919–2001) — греческая писательница и драматург; ее романы «Другой Александр» и «Три лета» вышли в издательстве «Галлимар» в 1950–1953 гг.

О будущем трагедии

1955

После участия в дискуссии на «Будущее европейской цивилизации» в Греческо-французском культурном союзе 29 апреля 1955 года Альбер Камю выступил в Афинском французском институте с лекцией на тему современного театра. Текст лекции был впервые опубликован в 1965 году в томе «Эссе» первого полного собрания сочинений Альбера Камю, изданного Роже Кийо в серии «Библиотека Плеяд». Отрывки из драматургических произведений, на которые ссылался в своей лекции Камю, в публикации были опущены.

Восточный мудрец, обращаясь к божеству, всегда просил избавить его от жизни в интересную эпоху. Нам в этом смысле не повезло. Наша эпоха чрезвычайно интересна, то есть трагична. Но есть ли у нас театр, с помощью которого мы могли бы очиститься от своих несчастий? Можем ли мы надеяться на его появление? Иначе говоря, возможна ли современная трагедия — вот вопрос, которым мне хотелось бы задать-

ся сегодня. Разумен ли он? Не принадлежит ли он к категории вопросов типа: «Будет ли у нас хорошее правительство?», или «Станут ли наши писатели скромнее?», или «Согласятся ли богатые в ближайшее время разделить свои состояния с бедными?» — то есть к кругу вопросов, бесспорно, интересных, но больше располагающих к мечтаниям, нежели к размышлениям.

Я так не думаю. Напротив, я полагаю — и тому есть две причины, — что мы имеем полное право задаться вопросом о современной трагедии. Первая причина состоит в том, что великие периоды трагического искусства исторически приходятся на кровавые века, когда жизнь народов тяжела и наполнена опасностями и обещаниями славы, будущее туманно, а настоящее драматично. В конце концов, Эсхил был участником двух войн, а Шекспир — современником целой череды ужасных событий. Кроме того, обоим выпало жить в поворотный момент истории, когда под угрозой оказалась их цивилизация.

Действительно, можно заметить, что за тридцать веков истории Запада, от дорийцев до атомной бомбы, было всего два периода расцвета трагического искусства и оба сжаты во времени и в пространстве. Первый, греческий, предстаю-

щий в замечательном единстве, продлился примерно столетие — от Эсхила до Еврипида. Второй был чуть более продолжительным и долго цвел пышным цветом, опираясь на разные этические стандарты, в странах, непосредственно примыкавших к Западной Европе. Действительно, нельзя не отметить, что великолепный расцвет елизаветинского театра, испанской драматургии Золотого века и французской трагедии XVII века пришлись примерно на одно и то же время. В год кончины Шекспира Лопе де Вега было 54 года и на сцене шла бóльшая часть его пьес; были живы Кальдерон и Корнель. Временная дистанция между Шекспиром и Расином не длиннее той, что разделяла Эсхила и Еврипида. Во всяком случае, исторически мы можем утверждать, что в эпоху Ренессанса повсюду наблюдалось одно и то же великолепное изобилие, родившееся в хаосе елизаветинского театра и век спустя завершившееся формальным совершенством французской трагедии.

Между двумя этими взлетами жанра трагедии миновало двадцать столетий, на протяжении которых не было создано ничего. Ничего, за исключением христианской мистерии, драматичной, но не трагической, и ниже я объясню

почему. Можно сказать, что перед нами — две выдающиеся эпохи, сама уникальность которых должна бы помочь нам разобраться в том, что такое трагедийная выразительность. На мой взгляд, это захватывающе интересная тема, и ее изучением следовало бы с научной строгостью и терпением заняться настоящим историкам. Моих знаний для этого не хватит, поэтому я как человек, близкий к театру, просто выскажу на эту тему свои соображения.

Если мы присмотримся к эволюции идей в эти две эпохи и к их отражению в трагедийных произведениях своего времени, то обнаружим, что и там, и там присутствует некая константа. Действительно, для обоих периодов характерен переход от мышления в духе космизма, проникнутого идеей божественности, к другим формам, напротив, вдохновляемым индивидуальной и рационалистической мыслью. Движение от Эсхила к Еврипиду, в общем и целом, повторяло движение от досократиков к самому Сократу (Сократ, презиравший трагедию, для Еврипида делал исключение). Точно так же, двигаясь от Шекспира к Корнелю, мы из еще средневекового мира, наполненного темными и загадочными силами, переходим к вселенной индивидуальных

ценностей, утверждаемых и поддерживаемых человеческой волей и разумом (почти все жертвы у Корнеля суть рассудочные жертвы). В сущности, это то же, что переход от страстного богословия Средних веков к Декарту. Хотя в Греции эта эволюция прослеживается яснее в силу своей простоты и сосредоточенности в одном и том же месте, она в обоих случаях одинакова. В истории идей индивидуум каждый раз постепенно освобождается от священного тела и встает лицом к лицу с древним миром ужаса и божественного поклонения. В художественных произведениях мы постоянно видим переход от ритуальной трагедии и почти религиозного прославления к психологической трагедии, и каждый раз — в Греции в IV веке и в Европе в XVIII веке — окончательный триумф индивидуального разума оборачивается многовековым исчерпанием трагедийного жанра.

Что лично мы можем извлечь из этих наблюдений? Прежде всего следует сделать замечание вполне общего характера о том, что век трагедии, судя по всему, каждый раз совпадает с эволюцией человека, который сознательно или нет отрывается от былой цивилизационной формы и оказывается в состоянии разрыва с ней, но не

находит для себя новой удовлетворяющей его формы. В 1955 году мы, как мне кажется, переживаем именно это состояние, и вопрос отныне звучит так: найдет ли этот наш внутренний разрыв свое трагическое выражение? Просто двадцать веков молчания, разделяющие Еврипида и Шекспира, должны призвать нас к осторожности. В конце концов, трагедия — это редкий цветок, и наши шансы увидеть своими глазами, как он расцветет, невелики.

Есть и вторая причина, побуждающая нас задуматься об этих шансах. На сей раз речь идет об особенном явлении, которое мы наблюдаем во Франции на протяжении последних тридцати лет, точнее, начиная с реформы Жака Копо[85]. Это явление — приход в театр, до сих пор колонизированный делягами и торгашами от сценического искусства, писателей. Вторжение писателей приводит к возрождению трагедийных форм, а те помогают вернуть драматическое искусство

[85] Примечания: 85

Альбер Камю считал Жака Копо (1879–1949), основателя театра и труппы «Вьё-Коломбье» («Театра Старой голубятни»), одним из своих наставников. Еще в 1937 г. он поставил в Алжире спектакль «Братья Карамазовы» в адаптации для сцены Жака Копо. В 1959 г. по случаю 10-летней годовщины со дня смерти последнего Камю написал текст, озаглавленный «Копо — единственный учитель», опубликованный в брошюре «Тетрадь Жака Копо» (октябрь — ноябрь 1959 г.). — *Прим. изд.*

на его законное место, то есть на вершину литературного творчества. До Копо (за исключением Клоделя, которого никто не ставил) излюбленным местом театрального жертвоприношения была у нас двуспальная кровать. Если пьеса имела успех, жертвоприношения множились, как и кровати. Коротко говоря, здесь царила все та же коммерция, когда за все приходится платить, если можно так выразиться, по весу живого товара. Впрочем, вот что говорил об этом сам Копо:

«<…> если вы хотите, чтобы мы точнее назвали владеющее нами чувство, ту страсть, что толкает нас вперед, побуждает и заставляет действовать, страсть, перед которой невозможно устоять, то это *негодование*. Бешеная индустриализация, день ото дня все циничнее позорящая французскую сцену и отвращающая от нее образованную публику; захват большинства театров кучкой обманщиков на содержании бесстыдных торгашей; повсюду, даже там, где благодаря великим традициям должна была сохраниться какая-то стыдливость, — одно и то же кривлянье и холодный расчет, одна и та же низость; повсюду надувательство, вымогание денег и эксгибиционизм всех видов, паразитирующий на умирающем искусстве, о котором никто уже

и не вспоминает; повсюду вялость, беспорядок, отсутствие дисциплины, невежество и глупость, презрение к творцу, ненависть к красоте; все более безумные и пустые постановки, все более снисходительная критика, все более лишенная вкуса публика — вот что нас возмущает и вынуждает восставать»[86].

С тех пор, как прозвучал этот крик отчаяния, за которым последовало основание театра «Вьё-Коломбье», наш театр — и в этом наш неоплатный долг перед Копо — понемногу вновь обретает достоинство, то есть стиль. Жид, Мартен дю Гар, Жироду, Монтерлан, Клодель и многие другие возвращают ему утраченные век назад блеск и амбиции. В то же время оживление дискуссий о театре, самым ярким проявлением которого стала книга Антонена Арто «Театр и его двойник», и влияние зарубежных теоретиков театра, таких как Гордон Крейг[87] и Аппиа[88], снова заставили

---

[86] Примечания: 86

Жак Копо. Эссе о драматическом обновлении. «Ла-Нувель ревю франсез», 1 сентября 1913 г.

[87] Примечания: 87

Генри Эдвард Гордон Крейг (1872–1966) — британский актер, режиссер и художник-сценограф, один из крупнейших теоретиков драматического искусства.

[88] Примечания: 88

Адольф Аппиа (1862–1928) — швейцарский театральный художник и режиссер, один из основоположников театра модерна.

нас сосредоточить внимание на трагедии.

Суммируя все эти наблюдения, я мог бы яснее обозначить контуры проблемы, о которой хотел бы сегодня поговорить. Наша эпоха совпадает с цивилизационной драмой, что могло бы и сегодня, как это было раньше, способствовать развитию искусства трагедии. В то же самое время многие писатели и во Франции, и в других странах, пытаются выразить трагичность нашей эпохи. Обоснована ли эта мечта, осуществима ли данная затея, и если да, то при каких условиях, — вот, на мой взгляд, насущный вопрос, волнующий тех, кто страстно увлечен театром и для кого он вторая жизнь. Разумеется, сегодня никто не в состоянии дать на этот вопрос категорический ответ типа: «Надо создать условия, и трагедия появится». Поэтому я ограничусь размышлениями, отражающими большие надежды западных деятелей культуры.

Для начала: что такое трагедия? Поиск определения трагического давно занимал не только литературоведов, но и самих писателей, хотя принятая всеми формулировка так и не была выработана. Не претендуя на решение проблемы, перед которой пасовали даже самые блестящие умы, попробуем, по крайней мере, подступиться

к ней, используя метод сравнения, и посмотрим, чем трагедия отличается от драмы или, скажем, мелодрамы. Вот в чем, на мой взгляд, состоит это отличие: силы, вступающие в противоборство в рамках трагедии, в равной степени легитимны и разумны, тогда как в мелодраме или в драме, напротив, легитимна только одна сторона. То есть трагедия неоднозначна, а драма — примитивна. В первой каждая сила одновременно представляет и добро, и зло. Во второй одна сила выступает на стороне добра, а другая — на стороне зла (вот почему в наши дни пропагандистский театр есть не что иное, как воплощение мелодрамы). Антигона права, однако прав и Креон. Точно так же Прометей одновременно и прав, и неправ, а Зевс, подвергающий его безжалостному наказанию, тоже оказывается в своем праве. В сущности, формулу мелодрамы можно выразить следующим образом: «Только один герой поступает по справедливости; только его действия оправданы», а лучшей формулой трагедии будет: «Все герои правы, и ни один не справедлив». Вот почему в античных трагедиях хор в основном советует персонажам проявлять осторожность. Он знает, что до известного предела все правы, а тот, кто из-за слепоты или одержимости страстью игно-

рирует этот предел, ради торжества собственной правоты, единственным обладателем которой считает себя, движется к катастрофе.

Также постоянной темой античной трагедии является предел, и за него не следует переходить. По обе стороны этой границы сталкиваются в постоянном и бурном конфликте равно законные силы. Того, кто не видит этой границы и стремится нарушить равновесие, ждет гибель. Идею предела, за который не следует заходить, мы встречаем (хотя не в таком чистом виде, как в греческой трагедии) в «Макбете» и в «Федре»; нарушитель границы обречен на гибель или поражение. Теперь нам наконец становится понятно, почему идеальная, например, романтическая драма — это прежде всего движение и действие, поскольку в ней изображена борьба добра со злом и ее перипетии, тогда как в идеальной, в частности греческой трагедии, главное — это напряжение, ведь здесь в вынужденной неподвижности сталкиваются две могучие силы, каждая из которых выступает в двойной маске добра и зла. Разумеется, что в промежутке между двумя этими чистыми типами драмы и трагедии располагается вся драматургическая литература.

Однако, оставаясь в рамках формальной чисто-

ты, зададимся вопросом: что собой представляют эти две могущественные силы, противостоящие одна другой, например, в греческой трагедии? Если мы рассмотрим в качестве типового примера такой трагедии «Прометея прикованного»[89], то, пожалуй, заметим, что, с одной стороны, выступает человек в своем стремлении к могуществу, а с другой — божественный принцип, находящий отражение в мире. Трагедия происходит, когда человек под влиянием гордыни (или глупости, как в случае с Аяксом) вступает в спор с божественным порядком: его персонификацией в виде божества или воплощением в виде общества. Чем более оправдан бунт человека и чем более необходим существующий порядок, тем выше накал трагедии.

Следовательно, все, что внутри самой трагедии направлено на разрушение этого равновесия, разрушает саму трагедию. Если божественный порядок не предполагает никакого оспаривания, а бунтаря ждут лишь кара и раскаяние, то тут нет трагедии. Здесь может быть мистерия, либо притча, либо то, что испанцы называли поступ-

[89] Примечания: 89

В марте 1937 г. Альбер Камю адаптировал для сцены и поставил в Театре труда в Алжире трагедию Эсхила «Прометей прикованный». — *Прим. изд.*

ком во имя веры или священным действием, то есть зрелище торжественно провозглашаемой и единственной истины. Таким образом, возможно существование религиозной драмы, но не религиозной трагедии. Этим и объясняется молчание трагедии вплоть до эпохи Ренессанса. Христианство погружает всю вселенную, и человека, и мир, в божественный порядок. Поэтому между человеком и божественным принципом не возникает напряжения, в крайнем случае — незнание и трудный отказ от плотской природы человека и его страстей во имя достижения духовной истины. Вероятно, за всю историю мы наблюдали лишь одну христианскую трагедию. Она случилась на Голгофе, в тот момент, когда прозвучал вопрос: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» Это мимолетное сомнение, и только оно выражает двойственность трагической ситуации. В дальнейшем сомнений в божественной природе Христа уже не возникало. Месса, в которой каждый день она прославляется, и есть подлинная форма западного религиозного театра. Но она не несет в себе ни новизны, ни творческого начала и является повторением.

И наоборот, все, что освобождает человека и подчиняет вселенную исключительно человече-

скому закону, в том числе отказом признавать его существование тайной, снова разрушает трагедию. Следовательно, атеистическая и рационалистская трагедия невозможна. Если все — тайна, то трагедии нет. Если все — разум, то ее тоже нет. Трагедия рождается в пространстве между тенью и светом, появляется в результате столкновения одного с другим. Это вполне понятно. Действительно, в религиозной или атеистической драме проблема решена заранее. Напротив, в идеальной трагедии она не находит решения. Герой отрицает угнетающий его порядок и восстает против него; божественная мощь, подавляя его, проявляется тем сильнее, чем выше степень бунтарства. Иначе говоря, сам по себе бунт еще не рождает трагедию. Как и утверждение божественного порядка.

Необходимы бунт и порядок, поддерживающие один другой и усиливая один другого за счет собственной мощи. Не может быть Эдипа без оракула, предрекшего его судьбу. Но и судьба не обернется роком, если Эдип не откажется принять ее.

Трагедия завершается гибелью или наказанием, но важно отметить, что каре подвергается не само преступление, а слепота героя, не жела-

ющего признавать необходимость равновесия и напряжения. Разумеется, мы говорим об идеальной трагической ситуации. Например, Эсхил, остающийся близким к религиозным и дионисийским корням трагедии, в последней части трилогии дарует Прометею прощение; за «Эриниями» следуют «Эвмениды». А у Софокла равновесие поддерживается неукоснительно, и это делает его автором величайших трагедий. Еврипид нарушает трагический баланс в пользу индивидуума и психологии. Тем самым он становится провозвестником индивидуалистической драмы и, как следствие, заката трагедии. Точно так же великие шекспировские трагедии еще уходят корнями в бескрайнюю тайну космоса, непостижимым образом противостоящую замыслам персонажей, одержимых страстями, тогда как у Корнеля торжествует мораль индивидуума, который благодаря собственному совершенству кладет конец войне.

Можно также сказать, что трагедия балансирует между двумя полюсами — крайнего нигилизма и безграничной надежды. На мой взгляд, это так и есть. Герой отрицает наказывающий его порядок, а божественный порядок наказывает его как раз за это отрицание. Таким образом, тот

и другой утверждают существование друг друга ровно в тот момент, когда его оспаривают. Все оправдано — и ничего не оправдано. Урок из этого противостояния извлекает хор, напоминая, что порядок существует, он может быть мучительным, но гораздо хуже — не признавать, что он есть. Единственная возможность очищения сводится к тому, чтобы ничего не отрицать и не исключать, соглашаться с тайной бытия, ограниченностью человека и этим самым порядком, благодаря которому мы все знаем, не зная ничего. Тогда Эдип говорит: «Все хорошо» — и ослепляет себя. Отныне, лишенный способности видеть, он обретает знание; его тьма становится светом, а на его лице с пустыми глазницами сияет величайший урок, преподанный трагической вселенной.

* * *

Что можно извлечь из этих наблюдений? Лишь одно предположение и рабочую гипотезу. Действительно, судя по всему, трагедия рождается на Западе каждый раз, когда маятник цивилизации находится на равном расстоянии от общества сакрального и общества, организованного вокруг человека. Дважды, с интервалом в двадцать столетий, мы видим схватку между миром, еще

понимаемым в контексте сакрального, и человеком, уже вовлеченным в собственную единичность, то есть вооруженным способностью вести спор. В обоих случаях индивидуум все больше самоутверждается, равновесие понемногу разрушается, и дух трагедии наконец стихает. Когда Ницше обвиняет Сократа в том, что он выступил могильщиком античной трагедии[90], он в определенной мере прав. В той мере, в какой Декарт обозначил конец трагедийного движения Ренессанса. В эпоху Ренессанса Реформация поставила под сомнение традиционную христианскую вселенную; тогда же начинается открытие мира и расцвет научного мышления. Индивидуум понемногу восстает против сакрального и судьбы. Шекспир создает одержимых страстями персонажей, бунтующих против мирового порядка, одновременно дурного и справедливого. Сцену захватывают смерть и жалость, и опять звучат завершающие слова трагедии: «Мое отчаяние ведет меня к более возвышенной жизни». Затем баланс снова и все заметнее склоняется на другую сторону. Расин и французская трагедия знаменуют конец трагедийного движения в совершенстве

[90] Примечания: 90
См. Ницше. Рождение трагедии из духа музыки (1872).

камерной музыки. Вооруженный Декартом и научным духом, торжествующий разум требует признания прав индивидуума и превращает сцену в пустыню: трагедия выходит на улицы, на кровавые подмостки революции. Романтизм не напишет ни одной трагедии, только драмы, и из их числа лишь произведения Клейста и Шиллера приблизятся к подлинному величию. Человек одинок, следовательно, ему не с кем бороться — разве что с самим собой. Он больше не трагическая фигура, а авантюрист, и самый удачный его портрет создадут драма и роман. Дух трагедии исчез, и даже в наши дни, познавшие самые чудовищные в истории войны, не вдохновил ни одного поэта.

Так что же дает нам надежду увидеть возрождение трагедии? Если наша гипотеза верна, мы можем надеяться лишь на то, что сегодня индивидуализм претерпит явные изменения, а индивидуум под давлением истории начнет понемногу осознавать собственную ограниченность. Индивидуум XVIII века верил, что сумеет силой разума и науки покорить мир и сформировать его по своему желанию. Мир действительно принял новую форму, но она оказалась чудовищной. Одновременно рациональный и утративший

представление о мере, он стал миром истории. При подобной степени неумеренности история обретает лик судьбы. Человек сомневается в том, что сумеет подчинить ее себе, и ему остается только бороться с ней. Любопытный парадокс: человечество воспользовалось тем же оружием, с помощью которого победило фатум, чтобы воссоздать враждебную себе судьбу. Обожествив царствие людей, человек снова восстает против этого божества. Сбившийся с пути боец, он чувствует себя несчастным и раздираемым между абсолютной надеждой и категорическим сомнением. Следовательно, он живет в атмосфере трагедии. Вероятно, этим объясняется тоска по возрождению трагедии. Современный человек, взыскующий бунта и понимающий, что у бунта есть свой предел; требующий свободы и подчиняющийся необходимости; весь сотканный из противоречий, истерзанный, осознавший неоднозначность человека и человеческой истории, он идеальная трагическая фигура. Может, он стремится к созданию собственной трагедии, а она появится в тот день, когда мы дружно произнесем: «Все хорошо».

* * *

Например, наблюдаемое сегодня возрождение французского драматического театра показывает, что он на ощупь движется именно в этом направлении. Наши драматурги сейчас в поиске трагедийного языка, поскольку не бывает трагедии без своего языка. Разработать его особенно трудно потому, что в нем должны найти отражение все противоречия трагичной ситуации. Он должен быть одновременно священным и обиходным, варварским и ученым, загадочным и ясным, надменным и сострадательным.

Неудивительно, что в поисках этого языка наши авторы повернулись к источникам, то есть к тем эпохам расцвета трагедии, о которых я говорил. Мы увидели возрождение греческой трагедии, но в новых формах, единственно приемлемых для крайне индивидуалистского сознания. Этими формами стали насмешка или вычурное литературное переложение, то есть, в сущности, юмор и фантазия, поскольку только комичное находится целиком во власти индивидуума. Два ярких тому примера нам дают «Эдип» Жида и «Троянская

война» Жироду[91]. [*Зачитывает фрагменты из упомянутых произведений.*]

Мы также видели, что во Франции предпринимались усилия по возврату на сцену сакрального. Это было логично. Однако для этого потребовалось обратиться к древним сакральным образам, тогда как проблема современной трагедии заключается в создании новой сакральности. Поэтому мы имеем дело или с чем-то вроде подражания — по стилю и по духу, как в пьесе Монтерлана «Пор-Руайаль»[92], которая с огромным успехом идет сейчас в Париже [*зачитывает фрагмент*], или с возрождением подлинно христианского чувства, как, например, в превосходной постановке «Полуденный раздел»[93] [*зачитывает фрагмент*]. Но мы видим, что в данных случаях религиозный театр — это не театр трагедии, он отражает не спор между тварью и творением, а борьбу за отречение от твари. В каком-то смысле

---

[91] Примечания: 91

Премьера спектакля по пьесе Жана Жироду состоялась в Париже 21 ноября 1935 г. — *Прим. изд.*

[92] Примечания: 92

Премьера спектакля по пьесе «Пор-Руайаль» состоялась в Париже 8 декабря 1954 г. — *Прим. изд.*

[93] Примечания: 93

Жан-Луи Барро был режиссером первой постановки пьесы Монтерлана «Полуденный раздел», премьера которой состоялась в Парижском театре «Мариньи» 16 декабря 1948 г. — *Прим. изд.*

более значимыми в контексте занимающей нас темы были произведения Клоделя, созданные до его обращения к вере, такие как «Златоглав» и «Город».

В общем, религиозный театр всегда предшествует трагедии. В определенном смысле он служит его провозвестником. Поэтому неудивительно, что наиболее заметным — если не по стилю, то по трагизму сюжета, — драматургическим произведением стала пьеса Монтерлана «Магистр ордена Сантьяго»[94], два ключевых фрагмента из которой я вам зачитаю. [*Зачитывает фрагменты.*]

Вывод. На мой взгляд, в этом произведении мы видим подлинное напряжение, пусть и не свободное от риторики, а главное — окрашенное крайним индивидуализмом. Но мне кажется, что в нем формируется язык трагедии и он представляет собой нечто большее, чем просто драма. В любом случае, если те поиски и попытки, с отдельными достойными примерами которых я вас ознакомил, не дают нам уверенности в возможном возрождении жанра трагедии, то по

---

[94] Примечания: 94

Премьера спектакля «Магистр ордена Сантьяго» в постановке Поля Эттли состоялась в парижском театре «Эберто» 26 января 1948 г. — *Прим. изд.*

меньшей мере внушают надежды. Перед нами долгий путь, но, в первую очередь, его должно проделать и все наше общество, чтобы прийти к синтезу свободы и необходимости, и каждый из нас в отдельности, сохраняя в себе волю к бунту, однако не впадая в соблазн отрицания. Только такой ценой формирующееся трагическое мировосприятие нашей эпохи найдет свое выражение и познает расцвет. Надо ли говорить, что я не сумею прочитать вам настоящую современную трагедию, потому что ее пока не существует? Она может родиться, но ей нужно наше терпение и ей необходим гений.

Я же всего лишь хотел рассказать вам о том, что в современной французской драматургии возникла своего рода трагедийная туманность, внутри которой идет процесс отвердения ядер. Разумеется, любая космическая буря способна рассеять эту туманность, а вместе с ней уничтожить и будущие планеты. Но если это движение продолжится вопреки всем потрясениям нашего времени, оно обещает принести свои плоды. Тогда Запад увидит возрождение драматического искусства. Конечно, то же самое происходит во всех странах. Тем не менее, не впадая в национализм (я слишком люблю свою страну, чтобы быть

националистом), я скажу, что первые признаки этого возрождения заметны именно во Франции.

Да, во Франции, хотя я весьма подробно остановился на теме трагедии, чтобы вы вместе со мной убедились, что ее образцом и неисчерпаемым источником для нас остается греческий гений. Чтобы выразить и эту надежду, и двойную благодарность — от французских писателей к нашей общей родине Греции, и от себя лично за ваш теплый прием, — думаю, что будет лучше всего, если в качестве завершения этой последней лекции я прочитаю вам отрывок из осуществленной Полем Клоделем великолепной и варварски-ученой сценической адаптации «Эвменид» Эсхила[95], в которой оба наши языка взаимно преобразуются в единый диалект, чарующий и необычный. [*Зачитывает фрагмент.*]

[95] Примечания: 95

Адаптация «Эвменид» Эсхила авторства Клоделя была опубликована в 1920 г. В серии «Нувель ревю франсез» издательства Галлимар. — *Прим. изд.*

Испания и донкихотство

1955

23 октября 1955 года в амфитеатре «Ришелье» Сорбонны состоялось торжественное заседание в честь 350-й годовщины выхода в свет «Дон Кихота»[96]. Альбер Камю воспользовался приглашением выступить на этом мероприятии не только для того, чтобы выразить почтение классическому роману Сервантеса, который называл в числе «трех или четырех произведений, <…> венчающих огромный массив творений человеческого духа»[97], но также для того, чтобы почтить память Мигеля де Унамуно. После своей знаменитой речи, произнесенной 12 октября 1936 года в университете Саламанки, ректором которого он был, этот испанский интеллектуал стал считаться одной из самых ярких фигур антифранкистского движения. В тот день, выступая перед залом, заполненным франкистами и

[96] Примечания: 96

Первая часть романа Сервантеса вышла в Мадриде в 1605 г., вторая — в 1615-м.

[97] Примечания: 97

См. ниже: «О Достоевском», с. 282.

фалангистами, Унамуно призвал их к разуму и уважению к праву и сурово осудил грубую силу отрядов Франко. Уволенный со своего поста и приговоренный к домашнему аресту, несколько месяцев спустя Унамуно скончался. Речь Камю была опубликована в газете «Ле Монд либертер»[98] 12 ноября 1955 года.

В 1085 году, в разгар Реконкисты, неугомонный король Альфонс VI, имевший пять жен, в том числе трех француженок, захватил у арабов мечеть в Толедо. Когда ему донесли, что победа была достигнута благодаря предателю, он вернул мечеть противнику, а затем силой своего войска снова захватил и мечеть, и весь Толедо. Испанская традиция изобилует подобными историями, свидетельствующими не только о высоком понятии чести, но и о том, что порой оно оборачивается настоящим безумием.

На другом полюсе испанской истории мы находим Унамуно, который в ответ на упреки аудитории в том, что Испания вносит совсем незначительный вклад в научные открытия, со смесью презрения и униженности произнес:

---

[98] Примечания: 98

«Ле Монд либертер» — печатный орган Союза анархистов, с которым сотрудничал А. Камю.

«Пусть они изобретают». «Они» означало другие народы. Что касается Испании, то она совершила одно открытие, которое, не искажая мысли Унамуно, можно назвать безумием бессмертия.

Оба эти примера — и воинственного короля, и философа трагической судьбы — показывают, что мы имеем дело с парадоксальным испанским гением в чистом виде. Неудивительно, что на пике своего расцвета этот парадоксальный гений нашел воплощение в произведении, исполненном иронии и категорической неоднозначности, в произведении, которому предстояло стать испанским евангелием и — еще один парадокс — величайшей книгой Европы, отравленной рационализмом. Надменный и честный отказ от украденной победы, упорное нежелание видеть реалии века, наконец отрыв от современности, возведенный в ранг философской доктрины, — все это нашло в «Дон Кихоте» своего нелепого и царственного глашатая.

Важно отметить, однако, что этот отказ не носит пассивного характера. Дон Кихот сражается и никогда не сдается. «Хитроумный и опасный», как гласил заголовок старого французского перевода, он — символ вечного боя. Его отрыв от времени активен, он постоянно задирает век, от которого

отрекается, оставляя на нем следы. Отказ, обратный отречению; честь, преклоняющая колени перед унижением; милосердие, берущее в руки оружие, — вот что вложил Сервантес в своего героя, смеясь над ним, но двусмысленной насмешкой, подобно тому, как Мольер смеется над Альцестом, что звучит убедительнее, чем самая восторженная клятва. Дело в том, что Дон Кихот — неудачник своего века, и лакеи издеваются над ним. Тем не менее, когда Санчо становится губернатором острова, и вполне успешным, он вспоминает наставления своего господина, и два из них, самые главные, связаны одно с честью: «О своем худородстве, Санчо, говори с гордостью и признавайся, не краснея, что ты из крестьян, ибо никому не придет в голову тебя этим стыдить, коль скоро ты сам этого не стыдишься», а второе — с милосердием: «<…> в сомнительных случаях должно внимать голосу милосердия»[99].

Вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что сегодня эти слова — «честь», «милосердие» — приобрели бандитский облик. Над ними насмехаются во вчерашних лавках; что до завтрашних палачей, то мы читали обвинительный приговор

---

[99] Примечания: 99
Пер. Н. Любимова.

«Дон Кихоту», вынесенный услужливым поэтом, назвавшим роман учебником реакционного идеализма. На самом деле, этот отрыв от современности продолжал расти, и сегодня мы добрались до вершины испанского парадокса, когда Дон Кихот брошен в тюрьму, а его Испания изгнана из Испании.

Конечно, испанцы могут заявить свои права на Сервантеса. Но ни одна тирания не в состоянии заявить права на гения. Тирания уродует и упрощает все то, что гений соединяет в сложности. В части парадокса она предпочитает Бувара и Пекюше[100] Дон Кихоту, уже три столетия живущему среди нас как изгнанник. Но в нем воплотилась родина, которую мы называем своей.

В общем, сегодня мы отмечаем 350-летний юбилей отрыва от современности. Празднуем его вместе с той частью Испании, которую сильные мира сего и прочие стратеги считают несвоевременной. Такова ирония истории, помноженная на человеческую верность, что для нас сегодняшняя знаменательная дата идеально соответствует самому духу донкихотства.

Этот дух объединяет истинных адептов церкви

---

[100] Примечания: 100

Бувар и Пекюше — главные персонажи неоконченного романа Гюстава Флобера, задуманного как «эпопея человеческой глупости».

Дон Кихота, ныне катакомбной или вынужденной существовать в изгнании. Он оборачивается делом веры в лице того, кого именовал Господом Нашим Дон Кихотом, покровителем гонимых и униженных, еще Унамуно, сам гонимый в царстве торгашей и полицаев. Все, кто вместе со мной всегда разделял эту веру и не имел никакой другой, знают, что она дарует не только надежду, но и уверенность. При определенном упорстве она позволяет превратить поражение в победу, горе — в сияющую радость, а разрыв с современностью, доведенный до логического предела, — в сегодняшнюю реальность.

Но для этого надо пройти путь до конца. Нужно, чтобы Дон Кихот, как в мечтах испанского философа, спустился в ад и распахнул его врата, освобождая самых обездоленных, и тогда, возможно, настанет день, когда, по замечательному высказыванию Дон Кихота, «заступ и мотыга договорятся со странствующим рыцарством»; когда наконец соединятся гонимые и изгнанники; когда дерзкая и пламенная мечта о жизни преобразится в ту последнюю реальность, которую Сервантес и его народ, сотворив, оставили нам в наследство, чтобы мы неустанно защищали ее, пока история и человечество не решатся при-

знать ее и встретить приветствием.

В поддержку журналиста в изгнании

1955

7 декабря 1955 года Альбер Камю выступил с речью на банкете, устроенном в Париже в честь Эдуардо Сантоса, с 1938 по 1942 год президента Республики Колумбия, затем главного редактора газеты либерального направления «Эль Тьемпо». С 1948 года, когда в Колумбии вспыхнул вооруженный конфликт между сторонниками Либеральной и Консервативной партий, на здание редакции было совершено множество нападений, а в 1952 году в нем устроили пожар. В 1953 году, после военного переворота, организованного генералом Густаво Рохасом Пинильей, газету «Эль Тьемпо» закрыли, потому что Эдуардо Сантос отказался печатать в ней правительственное коммюнике. Речь Камю на этом банкете была впервые публикована в «Тетрадях прав человека» (январь — февраль 1956 года), а затем, с добавлением постскриптума, в журнале «Пролетарская революция» в ноябре 1957 года. Ниже приводится

именно эта последняя версия выступления.

Сегодня мы с гордостью принимаем здесь посла, не похожего на других. Я читал, что правительство, воспользовавшись печальной привилегией закрыть крупнейшую в Южной Америке газету, прежде предложило ее главному редактору, в прошлом президенту Эдуардо Сантосу, должность посла в Париже. Вы, господин президент, отказались от этой чести, но не потому, что презираете Париж, а потому, и нам это известно, что любите Колумбию, а также потому, что наверняка знаете: иногда правители считают посольские должности за границей чем-то вроде почетной отставки для неудобных граждан. Вы остались в Боготе, вы, верный своему призванию, стали неудобным, и вас подвергли цензуре — на сей раз без дипломатических ухищрений и с самым откровенным цинизмом. Однако тем самым вас удостоили тех единственных титулов, которые позволяют нам сегодня видеть в вас настоящего посланника Колумбии, и не только в Париже, но и во всех столицах, где слово «свобода» заставляет биться сильнее сердца людей.

Быть свободным человеком не так легко, как кажется. Те, кто утверждает, что это просто, на самом деле решили отказаться от свободы. Ведь

от свободы отказываются не потому, что, как нам внушают, она дает преимущества, а потому, что сопряжена с тяжким трудом. Напротив, те, для кого их ремесло и страсть заключаются в наполнении понятия свободы содержанием прав и обязанностей, знают, что это ежедневный труд, неустанная бдительность и постоянное служение, в котором гордость и скромность участвуют наравне. Если сегодня мы готовы выразить вам свои теплые чувства, то потому, что вы целиком и не щадя себя отдались этому служению. Вы отвергли бесчестье и не пожелали под давлением правительства добровольно отречься от своих идей. Вы предпочли смириться с закрытием вашей прекрасной газеты, но не согласились отдать ее во власть лжи и деспотизма. Бесспорно, вы принадлежите к числу несгибаемых борцов, заслуживающих безоговорочного уважения. Однако все это еще не сделало бы вас борцом за свободу. Есть немало людей, кто пожертвовал многим ради ошибочных целей; я всегда думал, что героизма и жертвенности недостаточно, чтобы оправдать любой поступок. Само по себе упорство еще не добродетель. Но то, что наполняет ваше сопротивление подлинным значением, превращает вас в образец товарища, которого

мы горячо приветствуем, это то, что в сходных обстоятельствах, когда вы были президентом Колумбии, вы не только не использовали свою власть, чтобы подвергнуть противников цензуре, вы не позволили закрыть газету ваших политических оппонентов.

Одного этого поступка довольно, чтобы приветствовать в вашем лице по-настоящему свободного человека. У свободы много сыновей, и не все они законные, и не все заслуживают восхищения. Есть такие, кто рукоплещет ей только тогда, когда она предоставляет им преимущества, и при первой опасности запирает рот на замок; мы не считаем их своими. Но есть и те, кто, по выражению Бенжамена Констана[101], не стремится ни к страданию, ни к овладению средствами подавления; кто хочет свободы и для себя, и для других; кто, будучи современником века нищеты и террора, обрекающего людей на безумия угнетения, остается тем самым живым зерном, дремлющим под снегом, о котором говорил один

[101] Примечания: 101

Бенжамен Констан развивает эту мысль во второй части своего эссе «О духе завоевания и узурпации власти по отношению к европейской цивилизации» (1814). — *Прим. изд.*

из наших величайших сподвижников[102]. Когда буря утихнет, именно они накормят мир.

Мы знаем, что такие люди редки. Сегодня у свободы не так много союзников. Мне уже случалось говорить, что истинной страстью XX века стало раболепие. Это горькое признание, способное нанести обиду тем, кто, как вы, подает нам пример ежедневной жертвенности и помогает выживать. Мне хотелось лишь выразить не покидающий меня страх перед тем, как выдыхается либеральная энергия и проституируются слова, страх перед клеветой на жертв, сочувственным оправданием угнетения и маниакальным восхищением грубой силой. Замечаем, как множится число тех, о ком можно сказать, что они находят удовольствие в раболепии и превращают его в составную часть добродетели. Мы видим, как интеллигенция ищет оправданий собственной трусости и без труда их находит, ведь всякая трусость имеет свою философию. Расчетливое возмущение, дружное молчание — история обретает черты плаща Ноя, наброшенного на жертв, поскольку они выглядят непристойно. Никто не желает брать на себя настоящую ответственность; все слишком устали,

[102] Примечания: 102

Альбер Камю имеет в виду роман «Семя под снегом» итальянского писателя Иньяцио Силоне (1900–1978). — *Прим. изд.*

чтобы хранить верность или выражать собственное мнение вместо того, чтобы примкнуть к той или иной партии, к той или иной группировке, где будут думать, возмущаться и строить планы за тебя. Судя по всему, современная интеллигенция оценивает истинность учений и причин исключительно в зависимости от количества бронетанковых дивизий, которые те могут выставить. Отныне хорошо то, что оправдывает убийство свободы, будь то нация, народ или величие государства. Тираны всегда прикрывались заботой о благосостоянии народа, а теперь их прислужники используют тот же аргумент для очистки собственной совести. А ведь ничего не стоит разрушить его, крикнув: если вы печетесь о счастье народа, дайте ему право голоса, и он сам скажет, какого счастья хочет, а какого нет. На самом деле, те, кто прибегает к подобным алиби, отлично понимают, что все это ложь. Они предоставляют своей интеллектуальной обслуге право в нее верить и доказывать остальным, что для выживания религии, патриотизма или справедливости необходимо принести в жертву свободу. Как будто изгнанная свобода исчезает не последней, следуя за всем, что наполняло нашу жизнь смыслом. Нет, свобода умирает не в одиночку.

Вместе с ней навсегда уходит справедливость, патриотизм агонизирует, и каждый день корчатся на кресте все новые невинные жертвы.

Разумеется, свобода не решает всех проблем и у нее есть свои ограничения. Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого; никто не имеет права на абсолютную свободу. Граница, где начинается и заканчивается свобода, где уравновешиваются права и обязанности, именуется законом, и государство также должно подчиняться ему. Если оно от этого уклоняется и лишает своих граждан блага пользоваться защитой закона, это называется должностным преступлением. В августе в Колумбии было совершено должностное преступление, как двадцать лет назад было совершено должностное преступление в Испании. Ваш пример помогает нам не забывать, что с теми, кто совершает их, не может быть компромисса. От них отрекаются, с ними борются.

Вашим полем битвы была пресса. Возможно, от медленной деградации идеи свободы больше пострадала свобода прессы. У нее есть свои сутенеры, собственные полицейские. Сутенер марает прессу в грязи, полицейский превращает ее в рабу, и оба для оправдания своих противозаконных

действий ссылаются друг на друга. Они напоминают мне господ, желающих спасти сиротку и дать ей приют, не упоминая о том, что этим приютом станет тюрьма или бордель. Поэтому у сиротки есть основания отказаться от подобных торопливых предложений помощи и принять решение самой за себя бороться и самостоятельно распоряжаться своей судьбой.

Нельзя сказать, что пресса как таковая есть абсолютное благо. Виктор Гюго в одной из речей сказал, что пресса — это ум, прогресс и бог знает что еще[103]. Как уже старый журналист, я знаю, что это далеко не так, а реальность выглядит гораздо менее утешительно. Но в каком-то смысле пресса — это нечто большее, чем ум и прогресс; она — совокупность того и другого, а также множества других вещей. Наверное, свободная пресса может быть хорошей и плохой, но одно нужно сказать с уверенностью: без свободы она всегда будет плохой — иного не дано. Если мы знаем, на что — и в хорошем, и в дурном — способен человек, то нам известно и то, что защищать надо не отдельного человека, а те возможности, которые в нем скрыты, то есть в конечном счете

[103] Примечания: 103

Вероятно, имеется в виду речь, с которой Виктор Гюго выступил 11 октября 1848 года перед Учредительной ассамблеей. — *Прим. изд.*

его свободу. Что до меня, то признаюсь, я могу любить все человечество в целом, разве что размытой и немного абстрактной любовью. Но я так сильно люблю некоторых ныне живущих или уже умерших людей и так ими восхищаюсь, что всегда тревожусь за тех, в ком есть нечто, способное в один прекрасный день, возможно, сделать их похожими на людей, которых я люблю, и это нечто нуждается в защите. Свобода — всего лишь шанс стать лучше, тогда как рабство — верный путь к тому, чтобы сделаться хуже.

Итак, если, несмотря на все компромиссы и раболепие, надо продолжать видеть в журналистике, пока она свободна, одну из величайших профессий нашего времени, то лишь в той мере, в какой она позволяет таким людям, как вы и ваши сотрудники, самым достойным образом служить своей стране и эпохе. Свобода прессы не дает народам гарантии повести их по пути к справедливости и миру. Но без свободы прессы они гарантированно не пойдут по этому пути. Потому что справедливость для народов невозможна без признания их прав, а никакая реализация прав невозможна без того, чтобы открыто обсуждать их. В этом отношении надо доверять тому, что говорила еще Роза Люксембург: «…без свободной,

неограниченной прессы, без беспрепятственной жизни союзов и собраний совершенно немыслимо именно господство широких народных масс»[104].

Нет и не может быть никакого компромисса в вопросе свободы. Она не только обеспечивает культурные преимущества, как в том пытаются нас убедить лицемеры. Свобода гарантирует права трудящихся. Те, кто ради оправдания своей тирании противопоставляет труд и культуру, никогда не заставят нас забыть, что все, что угнетает ум, порабощает и труд, и наоборот. Стоит заткнуть рот интеллигенции, и труженик попадает в рабскую зависимость; точно так же, если пролетарий опутан цепями, интеллектуал вынужден молчать или лгать. Короче говоря, тот, кто посягает на правду или на выражение правды, в конце концов, уродует правосудие, даже если думает, будто служит ему. С этой точки зрения, мы никогда не признаем, что пресса правдива потому, что революционна; она может быть революционной только в том случае, если она правдива, а не наоборот. Пока мы помним

[104] Примечания: 104

Цитата из брошюры «Рукопись о русской революции», опубликованной посмертно, в 1918 г. и воспроизведенной во втором томе «Записных книжек» Альбера Камю (1935–1948). — *Прим. изд.*

эти очевидные вещи, ваше сопротивление, господин президент, сохранит свой истинный смысл; далеко не одиночное, оно станет факелом в нашей долгой борьбе и не позволит нам свернуть с избранного пути.

Колумбийское правительство обвинило газету «Эль Тьемпо» в том, что она стала государством в государстве. Вы совершенно справедливо отмели эти упреки. Но и ваше правительство было по-своему право, хотя в таком смысле, какой ему явно не понравился бы. Дело в том, что, выступая с подобным заявлением, оно признало силу свободного слова. Цензура и гнет доказывают лишь то, что слово способно заставить тирана дрожать от страха, но при условии, что оно основано на жертве. Только слово, согретое сердцем и напитанное кровью, может объединить людей, тогда как молчание тираний разъединяет их. Тираны ведут монолог на фоне молчания миллионов. Мы, со своей стороны, отвергаем угнетение и ложь именно потому, что отвергаем молчание. Каждый непокорный оппозиционер, восстающий против тирании, тем самым утверждает солидарность всех людей. Нет, сопротивляясь гнету, вы защищали не себя и не свою газету, а целое сообщество, объединяющее нас поверх

любых границ.

Впрочем, разве ваше имя не звучало по всему миру синонимом свободы? Не могу не напомнить здесь, что вы всегда были и остаетесь одним из самых верных друзей нашей Испании, республиканской Испании, сегодня рассеянной по миру, преданной союзниками и друзьями, всеми забытой, униженной Испании, которой удается устоять только силой своего крика. В тот день, когда другая Испания, христианская и тюремная, вернется вместе со своими палачами и цензурой в организацию так называемых свободных наций, я знаю, вы молча встанете рядом с нами, не чувствуя себя вернувшимся, бок о бок со свободной и несчастной Испанией.

Позвольте же мне от имени моей второй родины и от имени всех, кто сегодня собрался здесь, выразить вам дружескую признательность за вашу верность. Спасибо вам за то, что во времена рабства и страха вы твердо отстаиваете свои права. Почти повсюду слышны жалобы на то, что у людей пропадает чувство долга. Но разве может быть иначе, если они больше не думают о своих правах? Только тот, кто непреклонен к соблюдению собственных прав, способен понимать, в чем его долг. Величие граждан той или иной страны

не в том, чтобы сгибать колени перед властью, а в том, чтобы, если нужно, выступить против нее за честь и свободу этой страны. Ваша страна всегда будет, как мы сегодня, приветствовать в вашем лице великого гражданина, сумевшего вопреки оппортунистам противостоять навязанной вам полнейшей несправедливости. В час, когда облик мира обезображен куцым реализмом, извращенным пониманием власти, страстью к бесчестью и разрушительным страхом, в тот час, когда многие думают, что все потеряно, появляется и что-то другое — просто потому, что нам нечего больше терять. Наступает время непримиримых борцов, отдающих все силы безоговорочной защите свободы. Вот почему ваши поступки служат примером и внушают надежду всем, кто вместе со мной сегодня порывает с многими из своих старых друзей, не желая идти на компромиссы, даже временные, даже — и особенно — тактические, с режимами и партиями, неважно, правыми или левыми, но хотя бы в малейшей мере оправдывающими посягательство на одну из наших свобод!

В заключение позвольте сказать, что, читая недавно призыв, с которым вы обратились к вашему народу, я не только проникся вашим

упорством и твердостью, но и понял, насколько трудна и продолжительна была ваша борьба. Каждый из нас знает, что, когда торжествует угнетение, все, кто верит в справедливость своего дела, страдают от боли, с изумлением обнаруживая видимое бессилие правосудия. Тогда приходит время изгнания и одиночества, хорошо всем нам знакомое. Но я все же хотел бы сказать вам, что, по моему убеждению, худшее, что может произойти с миром, в котором мы живем, это если один из тех смелых сторонников свободы, о ком я говорил, пошатнется под бременем одиночества и слишком долгого сопротивления противникам и усомнится в себе и в том, что он для всех нас олицетворяет. Мне кажется, что в этот момент все, кто на него похож, должны прийти к нему, забыв о титулах и стилистических разногласиях, заговорить с ним на языке сердца и сказать ему, что он не один, его усилия не напрасны, что всегда наступает день, когда дворцы угнетателей рушатся, изгнание заканчивается и торжествует свобода. Эта спокойная надежда подтверждает правоту ваших действий. Если люди порой не могут сделать так, чтобы история имела смысл, они могут наполнить им собственную жизнь. Поверьте, вы и ваши сторонники через тысячи

километров, из далекой Колумбии, показали нам тот трудный путь, который нам еще предстоит вместе пройти к свободе. От имени всех верных и благодарных друзей, собравшихся здесь, примите наш братский привет. В вашем лице и в лице ваших сотрудников мы приветствуем наших великих товарищей по делу общего освобождения.

О Достоевском

1955

В одном интервью, данном в 1958 году, Альбер Камю назвал Достоевского «истинным пророком» XX века. Творчество этого пророка он открыл для себя в двадцатилетнем возрасте, когда учился в университете Алжира. Там же в 1938 году с труппой руководимого им театра «Экип» Камю осуществил постановку «Братьев Карамазовых» и исполнил роль Ивана. В дальнейшем он много размышлял о творчестве Достоевского, что нашло отражение в его эссе «Миф о Сизифе» и «Человек бунтующий», а также в «Записных книжках». Наконец, после «долгих лет упорной работы» в 1959 году Камю осуществил один из самых давних и дорогих ему замыслов — написал адаптацию для сцены романа «Бесы». Несколькими годами ранее, в 1955 году, он принял участие в посвященной Достоевскому встрече, организованной по инициативе «Радио-Европа». Текст, написанный им для этого мероприятия и приводимый ниже, был опубликован в журнале «Темуэн» в 1957 году.

Несколько месяцев назад я встретился с молодым и симпатичным советским парнем, который меня очень удивил, пожаловавшись, что великие русские писатели недостаточно переведены на французский язык. Я сообщил ему, что великая русская литература XIX века переведена у нас больше и лучше, чем любая другая той же эпохи. Его удивление переросло в изумление, когда я добавил, что без Достоевского французская литература XX века никогда не стала бы той, какая она есть, и для убедительности заключил: «Вы находитесь в кабинете писателя, глубоко погруженного в идейный контекст своего времени. Какие два портрета вы видите у него на стенах?» Молодой человек повернулся в указанном мной направлении, и его лицо просветлело: он увидел портреты Толстого и Достоевского.

Я отношу этот свет, озаривший лицо моего юного друга и сам по себе способный заставить нас забыть обо всех глупостях и жестокостях, которые существуют сегодня, чтобы разделять людей, не на счет России или Франции, а на счет творческого гения, сияющего поверх границ и почти беспрестанно ощущаемого во всем, что написал Достоевский.

Я познакомился с его творчеством, когда мне

было 20 лет, и потрясение, которое я испытал, длится еще и сегодня, 20 лет спустя. Я причисляю «Бесов», наряду с «Одиссеей», «Войной и миром», «Дон Кихотом» и пьесами Шекспира, к нескольким величайшим произведениям, венчающим гигантскую пирамиду творений человеческого духа. Достоевский вызвал мое восхищение прежде всего тем, что благодаря ему открылось для меня в человеческой природе. Откровение — вот самое точное слово. Он говорил нам о том, что мы и сами знаем, но отказываемся признавать. Кроме того, Достоевский потакал моей отчасти самодовольной любви к проницательности как таковой. Но очень скоро, по мере того как я проживал жестокую драму своей эпохи, я полюбил в Достоевском писателя, который познал и самым глубоким образом выразил нашу историческую судьбу. Для меня Достоевский — прежде всего автор, сумевший задолго до Ницше понять современный нигилизм, дать ему определение, предсказать его чудовищные последствия и попытавшийся указать нам путь к спасению. Главной темой для него оставался тот глубинный дух, дух отрицания и смерти, что стремится к ничем не ограниченной свободе, когда «все позволено», и приходит к разрушению всего сущего

и всеобщему порабощению. Его личная му́ка состояла в том, что он одновременно участвовал в этом процессе и отвергал его. Трагическая надежда Достоевского заключалась в том, чтобы исцелить унижение унижением, а нигилизм — отрицанием.

Человек, написавший: «А которые в Бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца»[105], знал, что отныне наша цивилизация будет требовать спасения для всех — или ни для кого. Но он также понимал, что не может быть спасения для всех, если мы забудем о страданиях одного. Иначе говоря, Достоевский не хотел религии, которая не была бы социалистической в самом широком смысле слова, но отвергал социализм, который не был бы религиозным в самом широком смысле слова. Таким образом, он спас будущее истинной религии и подлинного социализма, хотя современный мир, судя по всему, считает, что он заблуждался по обоим этим вопросам. Величие Достоевского (как и величие Толстого, который

[105] Примечания: 105
Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы.

говорил то же самое, но по-другому) будет только расти, потому что наш мир или погибнет, или признает его правоту. Но в любом случае, погибнет мир или возродится, Достоевский будет прав. Вот почему он, вопреки и благодаря своим слабостям, исполином возвышается над нашей литературой и историей. Еще и сегодня Достоевский помогает нам жить и надеяться.

Призыв к гражданскому перемирию в Алжире

1956

В статьях, напечатанных в журнале «Экспресс» осенью 1955 года, Альбер Камю призвал различные силы, участвующие в алжирском конфликте, к диалогу и потребовал от них, в первую очередь, щадить гражданское население. Переходя от слов к делу, 22 января 1956 года он выступил в Алжире, в «Круге прогресса», со своим «Призывом к гражданскому перемирию». Если в зале, где состоялась встреча, атмосфера между арабами и французами была вполне дружеской, то на улице в это время проходили бурные демонстрации, и радикалы из движения за Французский Алжир скандировали: «Смерть Камю!» Встреча завершалась в накаленной обстановке и едва не привела к открытым столкновениям. Убедившись в провале своей затеи, Камю покинул «Экспресс» и принял решение больше не высказываться публично на тему Алжира. Тем не менее он продолжил предпринимать непубличные действия, ходатай-

ствуя о помиловании многих приговоренных к смертной казни участников событий. Призыв Камю был опубликован в еженедельнике «Завтра» (Demain) 26 января 1956 года, а затем включен автором в третий том его «Злободневных заметок» («Алжирские хроники»; 1939–1958).

Дамы и господа!

Несмотря на предосторожности, на которые пришлось пойти организаторам этой встречи, несмотря на все трудности, с какими мы столкнулись, сегодня буду говорить не во имя размежевания, а во имя объединения. Это мое самое горячее желание. Я глубоко разочарован — и это еще мягко сказано — тем, какой резкий отпор получило это мое желание, и тем, например, что человеку, писателю, посвятившему часть своей жизни Алжиру, отказывают в праве выразить свое мнение, даже не поинтересовавшись, о чем именно он собирается говорить. Но это же одновременно свидетельствует о том, что мы должны немедленно предпринять усилия для успокоения конфликтующих. Эта встреча была необходима хотя бы для того, чтобы показать, что не все шансы на диалог потеряны, чтобы всеобщее уныние не обернулось готовностью согласиться с худшим.

Я не зря сказал «диалог», потому что пришел сюда не читать лекцию. По правде говоря, в нынешних обстоятельствах мне на это не хватило бы духу. Но мне показалось возможным — и я даже счел это своим долгом — повторить перед вами призыв к простой человечности, способный хотя бы по одному пункту снизить накал ярости и объединить алжирцев — и французов, и арабов, — не требуя от них отречения от своих убеждений. Этот призыв, поддержанный организационным комитетом сегодняшней встречи, обращается к обоим лагерям с просьбой принять условия гражданского перемирия, касающиеся безопасности ни в чем не повинных людей.

Сегодня я хочу лишь объяснить вам смысл этой инициативы и постараюсь сделать это кратко.

Для начала напомним, что — я подчеркиваю — наш призыв не касается вопросов политики. Будь иначе, я не взял бы на себя смелость об этом говорить. Я не политик, мои склонности и убеждения далеки от стремления выступать с высоких трибун, и если я здесь оказался, то только под давлением обстоятельств и потому, что иногда именно так понимаю свое писательское ремесло. Впрочем, в том, что касается алжирской проблемы, у меня, особенно по мере того, как ускоряются

события и растет взаимное недоверие, больше сомнений, чем уверенности. Единственное, что побуждает меня высказаться на данную тему, — это то, что я переживаю происходящее в Алжире как свою личную трагедию и не могу радоваться ни одной смерти ни с одной стороны. На протяжении двадцати лет, располагая скромными средствами, я делал все, чтобы способствовать установлению согласия между двумя нашими народами. Наверное, можно посмеяться над проповедником примирения, которому сама история показывает, как два любимых им народа сталкиваются в смертоносной взаимной ярости. Но самому ему не до смеха. Наблюдая за этой катастрофой, он думает об одном — как избавить свою страну от лишних страданий.

Следует также добавить, что люди, взявшие на себя инициативу поддержать этот призыв, выступают не как политики. В их числе есть представители видных религиозных семейств, пожелавшие, в полном согласии со своим высоким призванием, исполнить долг человечности. Среди них есть также люди, которых ничто — ни профессия, ни внутренний настрой — не побуждало участвовать в публичной деятельности. Большинству из них вполне хватало своей

работы, полезной обществу, чтобы наполнить смыслом их жизнь. Они могли бы, как многие другие, остаться в стороне и считать потери, время от времени печально вздыхая. Но они решили, что продолжать строить, преподавать и творить можно только в условиях щедрой жизни, а не в царстве кровавой ненависти. Подобное решение, чреватое серьезными последствиями и обязательствами, не дает им никаких особых прав, кроме одного: права потребовать, чтобы остальные задумались над тем, что они предлагают.

Наконец, пора сказать, что мы не стремимся добиться от вас политического участия. Если бы мы ставили вопрос таким образом, то рисковали бы не получить согласия, в котором нуждаемся. Мы можем придерживаться разных точек зрения на необходимость принятия тех или иных решений и даже на методы их принятия. Снова сталкивать сто раз определенные — и искаженные — позиции в настоящий момент означало бы только увеличивать груз оскорблений и ненависти, под которым барахтается, задыхаясь, наша страна.

Но нас объединяет, по крайней мере, одно — это любовь к нашей общей земле и тревога за нее. Тревога за будущее, которое с каждым днем становится все менее ясным; страх перед опас-

ностью тупиковой борьбы, перед уже заметной и более серьезной экономической дестабилизацией, грозящей обрести такой размах, что не найдется ни одной силы, способной в обозримое время позволить Алжиру снова подняться.

Именно к этой тревоге мы обращаемся, особенно в лице тех, кто уже выбрал свой лагерь. Ведь даже у самых решительных среди них, готовых броситься в гущу схватки, я знаю, остается что-то, что не приемлет убийства и ненависти, что мечтает о счастье Алжира.

К этой доле в каждом из вас, французов или арабов, мы обращаем свой призыв. Тем, кто не желает, чтобы эта великая страна раскололась надвое и без руля и ветрил направилась к гибели, мы, не вспоминая об ошибках прошлого и тревожась только о будущем, хотим сказать, что сегодня возможно прежде всего объединиться по этому конкретному пункту, а затем спасти человеческие жизни и подготовиться к созданию более благоприятной для разумной дискуссии атмосферы.

Скромность этой цели и одновременно ее большое значение должны, на мой взгляд, заслужить вашу широкую поддержку.

О чем идет речь? О том, чтобы арабское движе-

ние и французские власти, не вступая в контакт и не принимая на себя никаких обязательств, выступили с заявлением, согласно которому гражданское население, пока длятся волнения, будет в любом случае пользоваться защитой и уважением своих прав. Для чего нужна эта мера? В первую очередь, и я не слишком на этом настаиваю, потому что, как уже сказал, этого требует простая человечность. Каковы бы ни были давние и глубокие причины алжирской трагедии, факт остается фактом: ничто не может служить оправданием гибели невинного человека. На протяжении истории люди, не способные предотвратить войну, старались смягчить ее последствия. Какими бы ужасными и отвратительными ни были последние мировые войны, организациям, действовавшим на основе солидарной помощи, все же удалось разорвать окружающий мрак слабым лучом сочувствия и не позволить нам впасть в полное отчаяние относительно человеческой природы. Это становится тем более необходимым, если речь заходит о схватке, имеющей все признаки братоубийственной бойни, когда во мраке смятения солдаты уже не различают, кто перед ними — мужчина или женщина, противник или рабочий. С этой точки

зрения, даже если наша инициатива спасет хотя бы одну жизнь, она уже будет не напрасной.

Но у нее есть и другие оправдания. Каким бы темным ни рисовалось нам будущее Алжира, оно небезнадежно. Если каждый, араб или француз, постарается задуматься о резонах противника, могут появиться по меньшей мере признаки плодотворной дискуссии. Но если каждый из алжирских народов, обвиняя другого в том, что он начал первый, сочтет своим долгом наброситься на него в приступе ксенофобского бреда, то всякая надежда на согласие будет окончательно утоплена в крови. Не исключено, и в том самая большая наша тревога, что мы движемся к этому ужасному исходу. Но пока этого не произошло — и не должно произойти, — все мы, арабы и французы, отвергающие разрушительное безумие нигилизма, в последний раз обращаемся к миру с призывом к разуму.

Именно разум служит доказательством того, что, по крайней мере, по этому пункту французская и арабская солидарность осталась незыблемой — в смерти и в жизни, в разрушении и в надежде. Чудовищный лик этой солидарности проявляется в адской диалектике, согласно которой то, что убивает одних, убивает и других,

когда каждый обвиняет другого и оправдывает собственное насилие насилием противника. Тогда вечная распря вокруг того, кто первый начал, теряет смысл. Два народа, одновременно и похожие один на другой, и разные, но в равной мере достойные уважения, не сумевшие ужиться рядом, яростно обрекают себя на общую гибель.

Однако существует и сообщество надежды, служащее оправданием нашему призыву. Оно опирается на действительность, против которой мы бессильны. На этой земле живут на протяжении столетия миллион французов и на протяжении веков — миллионы мусульман, арабов и берберов; здесь действует множество влиятельных религиозных общин. Эти люди должны жить вместе, на том перекрестке дорог и рас, куда поместила их история. Они на это вполне способны, но при условии, что каждый из них по собственной воле сделает несколько шагов навстречу другому. Тогда наши различия будут не противопоставлять нас друг другу, а помогать нам. Что касается меня, то в данном случае, как и во всех остальных, я верю только в различия и не верю в единообразие. Прежде всего потому, что первые представляют собой корни древа свободы, живительные соки созидания и

культуры, и, если их обрубить, дерево засохнет. Тем не менее мы стоим друг против друга, словно охваченные параличом, понимая, что выход из него возможен только путем краткого и бурного приступа насилия. Борьба приобрела непримиримый характер, подняв с каждой стороны волну неудержимой злобы; страсти настолько накалены, что никакие договоренности невозможны.

«Обсуждать больше нечего», — вот возглас, убивающий всякую надежду на будущее и на жизнь. Отныне начинается слепая схватка, в которой француз не желает видеть араба, даже если понимает, что требования последнего на уважение своего достоинства справедливы; точно так же араб не желает видеть француза, даже если понимает, что и алжирские французы имеют право на безопасную и достойную жизнь на нашей общей земле. Оглушенный гневом и ненавистью, никто не желает слушать другого. Любое предложение, на что бы оно ни было направлено, вызывает недоверие, мгновенно искажается и становится неосуществимым. Вокруг нас постепенно стягивается запутанный клубок старых и новых обвинений, застарелой мести, неутоленных обид, подпитывающих одна другую, как в многолетних семейных конфликтах, когда взаимные претен-

зии копятся на протяжении поколений, так что даже самые неподкупные и человечные судьи уже не в состоянии разобраться, на чьей стороне правда.

Разрешение подобной ситуации с трудом поддается воображению, и надежда на союз французов и арабов, на мирный и созидательный Алжир тускнеет с каждым днем.

Если мы хотим немного поддержать эту надежду — хотя бы до того дня, когда станет возможной осмысленная дискуссия, — если мечтаем, чтобы у этой дискуссии появился шанс на поиск приемлемого решения на основе взаимности и понимания, мы должны воздействовать на сам характер конфликта. Мы слишком скованы масштабом драмы и сложным комплексом бушующих вокруг нее страстей, чтобы рассчитывать, что нам удастся прямо сейчас остановить враждебные действия. Это потребовало бы, чтобы каждый из нас занял четкую политическую позицию, что в настоящее время еще больше разделило бы нас.

Но мы можем, по крайней мере, воздействовать на самые отвратительные аспекты этой схватки и, не пытаясь изменить существующее положение, предложить отказаться от того, что делает

ее столь ожесточенной, — от убийства невинных жертв. Тот факт, что сегодня здесь собрались и французы, и арабы, одинаково обеспокоенные перспективой свершения непоправимого и обрушения в необратимое, дает нам серьезные основания надеяться, что мы достучимся до обоих лагерей.

Если бы появился шанс, что наше предложение будет принято — а такой шанс есть, — то мы не только спасли бы бесценные жизни, но и восстановили бы благоприятную для здоровой дискуссии атмосферу, не отравленную абсурдной непреклонностью. Мы подготовили бы площадку для более справедливого и сложного понимания алжирской проблемы. Благодаря этой частичной разморозке мы смогли бы надеяться, что однажды монолитный блок ненависти и безумных требований, в который превратился каждый из нас, будет разрушен. Тогда слово возьмут политики, и каждый снова получит право защищать свои убеждения и объяснять, чем он не похож на других.

Во всяком случае, это тот узкий вопрос, по какому мы могли бы для начала объединиться. Любая более широкая платформа пока обернется для нас дополнительным полем битвы. Мы должны

набраться терпения.

Но по зрелом размышлении я не верю, что найдется хотя бы один француз или араб, который откажется поддержать эту ограниченную, однако чрезвычайно важную акцию. Для большей убедительности давайте попробуем представить, что произойдет, если эта инициатива, несмотря на все предосторожности и узкие рамки, в которые мы ее заключаем, провалится. Возникнет окончательный разрыв, разрушение последней надежды, и наступит такая беда, какую мы даже не в состоянии вообразить. Те из наших отважных арабских друзей, кто сегодня пришел на эту встречу на нейтральной территории, подвергаемой угрозам с двух сторон, кто с душевной мукой и огромным трудом противостоит эскалации, будут вынуждены уступить грубой силе и покорятся неизбежности, уничтожающей любую возможность диалога. Прямо или косвенно, но они вступят в войну, хотя могли бы оставаться сторонниками мира. Вот почему в интересах каждого француза помочь им избежать этого неотвратимого исхода.

Точно так же в интересах умеренных арабов помочь нам избежать другой неизбежности. Если нас постигнет неудача и мы продемонстрируем

свое бессилие, французы, придерживающиеся либеральных взглядов и верящие в мирное сосуществование французов и арабов, в то, что оно гарантирует защиту прав тех и других, в то, что только оно способно спасти народ этой страны от катастрофы, не посмеют открыть рта.

Вместо широкой общности, о какой они мечтают, они будут вынуждены присоединиться к той единственной реально действующей силе, способной поддержать их, то есть к Франции. В этом случае и мы, в свою очередь, из-за своего молчания или умышленного заявления будем вовлечены в войну. Я не могу для иллюстрации этой двойной эволюции, пугающей и требующей от нас срочных действий, говорить от имени наших арабских друзей. Но я свидетельствую, что она возможна и во Франции. Так же, как здесь я почувствовал недоверчивость арабов к любым предложениям со стороны, во Франции, и вы должны об этом знать, тоже растут подозрительность и сомнения, и велик риск, что они распространятся шире, если французы, все еще напуганные продолжением войны в Эр-Рифе

после возвращения султана[106] и оживлением партизанского движения в Тунисе[107], в результате непримиримой схватки придут к выводу, что цель этой войны — не только восстановление справедливости по отношению к одному из народов, но и осуществление его международных амбиций — за счет Франции и ценой ее окончательного разорения. Тогда многие французы начнут рассуждать так же, как большинство арабов, если, утратив всякую надежду, смирятся с неизбежным. Вот как будут звучать эти рассуждения: «Мы французы. Тот факт, что наш противник сражается за правое дело, не заставит нас признать, что Франция и ее народ, достойный величия, не правы. Вы не добьетесь от нас, чтобы мы восхваляли любой национализм, кроме французского, и отпускали все грехи, кроме грехов Франции. Мы доведены до крайности и поставле-

---

[106] Примечания: 106

Несмотря на возвращение из изгнания короля Марокко Мухаммеда V и подписания в ноябре 1955 г. в Ла-Сель-Сен-Клу соглашений о ликвидации французского протектората, в горном районе Эр-Риф вспыхнуло восстание. — *Прим. изд.*

[107] Примечания: 107

После подписания соглашений 3 июня 1955 г. о предоставлении Тунису автономии он выступил с требованием независимости. В этот период, отмеченный противостоянием сторонников будущего президента Туниса Бургибы и одного из лидеров движения за освобождение Туниса Салаха бен Юсефа, заметно повысилась активность партизанских группировок.

ны перед выбором, и наш единственный выбор — это наша собственная страна».

Тогда, приводя друг другу одни и те же аргументы, но с разным зна́ком, наши народы окончательно разойдутся, а Алжир на долгие годы превратится в руины, хотя еще сегодня хватило бы простого желания подумать, чтобы изменить ход событий и предотвратить наихудший сценарий.

Такова грозящая нам двойная опасность, ставка в навязанной нам смертельной игре. Или нам удастся договориться хотя бы в одном, объединиться и уменьшить размеры бедствия, тем самым способствуя поиску удовлетворительного решения, или мы останемся разобщенными, никого не сможем переубедить, и этот провал определит наше будущее. Вот чем объясняется наша инициатива и ее неотложность. Вот почему мой призыв носит столь настоятельный характер. Если бы в моей власти было дать право голоса молчанию и тревоге каждого из нас, именно им я бы к вам обратился. Что до меня, то я страстно полюбил эту землю, на которой родился, получил от нее все, что позволило мне стать собой. Я никогда не отделял себя от населяющих ее людей, к какой бы расе они ни принадлежали, и считал

нас друзьями. Я пережил и разделил с ними все их многочисленные беды, но этот край навсегда остался для меня землей счастья и творческой энергии. Я не могу смириться с тем, что она надолго превратится в землю горя и ненависти.

Я знаю, что великие исторические трагедии часто завораживают людей своим ужасным ликом. Они замирают перед ним, не способные решиться ни на что, кроме ожидания. Люди стоят и ждут, пока однажды их не поглотит Горгона. Я хотел бы, напротив, разделить с вами свою убежденность в том, что этот морок можно разрушить, что наше бессилие — не более чем иллюзия, что порой хватает силы духа, ума и мужества, чтобы посрамить и опрокинуть судьбу. Нужна только воля — но не слепая, а твердая и мудрая.

Мы слишком легко поддаемся неизбежности, соглашаемся верить, что кровь способна двигать историю, а сильный всегда побеждает слабого. Наверное, рок действительно существует. Но задача людей — не склоняться перед ним и не принимать его законов. Если бы в далекой древности люди склонялись перед роком, мы до сих пор жили бы в доисторические времена. Задача людей, обладающих культурой и верой, не в том, чтобы дезертировать с полей исторических

сражений, но и не в том, чтобы поддерживать их жестокость и бесчеловечность. Она в том, чтобы помочь человеку выстоять против всего, что его угнетает, и вырваться на свободу, преодолев роковую неизбежность.

Только при этом условии история действительно движется вперед, то есть созидает новое. В остальных случаях она повторяется, и из ее окровавленной пасти вырывается одно и то же нечленораздельное злобное рычание. Сегодня мы слышим его, но тем не менее перед нашим веком открываются другие перспективы. Мы практически устраиваем дуэли на ножах, тогда как мир мчится в будущее на скорости сверхзвуковых самолетов. В один и тот же день газеты сообщают о наших ужасающих провинциальных стычках и о создании европейского атомного агентства. Уже завтра, если Европа сумеет разрешить свои внутренние противоречия, на континент хлынут потоки богатств, которые доберутся и сюда, превратив наши проблемы в воспоминание, а нашу ненависть — в пережиток прошлого.

Ради этого будущего, пока трудно вообразимого, но близкого, мы должны сплотиться и стать плечом к плечу. Особенно ярко весь удручающий абсурд переживаемой нами трагедии проявля-

ется в том, что ради приближения перспективы мирового масштаба сегодня мы должны добиться хотя бы объединения и, не претендуя ни на что большее, просто потребовать, чтобы в одном одиноком уголке мира перестали гибнуть невинные люди. Какой бы трудной и неблагодарной ни была наша задача, мы обязаны взяться за нее со всей решимостью, чтобы однажды заслужить право жить свободными людьми, то есть такими, которые не желают ни сеять страх, ни существовать под гнетом страха.

Познань

1956

В 1956 году общественно-политический климат в Польше пошатнулся. Условия жизни рабочих металлургических заводов в Познани постоянно ухудшались, тогда как нормы выработки увеличивались. После бесплодной попытки переговоров 28 июня началась забастовка. На улицы вышло более 100 тысяч человек, которые атаковали административные здания. Вскоре министр обороны Константин Рокоссовский ввел в город войска, утопившие восстание в крови: пятьдесят человек были убиты, сотни получили ранения. У нас нет никаких доказательств того, что Камю когда-либо публично выступал с этой речью. Ее текст не публиковался при жизни автора, но редакция решила включить его в настоящее издание.

Лидер международной коммунистической организации, по случаю назвавший себя профсоюзным деятелем, заявил, что восстание в Познани было инспирировано из-за рубежа. До сих пор

этот политический гений, в сущности, не говорил ничего такого, что не мог бы сказать любой буржуазный журналист, рассуждая о рабочих или антиколониальных выступлениях, нарушающих его представления о счастье. Однако его аргументация заслуживает нашего пристального внимания. В нормальной стране, сказал он, рабочие, выдвигая свои требования, не нападают на полицейские участки. Это тонкое замечание вызывает удивление. Действительно, в нормальной стране свобода профсоюзов позволяет рабочим вести мирную борьбу за удовлетворение своих требований. Но там, где не существует права на забастовку, где трудовое законодательство одним росчерком пера уничтожило плоды столетия профсоюзных завоеваний, а правительство урезает рабочим зарплату, которой и без того едва хватает на обеспечение минимально приемлемого уровня жизни, что им остается, кроме гневного крика?

Нет, мы не считаем нормальным режим, при котором рабочий вынужден выбирать между нищетой и смертью, и те, кто издалека или с близкого расстояния, с предосторожностями или без них, клевещет на мучеников Познани или подвергает их критике, тем самым окончатель-

но исключают себя из сообщества свободных людей и позорят революцию, какую якобы защищают. Юзеф Циранкевич[108], некоторыми изданиями представленный как мягкий либерал и действительно не скупящийся на правильные слова, пока его подчиненные жестко разгоняют рабочих, тоже, к несчастью, высказался вполне определенно, объявляя о начале репрессий. Тот, кто поднимает руку против народа, заявил он, может быть уверен, что она будет отрублена. Если подобное наказание действительно станет применяться, как пообещал председатель Госсовета Польши, то нет никаких сомнений, что и его страной, и другими вскоре будут управлять штабы, сплошь состоящие из одноруких инвалидов. Потому что эти правители и чиновники не просто подняли руку на свой народ, они нанесли ему удар и утопили его в крови. Но кровь рабочих никому не приносит счастья! Испуганные тираны, стреляющие в людей и невпопад лопочущие оправдания, сегодня образуют единое и вполне сознательное сообщество. Не сомневайтесь, они прекрасно понимают, что виновны!

Вот почему отношение к случившемуся юго-

[108] Примечания: 108

Юзеф Циранкевич (1911–1989) — глава правительства ПНР в 1947–1952 и 1954–1970 гг.

славского правительства и его официальной прессы не вызывает ничего, кроме негодования. Оскорбляя клеветой жертв Познани, югославское правительство отдает дань почтения Сталину. Оно обмануло ожидания тех, кто все-таки ему доверял, и опорочило себя в глазах свободных левых движений. Вместе с тем вся эта клевета, как и словесные ухищрения, на которые пускаются наши прогрессивные деятели, свидетельствует лишь о том, что мы и так знаем. Она говорит нам о том, что сегодня реакция может располагаться и слева. Во всяком случае, это так и было бы, если бы жертвы польских рабочих и чувство солидарности, которое они всколыхнули в мире, среди людей, похожих на тех, что собрались в этом зале, не служили достаточным доказательством смелости и чести рабочего движения. Но эти деятели исключили себя из рабочего движения и лишились его чести, потому что, глядя на то, как труженики, тесно сомкнув ряды, идут на танки, требуя хлеба и свободы, они не придумали ничего лучше, чем назвать этих мучеников фашистами и высказать целомудренное сожаление, что тем не хватило терпения молча умереть от голода, пока режим не соизволит, как они выражаются, либерализоваться.

Разумеется, я, со своей стороны, остерегусь хотя бы в какой-то мере призывать людей к бунту и борьбе, в которой сам не участвую. Но эти люди восстали, не в силах терпеть унижение, и были убиты. Я сам себя презирал бы, если бы позволил себе малейшую сдержанность и не высказал уважения к их жертве и своей абсолютной солидарности с ними. Конечно, они не нуждаются в наших приветствиях. Они нуждаются только в том, чтобы повсюду, где царит многоголосая свобода, их крик был повторен, их отчаяние подхвачено и показано всему миру, чтобы все узнали об их стремлении покончить с этим обманом, согласно которому они якобы добровольно принесли в жертву свою свободу, чтобы накормить хлебом всех. Правда заключается в том — и они громко крикнули об этом, — что у них нет ни хлеба, ни свободы, тогда как они не хотят и не могут обходиться без того и другого. Они, как и все мы, знают, что не бывает одного без другого, а раб, лишенный свободы, получает кусок хлеба только по милости господина.

На протяжении последних месяцев у нас на глазах происходит окончательное крушение мифа. Сегодня мы с печалью признаем, что были правы, отказываясь считать режимы Восточной

Европы революционными и пролетарскими. Мы действительно глубоко опечалены. Кому придет в голову радоваться, что он был прав, рассказывая о мучениях миллионов людей, страдающих от нищеты и угнетения? Сегодня торжествует ужасная правда, и миф разлетается осколками. Но мы знаем, что он годами туманил ум и совесть европейцев. Еще и сегодня, когда вспыхнул свет, эти слепцы будут утверждать, что вокруг тьма. Но теперь им станет труднее это делать. Рабочие Познани нанесли последний удар по давнему торжеству циничной лжи. Огни польского восстания озарили бедственный упадок преданной революции. Сегодня поддержку предателей революции уже нельзя объяснить слепотой или наивностью. Ее можно объяснить только соучастием.

Но мы никогда не встанем в ряды таких соучастников! Мы также не присоединимся к рядам торжествующих фарисеев. Победа правды оплачена огромным числом погибших и слишком большой кровью, чтобы мы воспринимали ее иначе, чем с мучительной решимостью. Еще и сегодня совершаемый вдали от наших глаз расстрел безоружных рабочих, направленный на спасение остатков умирающих режимов, вызывает в нас, долго терпевших ложь, только ужас и боль. Но

гибель этих отчаявшихся людей требует, чтобы мы еще раз принесли клятву верности. Верности слову, которое они выкрикнули в лицо угнетателям; верности слову, обратившему в свою веру даже солдат; верности слову, которое не сдалось ни перед какими репрессиями и не поверило обману; верности вечной свободе, непобедимой и священной. Да, все, что мы можем, это ответить издалека на отчаянный крик рабочих Познани и сделать так, чтобы он был слышен во всем мире. Но мы должны без устали повторять его, чтобы он никогда не затих. Свобода или варварство — вот урок, который мы усвоили за долгие годы истории и снова усваиваем, глядя на эту трагедию. Сделать выбор нетрудно. Мы выберем свободу, а не старое и новое варварство, и выберем ее раз и навсегда, до самого конца, чтобы не потерять уважение восставших рабочих все еще угнетенной Польши.

Партия свободы. Приветственная речь в честь Сальвадора де Мадарьяги

1956

30 октября 1956 года в Париже прошла демонстрация в честь 70-й годовщины со дня рождения испанского интеллектуала Сальвадора де Мадарьяги (1886–1978), организованная комитетом, в который вошли многие выдающиеся французские и зарубежные деятели культуры, в том числе Эдуар Эррио[109], Эдуардо Сантос, Робер Шуман[110], Поль-Анри Спаак[111], Виктория Окам-

---

[109] Примечания: 109

Эдуар Эррио (1872–1957) — французский государственный и политический деятель, лидер партии радикалов и радикал-социалистов, писатель, историк, публицист.

[110] Примечания: 110

Робер Шуман (1886–1963) — французский политик, один из основателей Европейского союза.

[111] Примечания: 111

Поль-Анри Спаак (1899–1972) — бельгийский государственный и политический деятель, один из инициаторов послевоенной европейской интеграции.

по[112], *Пабло Казальс*[113], *Карл Ясперс*[114] *и Андре Мальро*[115]. *Сальвадор де Мадарьяга, занимая пост министра просвещения, затем — министра юстиции (1931–1939), в начале гражданской войны представлял Испанию в Лиге наций, но после прихода к власти Франко был вынужден эмигрировать (в Англию, затем в Мексику и в США). Речь Камю, с которой он выступил на мероприятии, была опубликована в апреле 1957 года в журнале «Новый мир» (Monde nouveau) под названием «Партия свободы».*

Отдавая дань уважения человеку, которым все мы восхищаемся и которого любим, я хотел бы привести одну цитату. Уверен, она найдет отклик в сердцах тех, кто сегодня собрался здесь, и выразит нашу гордость за судьбу и призвание

---

[112] Примечания: 112

Виктория Окампо (1890–1979) — аргентинская писательница, издатель, общественный деятель.

[113] Примечания: 113

Пабло Казальс (1876–1973) — каталонский виолончелист, композитор, дирижер, общественный деятель.

[114] Примечания: 114

Карл Ясперс (1883–1969) — немецкий философ, психолог, психиатр, один из представителей экзистенциализма.

[115] Примечания: 115

Андре Мальро (1901–1976) — французский писатель, культуролог, участник Сопротивления.

нашего друга Сальвадора де Мадарьяги. Слова, 80 лет назад произнесенные Ницше, уже тогда были обращены к духу свободы: «Чтобы иметь возможность говорить правду, выбирай изгнание»[116]. Наверное, не всегда мы свободны в своем выборе изгнания. Но мы убеждены, что для того, чтобы оставаться жить в изгнании, принимая эту тяжкую долю, нужны как минимум любовь к истине и к свободе.

Ничто, кроме этой двойной страсти, не может служить лучшей характеристикой Сальвадора де Мадарьяги — при условии, что мы добавим к данному определению, что он сумел доказать это всей своей жизнью, с изяществом и юмором, которые мы так в нем ценим и которые у многих достойных людей считаются признаками приличия. Но, какой бы приличной ни выглядела его страсть к истине, она не остается менее непокорной; этот вежливый борец, и мы это знаем, — настоящий воин. Это не значит — и Сальвадор де Мадарьяга не позволит мне покривить душой, — что в результате его творчества мы вправе ожидать готовой и аккуратно перевязанной ленточкой правды. Но мы видим здесь постоянное стрем-

[116] Примечания: 116
Десять заповедей свободного духа. Посмертный фрагмент (1986).

ление к правде, осмотрительный и дерзкий порыв духа, отказывающегося выбирать слова, отвергающего интеллектуальный комфорт и признающего только голую очевидность. Когда автор такого количества пронзительных и мудрых книг предлагает нам ту или иную идею, то или иное решение, мы можем быть уверены, что он не обращался за ними к какой-нибудь партии или церкви.

Как и множество выдающихся испанских мыслителей и вопреки распространенному мнению (однажды один глупец заявил, будто испанской философии не существует, и сразу нашлась сотня умных людей, подхвативших этот тезис), он относится к числу тех редких наших современников, кто имеет законное право носить звание философа. Несмотря на свою энциклопедическую культуру, он не считает, как наши официальные мыслители, что философия заключается в том, чтобы изучать историю философии. Очевидно, он понимает, что философия состоит в том, чтобы напрягать мысль для поиска секретов мира и одновременно правил поведения, стараться проживать жизнь в согласии с собственными мыслями и одновременно правильно анализировать свою жизнь и время. Отсюда следует, что

этот искатель истины является также одним из немногих, кто способен свидетельствовать об истине. Он готов защищать то, во что верит, и если он посвящает одну половину жизни уединенным размышлениям о человеке своего времени, то другую ее половину — служению этому человеку. Поэтому я суммирую сказанное, подчеркнув, что в его лице мы чествуем не просто литератора, а аристократа от литературы.

Вместе с тем я хотел бы успокоить нашего друга и сказать, что не собираюсь осыпать его похвалами в академическом стиле. Мои намерения не так торжественны, но более серьезны. Вас уже поздравили, даже в музыке, с 70-летием со дня рождения и отдали вашему творчеству дань уважения, какого оно заслуживает. Позвольте сорокалетнему человеку просто объяснить, почему, при всем уважении и почтении к вам, он считает вас своим товарищем по борьбе.

Уверен, что эти слова вас не удивили. Но, если они вас все же удивляют, я прошу вас принять во внимание состояние нашего сообщества интеллектуалов, властителей дум, которые красуются повсюду и предлагают нам, изголодавшимся по правде и достоинству, насытиться несъедобной пищей. Тогда вам станет понятнее, в каком

одиночестве были обречены жить, нуждаясь в наставлении, многие из нас, если бы не горстка таких как вы людей не продолжала неустанно и поверх любых границ проповедовать дух права, долга и чести.

Скажем откровенно: мы не были избалованы великими образцами. Я даже не говорю об общем ослаблении воли и ума тех, кто должен был вести нас и представлять. Но, даже если ограничиться областью философии, люди моего поколения, вступившие в историческую жизнь одновременно с приходом к власти Гитлера и московскими процессами, прежде всего видели философов правого направления. Из-за ненависти к части народа они оправдывали порабощение его иностранной армией и полицией. Тогда интеллигенции тоже пришлось взять в руки оружие, чтобы выправить этот достойный сожаления подход.

Однако, едва воцарился мир и к нам вернулась честь, как против ума и свободы снова возник заговор, еще более опасный. Мы видели и продолжаем видеть мыслителей левого направления, которые из-за ненависти к уже другой части народа в наилучших выражениях оправдывают подавление права на забастовку, уничтожают

завоевания рабочих, поддерживают лагерный режим, запрет на свободу мысли и выражения и даже антисемитизм — при условии, что он будет прикрыт этикеткой гуманизма. Так холодный бред самобичевания за какие-нибудь десять лет превратил наших теоретиков нации и свободы в пылких прислужников наихудших тираний, расползающихся по миру, и, если назвать вещи своими именами, в поклонников заведенного порядка. Слишком многие из наших интеллектуалов и художников, охваченные этим бредом, стали напоминать девушек с постоялого двора в Перебеле[117], во все горло распевавших песни, чтобы заглушить крики несчастных путников, которых пытались зарезать гостеприимные хозяева. В общем, заговор против ума и свободы, прикрываемый историческим реализмом, ковался годами, и с ним приходилось бороться малыми силами.

На кого же, если не на таких людей, как вы, мы можем мыслью и делом опереться в этой нескончаемой и все длящейся борьбе? Своим примером и книгами вы помогли нам осознать, почему

[117] Примечания: 117

Постоялый двор в департаменте Ардеш, прозванный «красным» или «кровавым»; в 1805–1830 гг. здесь регулярно совершались убийства. — *Прим. изд.*

циничный реализм обладает столь страшной притягательностью. Он позволяет презирать и убивать, тогда как другой подход, ваш подход, требует понимания и постоянного усилия над собой. Вот почему интеллектуалы, не любящие напрягаться, отдают предпочтение первому. В конце концов, ум без воли много хуже блаженной глупости. Безволие охотно принимает любую беспощадную доктрину, и вот уже на наших глазах возник особый вид интеллектуала — черствого сердцем и готового во имя реализма оправдать любую жестокость.

Наблюдая за ними и слушая их гладкие речи, мы учились у вас терпению и твердости. Стекло тоже твердое, его может разрезать только алмаз, но стоит по нему ударить, и оно разлетается осколками. Значит, мы должны ждать и держаться, по возможности с улыбкой, чтобы остаться верными вашим урокам. В сущности, вы не позволили нам впасть в отчаяние от современной интеллигенции, своим примером показав, что жесткому интеллектуалу может противостоять твердый интеллектуал.

Когда мы читаем в наших специализированных журналах апологию ненависти, основанную на отрицании ее антипода — дрожащей от страха

мягкости, мы благодаря вам не чувствуем себя ни испуганными, ни мягкотелыми и можем ответить, что антиподом ненависти является не робкий идеализм, а великодушная справедливость. Затем следует лишь немного подождать, и мы услышим, как наши противники закричат, что действенная справедливость невозможна без толики ненависти. История, их пресловутая история, учит их, что рано или поздно справедливость растворяется в ненависти, как ручеек в океане. Но мухи, вьющиеся вокруг рыдвана истории, не способны изменить ее ход. Они жужжат, лгут, вопят, будто народ счастлив жить в рабстве, но потом настает день, на сей раз действительно исторический, когда в столице вспыхивает восстание; восставшие гибнут, но побеждают под знаменем свободы.

Да, многоуважаемый дон Сальвадор, именно такие люди, как вы, не позволили нам отчаяться, и, когда меня попросили обратиться сегодня к вам, я подумал, что это будет первое, о чем скажу. Все, кто чувствует, что создан для восхищения и любви, и кто рискует в пустыне современного мира погибнуть от голода и жажды, бесконечно обязаны тем, кто в эти бесславные времена показал им полный достоинства гордый образ человека

и мыслителя. Именно это искреннее признание я хотел бы вам выразить. Благодаря вам и еще нескольким людям у нас, вечных франтиреров, сегодня есть своя партия. Что это за партия? Это партия людей, которых сторонники жесткого тоталитаризма осыпают оскорблениями, когда мы просим их подписаться под требованиями спасти жизнь наших активистов. По этой характеристике вы легко поймете, что я говорю о либералах.

Но вы — и в этом ваша непохожесть на других — наполнили содержанием понятие либерализма, пребывавшее в агонии под грузом клеветы противников и трусости сторонников. Вы смогли сказать, что свобода заключается не в том, чтобы процветать или голодать, а в том, чтобы брать на себя гражданскую ответственность. Вы не присоединились к одному из сегодняшних конформистских течений и обозначили границы, за которыми жизненно важные для нас понятия теряют смысл. Вы неустанно повторяли, что свобода — ничто без власти, но власть без свободы — это не более чем мечта тирана; что денежные привилегии недопустимы, но не бывает общества без иерархии, а уравниловка представляет собой противоположность настоящей справедливости. Что власть легитимна только при условии, что

ее приемлет население, но что прямое народное голосование таит в себе зерно анархии или тирании. Что национализм — это бич нашего времени, а международное сообщество не способно обходиться без наций, но, чтобы подняться над нациями, прежде необходимо, чтобы они существовали.

Столь проницательная, бдительная, достоверная мысль, как и пример ее применения, свидетельством чему вся ваша жизнь, делает вас достойным наследником великой испанской традиции, которая пока остается за Пиренеями единственной живой. Вы тоже занимались историей, но видели в ней, согласно прекрасной формулировке Ортеги, «блистательную войну против смерти» и, следовательно, то особое место, где человек ведет неустанный бой против сил тьмы, во имя жизни и свободы.

В этом секрет вашей молодости и силы, потому что вы не дали никаким предубеждениям усыпить себя. Приведу всего один пример. Хотя мы с вами об этом и не говорили, но я понимаю, какие чувства вы испытываете сегодня по отношению к героическому восстанию венгерских студентов и рабочих. Но я также знаю, что вы посмеялись бы, услышав протесты Франко, явно навеянные Гер-

никой, против призыва иностранных войск для подавления вооруженного народного восстания. Вы посмеялись бы, как и я, презрительно. Мы действительно полностью солидарны с венгерским народом, восставшим против иностранного владычества. Но мы так же солидарны с угнетенным испанским народом и ждем его освобождения, украденного у него разъединенными нациями.

Недавно вы не без горечи писали о том, что негодование выдыхается. Это правда. Хуже того, оно организуется, приобретает регулярность и однонаправленность. Наши протестанты превращаются в паралитиков. Они сортируют жертв и от одних приходят в умиление, а других считают отвратительными. Вы же с присущей вам проницательностью обозначили один из недугов, которыми мы страдаем, и добавили: «Мы вынуждены искать надежду в самом своем отчаянии. Человечество пало так низко, что уже не может подняться». Но, говоря это сейчас, в момент нашего глубокого разочарования, вы забываете, что мы знаем вас и помним ваши уроки. Вы забываете, что борьба, которую вы и вам подобные вели на протяжении долгого времени, начинает приносить плоды. Позвольте же одному из ваших читателей в завершение этой речи

напомнить ваши же слова: «В битве человека за свет и свободу не бывает передышки». История не стоит на месте ни в счастье народов, ни в их горе. Сегодня, когда нам кажется, будто наши бедствия достигли пика, просыпается надежда, человечество появляется и свобода снова озаряет своими лучами захваченные в плен города!

Европа восстает из небытия в крови невинных жертв, заплатив ужасную цену, и мы, для кого каждая человеческая жизнь бесценна, не можем приветствовать ее возрождение криками радости. Но она возродится, и мы встретим ее со всей серьезностью. Она возродится на Западе и на Востоке, в Мадриде и в Будапеште, и у нее будет ваше лицо. Европа узнает своих учителей, потому что уже отвергла лжепророков.

«Земля продолжает вращаться», — сказал министр иностранных дел Шепилов[118], комментируя варварское вторжение русских войск. Она действительно продолжает вращаться, а вместе с ней тускнеет слишком долго торжествовавшая ложь и лучи правды рассеивают тьму. Рушатся искусственные миры, построенные на крови и

[118] Примечания: 118

Д. Т. Шепилов (1905–1995) — советский государственный и партийный деятель, министр иностранных дел СССР (1956–1957), главный редактор газеты «Правда». См. ниже «День, когда Кадар испугался», с. 322.

страхе, и те, кто прославлял их эффективность, растерянно молчат. Нам внушали, будто свобода не нужна и потому с неизбежностью исчезнет, но она способна за один день обратить в пыль тысячи ученых томов и армии, державшие ее в заточении. Свобода снова на марше, и миллионы людей снова понимают, что она — единственная закваска истории, смысл их жизни и хлеб, которым нельзя насытиться.

Если сегодня возрождается надежда, и к нам возвращается честь, знайте, что этим мы обязаны таким людям, как вы, всем тем, кто, не испытывая ни страха, ни ненависти, просто не сдался. Вот почему, завершая свое выступление, я не стану желать вам отдыха, хотя многие сочтут, что вы его заслужили. Вы нам еще нужны. Вы нам необходимы, чтобы мы могли продолжить начатое. Точно зная, что это отвечает порыву вашего молодого сердца, я желаю вам постоянной и гордой борьбы за свободу; я желаю вам свободы, какую вы и мы ставим превыше всего.

К этому неудобному пожеланию от себя добавлю выражение своей личной признательности и дружбы, в искренности которых вы не сомневаетесь. Разве можно забыть, что во времена, когда вокруг творилось столько предательств,

вы остались верны нашей общей цели? И разве мы сможем удержаться, чтобы сегодня вечером не повторить в ваш адрес слова, которые умирающий Тургенев написал Толстому: «Как я был рад быть вашим современником»[119]. Но мы — нечто большее, чем ваши современники (среди наших современников есть такие, на кого трудно положиться), мы делили с вами ваши тревоги и надежды, наши поражения были вашими поражениями, и нашим долгожданным освобождением мы будем обязаны вашему примеру и деятельности, которую вы продолжаете во имя нашей общей чести.

[119] Примечания: 119
Письмо от 11 июля 1883 г.

Обращение к французской молодежи в защиту Венгрии

1956

В октябре 1956 года в Венгрии возникло протестное движение, объединившее интеллигенцию, студенчество и рабочих и к 23 октября переросшее в народное восстание. 28 октября реформатор Имре Надь, вновь занявший пост премьер-министра, инициировал в стране процессы, направленные на демократизацию и освобождение от диктата Москвы. Секретарь Венгерской коммунистической партии Янош Кадар, поначалу поддержавший политику Надя, тайно сформировал свое правительство, от имени которого обратился за военной поддержкой к СССР. 4 ноября в Будапешт вошли советские танки. В результате подавления восстания погибло 2500 человек, 200 тысяч венгров бежали из страны. 16 июня 1958 года Имре Надь был казнен. 23 ноября 1956 года Ассоциация свободных французов организовала в Париже встречу в поддержку венгров. Камю получил на нее приглашение, но

не смог выступить сам и обратился к одному из членов Ассоциации, Мишель Дальбре, с просьбой зачитать текст его речи, приводимой ниже.

Мадемуазель!

Мне искренне жаль, что я не смог ответить на ваше приглашение. Я был тронут вашими доводами и той симпатией, которую вы мне выказали. Но, помимо моей нелюбви к публичным мероприятиям, я не в состоянии отвечать на поступающие со всех сторон просьбы о выступлениях ко мне как к свободному писателю. Кроме того, отказ принять участие в ряде других мероприятий затруднил мне возможность ответить согласием на ваше предложение. Наконец, мне хотелось бы в максимальной степени посвятить свое время осуществлению моей инициативы о призыве к европейским писателям через ООН[120].

Но все же мне не хотелось, чтобы во вторник меня совсем не было с вами. Поскольку вы обращаетесь к молодежной аудитории, вероятно, вы сможете сказать им то, что сказал бы я сам, присутствуй я на встрече, и что постараюсь сейчас

---

[120] Примечания: 120

В начале ноября 1956 г. Союз венгерских писателей выступил с радиообращением, призвав на помощь интеллектуалов всего мира. Альбер Камю ответил на него, 10 ноября 1956 г. напечатав в газете «Фран-Тирёр» текст, озаглавленный «За совместное обращение французских интеллектуалов к ООН». — *Прим. изд.*

изложить.

Единственное, что сегодня, после двадцати лет прямого и косвенного участия в нашей кровавой истории, я могу утверждать публично, это то, что высшей ценностью, тем безусловным благом, ради которого стоит жить и бороться, является свобода.

Людям моего поколения было примерно двадцать лет, когда к власти пришел Гитлер и разворачивались московские процессы. На протяжении первого десятилетия мы боролись сначала против гитлеровской тирании и правых политиков, поддерживавших его, а затем, еще десять лет — против сталинской тирании и софистики его защитников слева. Сегодня, вопреки постоянным предательствам и клевете, которой ее покрывают интеллектуалы разного калибра, свобода есть и остается единственным смыслом нашей жизни. Признаюсь, что в последние годы я едва не разочаровался в судьбе свободы. Боялся, что свобода, преданная теми, чьим долгом было ее защищать, попираемая нашими чиновниками на фоне молчаливого народа, окончательно умерла, вот почему мне порой казалось, что в наше время бесчестье покрыло собой все. Однако молодежь Венгрии, Испании или Франции, моло-

дежь других стран, доказывает нам, что это не так и что ничто на свете не способно победить — и никогда не победит — эту могучую и чистую силу, побуждающую людей и целые народы бороться за честь жить с гордо выпрямленной спиной. Все вы сейчас входите в историю нашего времени, не забывайте об этом. Не забывайте об этом никогда и ни при каких обстоятельствах. И если вы готовы честно обсуждать любые вопросы, не соглашайтесь с тем, что под сомнение — даже временно, даже на мгновение — может быть поставлена свобода духа, личности и народа.

Вы уже сейчас должны знать: если разум закован в цепи, труд подневолен, писателю затыкают рот, рабочего угнетают, а народ лишают свободы, то такой социализм никого не освобождает, лишь всех порабощает.

Пусть венгерская жертва, заставившая нас проглотить свой стыд и бессилие, хотя бы напоминает нам об этом. Так у нас будет меньше оснований обвинять во всех исторических грехах исключительно собственный народ. Мы перестанем требовать от него полной справедливости, на какую он только способен, и задумаемся о его выживании и свободе. Тогда вам не придется повторять пройденный нами путь, путь долгой

борьбы, в котором мы истратили все силы на поиск нужных слов и разоблачение лжи в бесконечных и бесплодных гражданских войнах. Ищите не то, что вас разобщает, а то, что объединит. Вряд ли вам удастся избежать одиночества, с которым трудно жить. Но, надеюсь, вы сумеете преобразовать эту страну, какую я люблю так же, как люблю свободу, и которой мы, несмотря на все ее бедствия, слабости и ошибки, продолжаем хранить верность. И в любом случае всегда и повсюду помните о том, что́ пережили мы, чтобы остаться верными свободе, ее правам и обязанностям, чтобы никто и никогда, ни один человек, как бы велик он ни был, и ни одна партия, как бы сильна она ни была, не посмели диктовать вам, что́ думать и как себя вести. Забудьте своих учителей, которые, как вы сейчас знаете, слишком много вам лгали; забудьте и других, тех, кто не сумел вас убедить. Забудьте всех учителей, устаревшие идеологии, умирающие концепции и обветшавшие лозунги, которыми вас еще пытаются пичкать. Не поддавайтесь шантажу ни справа, ни слева, и наконец, больше никому не позволяйте себя учить, кроме молодых борцов Будапешта, погибающих за свободу. Они не лгали вам, когда кричали, что единственное, за что

следует сражаться и умирать в свободной стране свободной Европы, — это свободный дух и свободный труд.

Вот о чем, мадемуазель, я хотел бы сказать во вторник вашей аудитории. Возможно, вы скажете это вместо меня. Примите уверения в моем глубочайшем к вам уважении.

Альбер Камю

День, когда Кадар испугался

1957

4 ноября 1956 года, после подавления венгерского восстания советскими войсками, которому способствовал Янош Кадар, он занял пост главы венгерского правительства и установил в стране режим пролетарского коммунизма, одобряемый Кремлем. 15 марта 1957 года, в день памяти о войне за независимость Венгрии от Австрийской империи 1848–1849 годов, ассоциация «Антифашистская международная солидарность» организовала в Париже, в зале «Ваграм», большое мероприятие в поддержку венгерского восстания и десятков тысяч венгерских беженцев. Альбер Камю, получивший приглашение выступить на встрече наряду с участниками восстания Дьёрдем Сабо и Балажем Надем, произнес приводимую ниже речь, которая была опубликована 18 марта 1957 года в журнале «Фран-Тирёр», а затем в качестве предисловия — в книге венгерского писателя Тибора Мераи «Будапешт. 23 октября 1956».

Венгерский министр Дьёрдь Марошан[121], чье имя звучит как программа, несколько дней назад заявил, что контрреволюция в Венгрии подавлена. В кои-то веки политик из окружения Кадара сказал правду. О какой контрреволюции может идти речь, если контрреволюционеры уже у власти? В Венгрии может быть только революция.

Я не принадлежу к числу тех, кто желает, чтобы венгерский народ снова взял в руки оружие и принял участие в обреченном на поражение восстании на глазах международного сообщества, от которого он не дождется ни аплодисментов, ни целомудренных слез и которое спокойно вернется к своим делам, как болельщики после воскресного матча. Но на этом стадионе уже слишком много убитых, и мы никого не можем призывать щедро проливать кровь, потому что это не наша кровь. Венгерская кровь слишком дорога́ Европе и свободе, чтобы мы не считали каждую ее каплю.

Но я также не принадлежу к числу тех, кто думает, будто можно достичь согласия, пусть принужденного, временного, с террористическим режимом, имеющим столько же прав именоваться

[121] Примечания: 121

Дьёрдь Марошан (1908–1992) был до 1962 г. важной фигурой в венгерском Политбюро. — *Прим. изд.*

социалистическим, сколько палачи Инквизиции — называть себя христианами. В этот памятный для свободы день я желаю, чтобы молчаливое сопротивление венгерского народа продолжалось, крепло и распространялось, озвученное нашими голосами с целью бойкота его угнетателей со стороны международного общественного мнения. Но, если это мнение будет высказано вяло или окажется чересчур эгоистичным, чтобы отдать дань справедливости народу-мученику, а наши голоса — совсем слабыми, тогда я пожелаю венгерскому сопротивлению продержаться до того дня, когда контрреволюционные государства под бременем собственной лжи и противоречий обрушатся повсюду в Восточной Европе.

Однообразные кровавые ритуалы

Речь на самом деле идет о контрреволюционном государстве. Как иначе назвать режим, вынуждающий отца доносить на сына, сына — требовать для отца высшей меры наказания, жене — свидетельствовать против мужа; государство, где донос возведен в ранг добродетели? Иностранные танки, полиция, повешенные двадцатилетние девушки, обезглавленные и лишенные голоса рабочие советы, снова виселицы,

изгнанные или брошенные в тюрьмы писатели, лживая пресса, лагеря, цензура, арестованные судьи, преступные законы и опять виселицы — это социализм? Это торжество свободы и справедливости?

Нет, нам хорошо известно, все это — однообразные кровавые ритуалы тоталитарной религии! Сегодня венгерский социализм либо сидит за решеткой, либо находится в изгнании. В государственных дворцах бродят вооруженные до зубов посредственности, тираны абсолютизма, которых приводит в бешенство само слово «свобода». Они неистовствуют, слыша правду, и вот тому доказательство: сегодняшний день, 15 мая, для всех венгров знаменующий торжество истины и непобедимой свободы, для Кадара стал бесконечным днем страха.

Между тем на протяжении долгих лет эти тираны с помощью западных сообщников, которых ничто и никто не побуждал к подобному рвению, прикрывали свои подлинные действия мощной дымовой завесой. Когда из-под нее что-то просачивалось наружу, они или их западные интерпретаторы объясняли нам, что через десяток поколений все наладится, а пока все дружно шагают в будущее; что депортированные наро-

ды напрасно устроили небольшую пробку на прекрасной дороге прогресса; что казненные и сами не против своей казни; что интеллигенция восторгается тем, что ей заткнули рот, потому что такова диалектика; наконец, будто народ счастлив работать за нищенскую зарплату, а если от него требуют трудиться сверхурочно, то это хорошо и правильно, с исторической точки зрения.

Увы, слово взял сам народ. Он заговорил в Берлине[122], в Чехословакии[123], в Познани[124] и, наконец, в Будапеште, и тогда интеллигенция, в свою очередь, вырвала кляп у себя изо рта, и те, и другие в один голос заявили, что они движутся не вперед, а назад, что убийства, депортации и порабощение не принесли никакой пользы и для выхода на правильную дорогу необходимо вернуться к истине и всем предоставить свободу.

С первым криком восставших свободного Будапешта все мудреные и недалекие философские конструкции, километры ложных рассуждений и

---

[122] Примечания: 122

См. выше «Лекция в зале «Мютюалите» [Календарь свободы: 17 июня 1953 г.], с. 205.

[123] Примечания: 123

Там же.

[124] Примечания: 124

См. выше «Познань», с. 300.

обманчиво привлекательных доктрин рассыпались в прах, и в глаза мира ударила правда, долго попираемая чистая правда.

Надменные учителя, даже не понимая, что оскорбляют рабочий класс, уверяли нас, будто народ прекрасно обходится без свободы, если дать ему хлеба. Тогда сам народ ответил им, что у него нет и хлеба, но, даже если бы он был, ему нужно что-то еще. Следующие слова написал не ученый профессор, а кузнец из Будапешта: «Я хочу, чтобы ко мне относились как к взрослому человеку, который хочет и может мыслить. Я хочу иметь возможность без страха высказывать свои мысли и хочу, чтобы меня слушали».

Что касается интеллигенции, которой внушали, что нет другой правды, кроме той, что служит интересам дела, то вот какую клятву она дала на могиле одного из своих товарищей, убитых ради этого самого дела: «Больше никогда, даже под угрозой смерти и пытки, даже во имя извращенно понятой любви к общему делу из наших уст не выйдет ничего, кроме правды». (Тибор Мераи на

могиле Ласло Райка[125].)

Эшафоту неведома либерализация

Отныне нам все ясно. Этот преследуемый народ — наш. Чем двадцать лет назад была для нас Испания, тем же сегодня становится Венгрия. Нас больше не интересуют тонкие нюансы, словесные ухищрения и мудреные рассуждения, которыми от нас все еще пытаются скрыть правду.

Соперничество между Ракоши[126] и Кадаром не имеет для нас никакого значения. Оба принадлежат к одной и той же породе. Если они чем-то и отличаются друг от друга, то только охотничьими трофеями — у Ракоши они богаче, но это ненадолго.

Но кто бы ни правил Венгрией — лысый убийца или гонимый, ставший гонителем, — для свободы страны это ничего не меняет. Мне очень

---

[125] Примечания: 125

Ласло Райк (1909–1949) — лидер венгерских коммунистов в годы Второй мировой войны. Обвиненный в шпионаже в пользу Тито, он был приговорен к смертной казни в рамках чисток, предпринятых по инициативе Матьяша Ракоши. Повешен 15 октября 1949 г. и реабилитирован в 1956 г. — *Прим. изд.*

[126] Примечания: 126

Матьяш Ракоши (1892–1971) — член Коммунистического интернационала; во время Второй мировой войны находился в России. Вернулся в Венгрию в 1945 г. и стал генеральным секретарем Венгерской коммунистической партии, оставаясь на этом посту до 1956 г. — *Прим. изд.*

жаль, что снова приходится выступить в роли Кассандры и разочаровать новые надежды наших непоколебимых собратьев: в тоталитарном обществе невозможна никакая эволюция. Террор если и эволюционирует, то к худшему; эшафоту неведома либерализация, а виселица не равнозначна терпимости. Нигде в мире никогда не было, чтобы человек или партия, добившиеся абсолютной власти, не пришли к абсолютному злоупотреблению властью.

Что, в первую очередь, определяет тоталитарное общество, правое или левое, это наличие лишь одной партии, а у нее нет никаких оснований стремиться к саморазрушению. Вот почему единственным обществом, способным на развитие и либерализацию, к которому мы должны относиться с критичной и одновременно деятельной симпатией, является общество с институционально установленным многообразием партий. Только оно позволяет разоблачать, а следовательно, и исправлять несправедливость и преступление. Только оно позволяет сегодня разоблачать гнусную практику пыток, в равной мере заслуживающую презрения и в Алжире, и в Будапеште.

Что защищал Будапешт

До сих пор одобряемая многими у нас идея, согласно которой партия, именующая себя пролетарской, может пользоваться особыми привилегиями, с исторической точки зрения, — это идея интеллектуалов, уставших от собственных преимуществ и собственной свободы. История никому не предоставляет никаких привилегий — их приходится завоевывать.

И не интеллигенции, как и не рабочим, восхвалять, даже в самой малой степени, право сильного и существующий порядок вещей. Истина заключается в том, что никто — ни отдельный человек, ни та или иная партия — не имеет права ни на абсолютную власть, ни на определенные привилегии в условиях постоянно меняющейся истории. Но, главное, привилегиями и никакими соображениями высшего порядка нельзя оправдать пытку или террор.

И здесь путь нам снова указал Будапешт. Побежденная и закованная в цепи Венгрия, которую наши лжереалисты сочувственно сравнивают с Польшей, где пока царит относительное равновесие, сделала для свободы и справедливости больше, чем любой другой народ за последние

двадцать лет. Но, чтобы этот урок усвоил Запад и убедил тех, кто привык закрывать глаза и затыкать уши, понадобились — и в этом наша боль — реки крови венгерского народа, и они уже высыхают в человеческой памяти.

Но постараемся хотя бы хранить верность Венгрии, как мы хранили ее Испании. В том одиночестве, в каком сегодня пребывает Европа, у нас есть всего один способ добиться этого — ни при каких обстоятельствах не предавать того, ради чего погибли венгерские товарищи, и ни при каких обстоятельствах не оправдывать, даже косвенно, их убийц.

Непоколебимое требование свободы и правды, единство рабочих и интеллигенции (которых у нас продолжают глупым образом и на радость тиранам противопоставлять), наконец, политическая демократия как необходимое, хотя и недостаточное условие экономической демократии, вот в защиту чего выступил Будапешт. Огромный восставший город тем самым напомнил Западной Европе о его забытой правде и величии. Он покончил с тем странным чувством неполноценности, от которого страдает большинство наших интеллектуалов и которое лично я категорически отказываюсь разделять.

Ответ Шепилову

Бесчисленны недостатки Запада, его преступления и ошибки вполне реальны. Но давайте не будем забывать, что мы — единственные, в чьей власти совершенствовать и раскрепощать дух свободы. Не будем забывать, что в то время, когда тоталитарное общество, следуя своим принципам, вынуждает друга доносить на друга, западное общество, несмотря на все его заблуждения, по-прежнему рождает породу людей, живущих по законам чести, способных протянуть руку помощи даже врагу, чтобы спасти его от несчастья или смерти.

Когда министр Шепилов смеет по возвращении из Парижа писать, что «западное искусство призвано разрушать человеческую душу и производить всевозможных карателей», пора ему ответить, что наши писатели и художники, по крайней мере, никогда никого не убивали и им хватило великодушия не обвинять теорию социалистического реализма в массовых расправах, оправдываемых или организованных Шепиловым и ему подобными.

Правда заключается в том, что у нас находится место для всего, даже для зла, даже для писате-

лей Шепилова, но также для чести, для жизни и свободы желаний, для экспериментов интеллигенции. Тогда как в сталинской культуре места нет ни для чего, кроме клятвы верности хозяину, серости и пропагандистских проповедей. К тем, кто в этом еще сомневается, обратили свой крик венгерские писатели, продемонстрировав, на чьей они стороне: сегодня они предпочитают молчать, но не лгать по приказу властей.

Нам трудно оставаться достойными подобной жертвы. Но мы должны постараться, забыв в наконец объединившейся Европе наши ссоры, осудив свои ошибки, множа наши творческие усилия и укрепляя солидарность. Тем, кто пытался нас унизить и внушить нам, будто история оправдывает террор, мы ответим своей истинной верой, которую, как теперь знаем, мы разделяем с венгерскими, польскими и даже русскими писателями, тоже вынужденными держать рот на замке.

Мы верим в то, что в мире одновременно с силами принуждения и смерти, очерняющими историю, поднимается мощное движение раскрепощения, именуемое культурой и поддерживаемое свободным творчеством и свободным трудом.

Наша повседневная задача и долговременный долг — вносить своей работой вклад в эту культуру, ничего из нее не вычеркивая, даже на короткий срок. Но самый высокий наш долг — личным участием до конца защищать от сил принуждения и смерти, откуда бы они нам ни грозили, свободу этой культуры, то есть свободу труда и творчества.

Венгерские рабочие и интеллигенция, на кого сегодня мы смотрим с бессильной печалью, осознали это и помогают понять и нам. Вот почему, если их беда — это и наша беда, то и их надежда — наша надежда. Вопреки нищете, изгнанию и опутавшим их цепям, они оставили нам королевское наследство, и его нам предстоит заслужить. Они завещали нам свободу, которой не выбирали, но однажды подарили нам!

Послание венгерским писателям в изгнании

1957

После кровавого подавления советскими войсками венгерского восстания в ноябре 1956 года многие представители интеллигенции были брошены за решетку и 200 тысяч венгров вынуждены покинуть страну. Альбер Камю поддерживал их в своих публичных выступлениях и предпринял ряд попыток обратиться к венгерскому правительству для защиты деятелей культуры, томившихся в венгерских тюрьмах. 4 ноября 1957 года, через год после кровавых событий в Будапеште, Ассоциация венгерских писателей в изгнании организовала встречу в Лондоне. Альбер Камю получил на нее приглашение, но не смог приехать и попросил историка Ференца Фейто, с которым в 1958 году будет работать над книгой «Правда о деле Надя»[127] *(1958), зачитать от его имени приводимое ниже обращение. Его текст был*

[127] Примечания: 127

Об Имре Наде см. выше «Обращение к французской молодежи в защиту Венгрии», с. 317.

опубликован в газете «Монд» 6 ноября 1957 года.

Мне хотелось бы просто выразить солидарность, на протяжении последнего года связавшую всех свободных интеллектуалов Запада с судьбой Венгрии.

Какой бы тягостной ни была мысль об одиночестве, в котором мы оставили умирать венгерских борцов и оставляем существовать выживших, происходящее сейчас в Европе объединение все-таки наполняет смыслом эту безнадежную борьбу.

У тоталитарных режимов нет лучших союзников, чем усталость и забвение. Поэтому очевидно, что нашими лозунгами должны стать память и упорство. Только упорство поможет Венгрии приблизить день освобождения.

Венгры не нуждаются в наших слезах и жалобах. Им нужно лишь, чтобы их крик был повторен повсюду, чтобы весь мир узнал об их желании покончить с подавляющей их ложью и отнесся к нему с уважением.

Мы до тех пор будем в долгу перед участниками октябрьского восстания, пока венгерской нации и венгерскому народу не будет возвращена свобода.

Сегодня эта клятва верности должна объеди-

нить нас всех.

Речь 10 декабря 1957 года[128]

Луи Жермену

Награда, которой удостоила меня ваша свободная Академия, вызывает у меня благодарность тем более глубокую, что я сознаю, насколько она выше моих личных заслуг. Каждый человек, в особенности художник, хочет, чтобы к нему пришло признание. Я тоже этого хочу. Но, узнав о вашем выборе, я не мог не сопоставить его значимость с тем, что я в действительности собой представляю. Да и может ли человек, еще почти молодой, чье единственное достояние — это его сомнения и книги, которые еще не все написаны, человек, привыкший жить в одиночестве работы или уединении дружбы, услышать без некоторого смятения о решении, разом выносящем его одного, без прикрытия, в круг резкого света? И с каким чувством к тому же может он принять эту честь, когда в Европе другие писатели, более значительные, принуждены к молчанию и когда его родная земля терпит нескончаемые бедствия?

---

[128] Примечания: 128

Из цикла «Шведские речи». Речь на торжественном банкете по случаю присуждения А. Камю Нобелевской премии.

Я испытал эту растерянность и это внутреннее смятение. Чтобы обрести покой, мне необходимо было как-то уладить счеты с чересчур щедрой судьбой. И поскольку я не мог счесть себя достойным ее, исходя лишь из собственных заслуг, я нашел опору в том, что поддерживало меня в самых трудных обстоятельствах на протяжении всей жизни: это мое представление об искусстве и о роли писателя. Позвольте мне в порыве признательности и дружбы изложить вам столь ясно, сколь мне удастся, в чем оно состоит.

Я не могу жить без своего искусства. Но я никогда не возносил его над всем миром. Напротив, оно необходимо мне именно потому, что ни от кого и ни от чего не отгораживается и позволяет мне, как художнику и человеку, жить общей жизнью со всеми людьми. Для меня искусство не забава одинокого творца. Для меня это способ тронуть как можно больше людей, создав наиболее емкую картину общих страданий и радостей. Искусство не позволяет художнику замыкаться в себе, оно отдает его в подчинение правде самой скромной и самой общей. И те, кто зачастую избирают судьбу художника, потому что ощущают себя непохожими на остальных, вскоре понимают, что им нечем будет питать свое искусство

и свою оригинальность, если они не признают собственного сходства с другими. Художник формируется в этом непрестанном движении от себя к другим и обратно, на полпути между красотой, без которой он не в силах обойтись, и человеческой общностью, от которой не может оторваться. Потому-то истинные художники не пренебрегают ничем, они считают своим долгом понимать, а не судить, и если им приходится делать выбор в нашем мире, то они делают его в пользу лишь такого общества, где, по великому выражению Ницше, станет править не судья, а творец, будь он труженик или интеллектуал.

Роль писателя поэтому неотделима от труднейших задач. Он по природе своей не может служить тем, кто сегодня делает историю, ибо служит тем, кто ее переживает. Иначе он теряет свое искусство и остается один. Никакие миллионные армии тирании не спасут его от одиночества, даже — и в особенности — если он согласится шагать с ними в ногу. Но молчание неизвестного узника, терпящего унижения где-то на другом конце света, способно вернуть писателя к людям — во всяком случае, когда писателю удается среди всех привилегий свободы помнить об этом молчании и посредством искусства наполнить

его звучанием.

Быть достаточно великим для такого призвания не дано никому из нас. Но во всех обстоятельствах жизни, безвестный или временно знаменитый, закованный в цепи тирании или свободный сегодня выражать свои мысли, писатель в состоянии обрести чувство общности с людьми. Оно наполнит его искусство смыслом, при условии, однако, что он согласен выполнять, насколько это в его силах, две миссии, которые и составляют величие его ремесла: служить правде и служить свободе. Поскольку его призвание — объединять как можно больше людей, он не может мириться с ложью и рабством, ибо там, где правят они, число одиноких людей стремительно растет. Каковы бы ни были наши личные слабости, благородство нашего ремесла всегда коренится в двух принимаемых на себя обязательствах, следовать которым нелегко: не лгать о том, что знаешь, и бороться с угнетением.

В течение двух с лишним десятков лет нашей сумасшедшей истории, пребывая, как и все мое поколение, в полной беспомощности и растерянности перед судорогами времени, я находил поддержку в смутном чувстве, что быть писателем сегодня — честь, ибо это обязывает, причем

обязывает не только писать. Меня, в частности, это обязывало нести, в меру моих сил и возможностей, бремя несчастья и надежды, разделяемых всеми, кто принимал на себя удары нашей общей истории. Люди моего поколения, родившиеся в начале Первой мировой войны, которым исполнилось двадцать, когда Гитлер пришел к власти и начались первые сталинские процессы, и которых потом, для завершения образования, жизнь поставила перед лицом войны в Испании, Второй мировой войны, перед лицом Европы, превращенной в континент пыток, тюрем, концлагерей, сегодня должны воспитывать сыновей и творить в мире, стоящем перед угрозой ядерного уничтожения. Никто, я полагаю, не может требовать от них оптимизма. И я даже думаю, что мы должны понять — не прекращая бороться с ними — заблуждения тех, кто от чрезмерного отчаяния забыл о чести и пустился во все тяжкие современного нигилизма. Но большинство в моей стране и в Европе отвергло нигилизм и устремилось на поиски разумного продолжения истории. Этим людям пришлось вырабатывать искусство жить в эпоху катастроф, чтобы возродиться заново и сражаться с открытым забралом против стремления к самоуничтожению, охватившего сегодня

наш мир.

Каждому поколению свойственно считать себя призванным переделать мир. Мое, однако, уже знает, что мир оно не переделает. Но его задача, быть может, более значительна. Она состоит в том, чтобы помешать миру исчезнуть. Получив в наследство занемогшую историю, эпоху упадка революций, смерти богов, взбесившейся техники и исчерпанных идеологий, время, когда посредственные властители могут легко уничтожить все, но уже не в состоянии никого убедить, а интеллект опустился до того, что сделался слугой ненависти и подавления, это поколение должно было, опираясь на одну лишь невозможность мириться с происходящим, хоть частично восстановить в себе и вокруг себя то, что сообщает достоинство жизни и смерти. Перед угрозой гибели мира, который наши великие инквизиторы могут в любую минуту превратить в царство смерти, оно понимает, что ему надлежит в безумном беге наперегонки со временем возродить между народами мир, который ни для кого не был бы рабством, примирить вновь труд и культуру и заново возвести мост согласия между людьми. Неизвестно, сможет ли оно когда-нибудь выполнить эту огромную задачу, зато известно, что

повсюду в мире оно уже сделало ставку на правду и свободу и готово, если понадобится, без ненависти умереть за них. Это поколение заслуживает признания и поддержки повсюду, особенно там, где оно приносит себя в жертву. Поэтому я хотел бы, не сомневаясь в вашем глубоком согласии, отнести оказанную мне честь на его счет.

Говоря о высоте писательского ремесла, я хотел бы одновременно сказать несколько слов и о том, что же такое писатель, не имеющий иных титулов, кроме тех, которые он делит с товарищами по борьбе, мучительно ранимый, но упрямый, несправедливый и страстно жаждущий справедливости, строящий свои произведения без стыда и гордыни на глазах у всех, вечно мечущийся между страданием и красотой и обреченный черпать в своей раздвоенной личности материал для творений, упорно возводимых на пути разрушительного движения истории. Можно ли ждать от него готовых ответов и красивых нравоучений? Правда таинственна, неуловима, ее вечно приходится завоевывать заново. Свобода опасна, трудна и упоительна. Мы должны идти к правде и к свободе, с трудом, но решительно продвигаясь вперед и заранее предвидя минуты слабости на столь длинном пути. Какой писатель, зная это, с

чистой совестью возьмет на себя смелость быть проповедником добродетели? Что же касается меня самого, то, должен признаться, я никогда не обладал названными мною достоинствами. Я никогда не мог отказаться от света, от радости бытия, от вольной жизни, к которой привык с детства. Но, хотя тяга ко всему этому была причиной многих моих ошибок и заблуждений, она помогла мне лучше понять свое ремесло, она помогает мне и сейчас инстинктивно держаться рядом со всеми теми, кто молчит и сносит навязанный им образ жизни лишь благодаря коротким проблескам свободного счастья или воспоминания о нем.

Теперь, когда не осталось неясности вокруг того, что я есть, чем я связан, каковы мои долги и моя трудная вера, мне проще выразить в заключение, что значит для меня высокая награда, которой вы меня удостоили, и сказать, что мне хотелось бы рассматривать ее как признание заслуг всех тех, кто, участвуя в той же борьбе, что и я, не снискал никаких привилегий, но лишь познал несчастья и преследования. Мне остается лишь поблагодарить вас от всего сердца и произнести перед вами во всеуслышание — в знак моей личной признательности — все ту же древнюю

клятву верности, которую всякий настоящий художник каждый день молча дает самому себе.

Лекция 14 декабря 1957 года

Один восточный мудрец в своих молитвах всегда просил небо избавить его от жизни в интересную эпоху. Поскольку мы не мудрецы, небо не пощадило нас, и мы живем в интересную эпоху. Во всяком случае, она не позволяет нам ни на минуту потерять к ней интерес. Современные писатели это знают. Когда они говорят, на них нападают и критикуют. Если же они из скромности умолкают, начинаются бесконечные разговоры об их молчании, за которое их громогласно укоряют.

Среди всего этого шума у писателя уже нет надежды остаться в стороне и погрузиться в дорогие ему думы и образы. До сих пор худо-бедно самоустранение было в истории возможно. Несогласный мог молчать или говорить о другом. Сегодня все изменилось, даже молчание приобрело грозный смысл. В тот момент, когда самоустранение начинает рассматриваться как выбор, похвальный или наказуемый, художник, хочет он того или нет, оказывается поставлен под ружье. Выражение «поставлен под ружье» кажет-

ся мне в данном случае более уместным, нежели «завербован». Ибо для художника речь идет не о том, чтобы записаться в армию добровольцем, а скорее о призыве на обязательную военную службу. Каждый художник прикован сегодня к галере своего времени. Он должен смириться с этим, даже если ему не нравится, что там пахнет селедкой, слишком много надсмотрщиков и в довершение всего курс взят неверный. Мы в открытом море. Художник, как и все, должен грести и, если удастся, не умереть, то есть продолжать жить и творить.

Говоря по правде, это нелегко, и я понимаю тех, кто сожалеет о былом покое. Перемена произошла, пожалуй, чересчур резко. Разумеется, на арене истории всегда были мученики и львы. Первые питались надеждами на вечность, вторые — кровавой исторической пищей. Но художник до сих пор находился среди зрителей. Он пел просто так, для себя, или в лучшем случае, чтобы ободрить мученика и хоть ненадолго отвлечь льва от его аппетитов. Теперь же художник находится на арене. Голос его поневоле изменился, стал куда менее уверенным.

Всем ясно, что теряет творчество от этого постоянного напряжения. Прежде всего непринужден-

ность и ту божественную свободу, которой дышат произведения Моцарта. Нас уже не удивляет упрямое ожесточенное лицо нашего искусства, его нахмуренный лоб и внезапные приступы смятения. Вполне понятно, почему у нас больше журналистов, чем писателей, больше бойскаутов от живописи, чем Сезаннов, и почему, наконец, «Розовая библиотека» или черный роман заняли место «Войны и мира» или «Пармской обители». Конечно, можно противопоставить сложившейся ситуации гуманистические сетования и сделаться тем, кем мечтал любой ценой быть Степан Трофимович в «Бесах»: воплощенным укором. Можно, как он, переживать и приступы гражданской скорби. Но скорбь ничего не меняет в реальной жизни. Куда лучше, по-моему, отдать дань эпохе, коль скоро она требует этого так настойчиво, и спокойно признать, что времена «дорогих мэтров», художников с камелиями и гениев, восседающих в кресле, безвозвратно прошли. Сегодня творить означает ставить себя под удар. Всякая публикация есть поступок, и этот поступок отдает вас во власть страстям века, который ничего не прощает. Поэтому вопрос не в том, в ущерб или не в ущерб искусству такое положение дел. Вопрос — для тех, кто не может

жить без искусства и всего, что оно значит, — в том, как при наличии такого количества идеологических полиций (сколько церквей, какое одиночество!) свобода творчества еще странным образом возможна.

Недостаточно сказать, что искусству угрожает государственная мощь. В этом случае проблема была бы проста: художник сражается или капитулирует. Проблема на самом деле куда серьезнее и куда страшнее, ибо борьба идет у художника внутри. Ненависть к искусству, которую так блистательно демонстрирует наше общество, только потому столь сильна, что ее поддерживают ныне сами художники. Сомнения наших предшественников касались их собственного таланта. Сомнения сегодняшних художников касаются нужности самого искусства, а следовательно, и их собственного существования. Расин в 1957 году, вероятно, стал бы извиняться за то, что написал «Беренику», вместо того чтобы бороться против отмены Нантского эдикта.

Тот факт, что сам художник ставит искусство под вопрос, имеет много причин, из которых стоит остановиться лишь на самых возвышенных. В лучшем случае художника на это толкает ощущение, будто он лжет или просто болтает о пустяках

в тех случаях, когда не обращается к невзгодам истории. Это понятно, ибо отличительная черта нашей эпохи — вторжение бедствующих масс в поле нашего восприятия. Мы знаем, что они существуют, тогда как прежде о них предпочитали не помнить. Но знаем мы это не потому, что элита, художественная или какая-нибудь другая, стала лучше, нет, ничего подобного, — мы знаем это потому, что массы стали сильнее и не позволяют о себе забыть.

Есть у художников и другие причины, менее благородные, для такого отступничества. Но каковы бы эти причины ни были, цель в данном случае одна: подорвать саму основу свободного творчества, обрушившись на его главный принцип — веру творца в себя. «Покорность человека своему гению, — как великолепно сказал Эмерсон, — это и есть вера в полном смысле слова». Другой американский писатель XIX века добавил: «Пока человек остается верен самому себе, все играет ему на руку — правительство, общество и даже солнце, луна и звезды». Этот поразительный оптимизм ныне, видимо, умер. Художник в большинстве случаев стыдится самого себя и своих привилегий, если они у него есть. Прежде всего ему надлежит разрешить мучающий его

вопрос: не является ли искусство замешенной на лжи роскошью?

I

Первый честный ответ, который приходит в голову, — да, бывает так, что искусство оказывается замешенной на лжи роскошью. На юте галеры всегда можно, мы это знаем, петь о звездах, пока каторжники гребут и изнемогают в трюмах; всегда можно вести запись светской беседы в амфитеатре цирка, пока кости жертвы хрустят на зубах у льва. Причем трудно что-либо возразить против такого искусства, знававшего в прошлом великие удачи. Вот разве что времена нынче слегка переменились и число каторжников и мучеников на нашей планете необычайно возросло. Перед лицом стольких бедствий искусство, если оно желает по-прежнему оставаться роскошью, должно согласиться быть одновременно и ложью.

О чем, в самом деле, может говорить такое искусство? Если оно будет приспосабливаться в нашем обществе к запросам большинства, оно станет пустым развлечением. Если же художник отвернется от общества и замкнется в своих грезах, то не выразит ничего, кроме собственно-

го отречения. Мы получим в итоге продукцию забавников или стилистов-грамматиков, не имеющую никакого отношения к живой действительности. Уже, наверно, около столетия мы живем в обществе, которое является даже не обществом денег (деньги или золото способны порождать плотскую страсть), а скорее обществом абстрактных символов денег. Торгашеское общество отличается тем, что вещи здесь исчезают и заменяются знаками. Когда правящий класс начинает исчислять свое состояние уже не в арпанах земли и не в слитках золота, а в количестве цифр, соответствующем количеству обменных операций, он не может обойтись без некоторой мистификации в устройстве своего мира и своей жизни. Общество, основанное на знаках, есть по природе своей общество искусственное, где правда человека из крови и плоти становится объектом мистификации. Неудивительно, что это общество сделало своей религией мораль формальных принципов и без разбора пишет слова «свобода» и «равенство» на своих тюрьмах и финансовых храмах. Однако слова нельзя безнаказанно отправлять на панель. Самая оклеветанная на сегодняшний день ценность — это, конечно, свобода. Некоторые умники (я всегда

считал, что бывает умный ум и бывает глупый) возводят в теорию соображение, будто свобода есть не что иное, как препятствие на пути истинного прогресса. Эту высокопарную чушь стало возможным провозглашать только потому, что в течение ста лет торгашеское общество пользовалось свободой как своей исключительной привилегией, рассматривало ее скорее как право, нежели как долг, и не стеснялось при малейшей возможности ставить формальную свободу на службу вполне реальному угнетению. Стоит ли удивляться, что этому обществу искусство было нужно не как средство освобождения, а как безобидное упражнение в стиле или обыкновенное развлечение? Вся элита, у которой страдания главным образом денежные, а сердечные — лишь неприятности, удовлетворялась на протяжении десятков лет продукцией светских романистов и искусством самым ничтожным, какое только можно вообразить, — его-то и имел в виду Оскар Уайльд, когда, вспоминая о том, каким он сам был до тюрьмы, сказал, что самый страшный в мире порок — это поверхностность.

Фабриканты искусства (я пока не говорю о художниках) буржуазной Европы на рубеже веков сделали своим принципом безответственность,

ибо ответственность влекла за собой мучительный разрыв с обществом (тех, кто пошел на этот разрыв, звали Рембо, Ницше, Стриндберг, и всем известно, какую цену они за это заплатили). Эта эпоха и породила теорию искусства для искусства, которая была не чем иным, как обоснованием своего права на безответственность. Искусство для искусства, развлечение одинокого художника, есть воистину искусственное искусство фальшивого общества абстракций. Его логическим итогом стало искусство салонное, чисто формальное, которое питается изысканными умозрениями и ведет к полному разрушению реальности. Горстка произведений услаждает горстку избранных ценителей, в то время как масса грубых выдумок развращает всех прочих. В результате искусство отрывается от общества, обрубая тем самым собственные живые корни. Постепенно художник, даже очень знаменитый, оказывается в одиночестве — во всяком случае, народ узнает о нем лишь через посредство широкой прессы или радио, которые дают о нем представление удобное и упрощенное. Чем недоступнее становится искусство, тем ощутимее потребность в популяризации. У миллионов людей складывается впечатление, будто они знают того

или иного крупного автора, потому что прочли в газете, что он разводит канареек или никогда не женится больше чем на полгода. Самая широкая писательская известность состоит сегодня в том, что вас превозносят или ругают, не читая. Каждый, кто стремится стать знаменитым в нашем обществе, должен помнить, что знаменит будет не он сам, а кто-то другой под его фамилией, и этот другой в конце концов выйдет из-под его контроля и, быть может, в один прекрасный день убьет в нем подлинного художника.

Поэтому почти все, что создано ценного в торгашеской Европе XIX и XX веков — в литературе, к примеру, — естественно, направлено против общества. Можно сказать, что до Французской революции наша литература в общем и целом была литературой согласия. С того момента, как буржуазное общество, порожденное революцией, стабилизировалось, начала развиваться литература бунта. Официальные ценности отрицаются, во всяком случае у нас, либо носителями ценностей революционных, от романтиков до Рембо, либо хранителями ценностей аристократических, такими как Виньи и Бальзак. Народ и аристократия — два источника всякой цивилизации — отвергают искусственное общество

своей эпохи.

Но за столько десятилетий этот протест окостенел, в свою очередь стал искусственным и сегодня открывает путь для другой формы творческого бесплодия. Тема «проклятого поэта», зародившаяся в торгашеском обществе («Чаттертон» — прекраснейшее ее воплощение), вылилась в предрассудок, согласно которому художник велик, только если он противостоит обществу, каким бы оно ни было. Этот принцип, верный при своем зарождении, когда он выражал невозможность для истинного художника вступать в сделку с миром денег, стал ложным, когда из него сделали вывод, будто художником является лишь тот, кто восстает против всего на свете. В результате многие наши художники жаждут стать «проклятыми», терзаются оттого, что не являются таковыми, и мечтают одновременно быть освистанными и увенчанными лаврами. Но наше сегодняшнее общество, в силу усталости или равнодушия, освистывает и рукоплещет разве что случайно. В результате интеллигент нашего времени застывает в высокомерной замкнутости, рассчитывая обрести в ней величие. Отвергая все, в том числе и традицию своего искусства, современный художник

воображает, будто создает свои собственные законы творчества, и в конце концов начинает мнить себя Богом. Ему уже кажется, что он может творить саму действительность. Однако, будучи далек от общества, он создает лишь формальные безжизненные произведения, впечатляющие как эксперимент, но лишенные живительной силы, свойственной подлинному искусству, которое призвано служить объединению людей. Между современными отвлеченными ухищрениями стиля и творчеством, скажем, Толстого или Мольера, разница такая же, как между векселем, выданным под никому не видимый урожай, и тучной землей самой пашни.

II

Итак, искусство вполне может быть и роскошью, и обманом. Поэтому неудивительно, что люди или художники захотели повернуть назад и возвратиться к правде. Они отвергли право художника на одиночество и предложили ему в качестве сюжета не грезы, а действительность, пережитую и выстраданную всеми. Убежденные в том, что искусство для искусства как по темам, так и по стилю недоступно пониманию масс или не выражает их правду, они пожелали, чтобы

художник говорил о большинстве и для большинства. Пусть он переложит общее страдание и счастье на общий для всех язык, и повсеместное признание ему обеспечено. В награду за абсолютную верность реальности он добьется полного взаимопонимания между людьми.

Этот идеал всеобщего взаимопонимания действительно есть идеал каждого художника. Вопреки расхожему предрассудку, если кто и не имеет права на одиночество, то это как раз художник. Искусство не может быть монологом. Когда одинокий и безвестный художник обращается к потомкам, он тем самым лишь подтверждает суть своего призвания. Считая невозможным диалог с современниками, глухими или невнимательными, он вступает в диалог более широкий с будущими поколениями.

Но, чтобы говорить со всеми и обо всех, нужно говорить о том, что знакомо всем, об общей для всех нас действительности. Море, дождь, нужда, желание, борьба со смертью — вот что всех нас объединяет. Все, что мы вместе видим, вместе переживаем, роднит нас. Мечты у каждого человека разные, но реальный мир — наша общая родина. Следовательно, притязания реализма законны, ибо они глубочайшим образом связаны

с одиссеей искусства.

Итак, станем реалистами. Вернее, сделаем попытку ими стать, если это возможно. Ибо не очевидно, что это слово вообще имеет смысл, не очевидно, что реализм, даже если он и желателен, — возможен. Прежде всего задумаемся, возможен ли реализм в чистом виде. Если верить утверждениям натуралистов прошлого века, реализм есть точное воспроизведение действительности. Таким образом, реализм по отношению к искусству — это то же самое, что фотография по отношению к живописи: первая лишь воспроизводит, тогда как последняя выбирает. Но что же она воспроизводит и что, собственно, такое реальность? Даже лучшая из фотографий, в конечном счете, есть воспроизведение недостаточно точное, недостаточно реалистическое. Есть ли что-нибудь более реальное в нашем мире, чем, к примеру, человеческая жизнь, и можно ли показать ее лучше, чем в реалистическом фильме? Но при каких условиях такой фильм возможен? Только при условиях воображаемых. Надо вообразить некую идеальную камеру, направленную на человека днем и ночью и непрерывно фиксирующую малейшие его поступки. В результате показ такого фильма будет

длиться целую жизнь, и просмотреть его от начала до конца смогли бы только те, кто согласился бы потратить свою жизнь на то, чтобы во всех подробностях узнать жизнь другого. Но даже при этих условиях наш немыслимый фильм не был бы реалистическим. По той простой причине, что реальность человеческой жизни не сосредоточена целиком там, где сам он находится. Она и в других жизнях, которые определяют его собственную, в любимых им людях — их тоже пришлось бы снимать, — а также в людях ему незнакомых, могущественных и убогих, — согражданах, полицейских, учителях, незримых работниках шахт и строек, дипломатах и диктаторах, реформаторах церкви, художниках, чьи мифы оказали на него решающее влияние, в скромных поверенных — и, наконец, в его величестве случае, который правит даже самой упорядоченной судьбой. Так что возможен лишь один реалистический фильм: тот, что непрерывно демонстрируется перед нами невидимым проектором на экране нашего мира. Единственный художник-реалист — это Господь Бог, если он существует. Прочие художники, в силу естественных причин, не могут быть верны реальности до конца.

Таким образом, те, кто, отвергая буржуазное

общество и его формальное искусство, стремятся говорить о реальности, и только о ней, оказываются в мучительном тупике. Они жаждут быть реалистами и не могут. Они готовы подчинить свое искусство действительности, но невозможно описывать реальность, не производя отбора, а всякий отбор неизбежно подчиняет ее оригинальности художника. Это терзание воплотилось в прекрасном и трагическом искусстве первых лет русской революции. Тогдашняя Россия — Блок и великий Пастернак, Маяковский и Есенин, Эйзенштейн и первые романы о стали и цементе — подарила нам великолепную лабораторию форм и сюжетов, плодотворное беспокойство, страсть к поиску. Итогом должен был стать ответ на вопрос, как можно быть реалистом, когда реализм невозможен. Диктатура здесь, как и во всем, рубила сплеча: реализм нужен, следовательно, возможен, при условии, однако, что он объявит себя социалистическим. На чем основывается такое постановление?

Борцы за реализм откровенно признают, что нельзя воспроизводить действительность без отбора, и отвергают теорию реализма в том виде, в каком она была сформулирована в XIX веке. Остается лишь найти принцип отбора, орга-

низующего действительность. И этот принцип был найден, но не в окружающей нас реальности, а в реальности завтрашней, иначе говоря, в будущем. Чтобы лучше изобразить настоящее, нужно изображать и грядущее. Иначе говоря, подлинный объект социалистического реализма — это реальность, на сегодняшний день несуществующая.

Противоречие по-своему великолепное. Но, в сущности, сам термин «социалистический реализм» уже противоречив. Действительно, как может существовать социалистический реализм, когда сама реальность еще не стала целиком социалистической? Она не была социалистической в прошлом и не является таковой в настоящем. Ответ прост: нужно выбирать в сегодняшней или вчерашней реальности зреющие в ней ростки будущего идеального общества. Автор должен, с одной стороны, обличать и клеймить все несоциалистическое в нашей реальности, с другой — воспевать то, что уже стало или скоро станет социалистическим. В результате мы получаем пропагандистское искусство, где люди делятся на плохих и хороших, своего рода «Розовую библиотеку», оторванную точно так же, как и искусство формальное, от сложной и живой дей-

ствительности. Подобное искусство оказывается социалистическим ровно в той мере, в какой из него вытеснен реализм.

Эта эстетика, объявляющая себя реалистической, превратилась в новый идеализм, столь же бесплодный для подлинного художника, как и идеализм буржуазный. Реальности торжественно отводится главенствующее место, чтобы легче было ее убить. Искусство обращено в ничто. Оно служит и, служа, раболепствует. Лишь те, кто поостережется изображать реальность, будут названы реалистами и удостоятся хвалы. Прочие авторы запрещаются цензурой при бурном одобрении со стороны печатающихся. Положение признанного писателя в буржуазном обществе состоит в том, что его не читают или читают не понимая, а в обществе тоталитарном — в том, что он сам не позволяет читать других. И снова подлинное искусство искажается или ему затыкают рот, и всеобщее взаимопонимание делается невозможным благодаря усилиям тех, кто более всего к нему стремился.

Проще всего при столь сокрушительной неудаче было бы признать, что так называемый социалистический реализм имеет мало общего с большим искусством и революционеры в инте-

ресах самой революции должны искать для себя другую эстетику. Тем не менее его защитники продолжают кричать, что вне социалистического реализма никакого искусства не может быть вообще. Кричать-то они кричат, но, по моему глубокому убеждению, сами не верят в то, что говорят, и в глубине души решили, что художественные ценности надлежит подчинить ценностям революционного движения. Если бы они высказали это открыто, дискуссию легче было бы вести. Можно уважать высокое самоотречение людей, которые мучительно переживают контраст между страданиями большинства и привилегиями, связанными порой с положением художника, не могут примириться с существованием пропасти, разделяющей тех, кого нищета обрекает на немоту, и тех, чье призвание, наоборот, состоит в непрерывном самовыражении. Можно было бы понять этих людей, попытаться вступить с ними в диалог, попробовать, к примеру, сказать им, что уничтожение творческой свободы не есть, быть может, лучший путь к победе над рабством и в ожидании тех времен, когда говорить смогут все, глупо отнимать возможность говорить хотя бы у немногих. Да, социалистический реализм должен признать свое родство

с реализмом политическим, они близнецы. Ибо социалистический реализм жертвует искусством ради чуждой искусству цели, возможно, более высокой по его шкале ценностей. Словом, он временно отменяет искусство, чтобы для начала установить справедливость. Когда справедливость воцарится наконец в неясном будущем, искусство возродится. К искусству применяется здесь золотое правило современного сознания, гласящее, что, не разбивши яиц, не сделаешь омлета. Но этот сокрушительный здравый смысл не должен вводить нас в заблуждение. Недостаточно разбить тысячу яиц, чтобы приготовить вкусный омлет, и, мне кажется, не по количеству разбитых скорлупок оценивают достоинство повара. Современные повара-художники должны, наоборот, поберечь корзинки с яйцами, дабы не оказалось потом, что перебито больше яиц, чем они рассчитывали, и омлет цивилизации уже не взбить, искусство не воскресить. Варварство не бывает временным. Ему нельзя безнаказанно идти на уступки, ибо с искусства оно неизбежно перекидывается на нравы. В такие времена из страданий и крови людей рождается ничтожная литература, славословящая пресса, портреты-фотографии да назидательные пьесы, где ненависть

занимает место религии. Такое искусство до предела доводит заказной оптимизм, который есть самый непозволительный вид роскоши и самый нелепый обман.

Стоит ли этому удивляться? Горе людей — тема поистине великая, и затрагивать ее вправе, пожалуй, только такие творцы, как Китс, который, как говорят, был столь чувствителен, что мог бы рукой коснуться боли человеческой. Мы убеждаемся в этом, когда заказная литература пытается принести страданию официальное утешение. Ложь искусства для искусства заключалась в том, что оно делало вид, будто не замечает зла, и в результате оказывалось повинно в соучастии. Но ложь реализма, храбро признающего несчастья человечества, есть предательство столь же непростительное, ибо он использует их для того, чтобы воспеть грядущее счастье, о котором никому ничего не известно и которое вследствие этого допускает любые мистификации.

Две эти эстетики, долго противостоявшие друг другу — та, что проповедует полный отказ от современной действительности, и та, что повелевает отбросить все, не имеющее отношения к злобе дня, — смыкаются ныне вдали от реальности, в объединяющей их лжи и отрицании

искусства. Академизм справа игнорирует страдание, которое академизм слева использует в своих целях. Но в обоих случаях с отрицанием искусства страдание усугубляется.

III

Значит ли это, что ложь и есть сущность искусства? Нет, не значит, ибо обе эстетики, о которых я до сих пор говорил, лживы как раз в силу того, что не имеют с искусством ничего общего. Что же такое искусство? Простого ответа на этот вопрос, несомненно, нет. Вникнуть в его суть среди невообразимого гвалта, поднятого любителями все упрощать, еще труднее. С одной стороны, утверждают, что гений одинок и неповторим в своем великолепии; с другой — его принуждают походить на всех. Увы! В действительности дело обстоит куда сложнее. Бальзак выразил это в одной фразе: «Гений похож на всех людей, но на него не похож никто». Так и искусство: без реальности оно ничто, но и факты реальности без него не несут никакого значения. В самом деле, как может искусство обойтись без действительности и как оно может себя ей подчинить? Художник выбирает свой объект в той же мере, в какой объект выбирает его. Искусство — это в каком-то

смысле бунт против незавершенности и бренности мира: оно состоит в том, чтобы преображать реальность, одновременно сохраняя ее, ибо в ней источник его эмоционального напряжения. В этом смысле реалисты мы все — и вместе с тем никто из нас. Искусство не есть полное неприятие или полное приятие сущего. Оно складывается из бунта и согласия одновременно и постоянно разрывается между ними. Эта неизменная раздвоенность и есть удел художника, ибо отвергнуть реальность он не может, но обречен непрерывно сражаться с ее вечной незавершенностью. Чтобы получился натюрморт, должны вступить в соперничество и благотворное взаимодействие художник и яблоко. Формы без света — ничто, но и они вносят свою лепту в сияние нашего мира. Реальное мироздание, чей свет дает зримое воплощение телам и статуям, получает от них в свою очередь другой свет, который отражает сверкание неба. Поэтому совершенство стиля следует искать не в художнике и не в его объекте, а где-то на полпути между ними.

Так что вопрос не в том, должно ли искусство бежать от реальности или подчинить ей себя, а в том только, какую именно долю реального художественное произведение должно вместить,

чтобы не исчезнуть в облаках или, наоборот, не обуть себя в свинцовые башмаки. Каждый художник чутьем определяет для себя эту меру в соответствии со своими возможностями. Чем сильнее его бунт против реального мира, тем большим грузом реальности можно такой бунт уравновесить. Но нельзя допустить, чтобы этот груз задавил творческий порыв художника. Истинно высокое произведение всегда — как греческая трагедия, как творения Мелвилла, Толстого или Мольера — приводит в равновесие реальность и бунт, и они, сообщая друг другу силу, прорываются к свету, как вечно бьющий родник самой жизни, радостной и мучительной. Вот тогда-то и рождается порой совершенно новый мир, отличный от повседневного и все-таки тот же самый, особый и вместе с тем универсальный, чистый и незащищенный, вызванный к жизни на несколько часов силой и неудовлетворенностью гения. Этот мир похож и не похож на наш. Мир для искусства — все и ничто, таков вечно противоречивый крик каждого подлинного художника. Эта противоречивость и делает художника художником, не позволяет ему закрыть ни на минуту глаза, и только благодаря ей в дремлющем мироздании мимолетно, но явственно

проступает для всех образ некой реальности, которую мы узнаём, хотя она нам незнакома.

Точно так же не может художник и отвернуться от своего времени, хотя и не имеет права потеряться в нем. Если он отвернется, он будет говорить в пустоту. Избрав же его своим объектом, он утвердит себя как субъект, который не может и не должен подчинять себя объекту целиком. Иначе говоря, когда художник принимает решение разделить участь всех, он утверждает себя как личность. И такая двойственность для него вечный закон. Художник прямо или косвенно изображает нашу общую историю через увиденное или выстраданное им самим, иначе говоря, через само наше время и живых людей, которые существуют сегодня, а вовсе не через отношение сегодняшнего дня к некоему будущему, непредсказуемому для художника, живущего сейчас. Судить современного человека, взяв за образец человека будущего, — дело пророков. Художник умеет лишь оценить предлагаемые ему мифы с точки зрения их влияния на человека реального. Пророки, религиозные или политические, могут судить с точки зрения абсолютной истины и, как известно, никогда в этом себе не отказывают. А художник не может. Если бы он взялся выносить

абсолютные суждения, ему пришлось бы, не вдаваясь в тонкости, разделить реальность на добро и зло и сделаться автором мелодрам. Цель искусства вовсе не в том, чтобы предписывать законы или властвовать, а в том, чтобы понять людей. Оно обретает порой власть — благодаря этому пониманию. Ни одно гениальное произведение никогда не основывалось на ненависти или презрении. Поэтому художник в завершающий миг своих размышлений, вместо того чтобы осудить, прощает. Он не судья, а защитник, вечный адвокат, оправдывающий человека, потому что тот живой. Художник выступает в защиту подлинной любви к ближнему, а не той любви к кому-то далекому, которая превращает современный гуманизм в катехизис, служащий обвинению. Великое произведение искусства посрамляет всех судей. Художник отдает в нем дань восхищения самому возвышенному в человеке и одновременно склоняется перед человеческим в последнем из преступников. «Среди всех этих несчастных, — пишет Оскар Уайльд в тюрьме, — запертых вместе со мною в этом убогом и ужасном заведении, нет ни одного, кто не был бы символически связан с тайной жизни». Да, он прав, причем эта тайна жизни совпадает с

тайной искусства.

В течение полутора столетий писатели торгашеского общества, за редким исключением, полагали, что возможно жить в блаженной безответственности. Поэтому они жили и умирали одинокими. Мы, писатели XX века, никогда больше не окажемся в одиночестве. Наоборот, мы должны твердо знать, что прятаться от общего страдания нельзя и что единственное оправдание нашего существования — если таковое есть — это говорить в меру своих возможностей от имени тех, кто обречен молчать. Мы должны говорить от имени всех, кто в эту минуту страдает, говорить, невзирая на прошлое или будущее величие государств и партий, которые их притесняют: для художника нет привилегированных палачей. Вот почему красота, даже сегодня, и сегодня в особенности, не может служить никакой партии: она служит — и это служение рано или поздно приносит свои плоды — только человеческому страданию и свободе. Ангажированный художник — это тот, кто, не отказываясь сражаться, отказывается служить в регулярных войсках, вольный стрелок. И красота преподает ему не урок эгоизма, если, конечно, он учится у нее добросовестно, а урок сурового братства. Красота

в таком понимании никогда никого не порабощала. На протяжении тысячелетий, изо дня в день, каждую секунду, она, напротив, облегчала рабство миллионов людей и, случалось, освобождала некоторых навсегда. Наверно, величие искусства и состоит в этой вечной напряженной раздвоенности между красотой и страданием, любовью к людям и страстью к творчеству, мукой одиночества и раздражением от толпы, бунтом и согласием. Искусство балансирует между двумя пропастями — легкомыслием и пропагандой. На гребне хребта, по которому идет вперед большой художник, каждый шаг — приключение, величайший риск. В этом риске, однако, и только в нем, заключается свобода искусства. Свобода трудная, похожая, скорее, на аскетическую дисциплину. Какой художник станет это отрицать? Какой художник осмелится заявить, что сам он всегда на высоте этого вечного долга? Для творческой свободы нужны, несомненно, здоровье тела и души, способность к терпеливому противоборству и мастерство, предполагающее твердость духа. Как и всякая свобода, она есть вечный риск, изнурительное испытание. Сегодня такого риска многие стараются избегать, как избегают всякой нелегкой свободы, чтобы, ринувшись в первую

попавшуюся разновидность рабства, достичь по крайней мере душевного покоя. Но если искусство — это не опасное испытание, то что же оно такое и в чем его суть? Нет, свобода художника, как и свобода человека вообще, далека от покоя. Художник истинно свободный с мучительным трудом устанавливает для себя свой собственный порядок. Чем сильнее бушует стихия, которую ему предстоит обуздать, тем суровее его закон и ощутимее его свобода. У Андре Жида есть высказывание, с которым я согласен, хотя оно может дать повод для неверного толкования. «Искусство живет принуждением и гибнет от свободы». Это правда. Но это не следует понимать так, будто искусством можно управлять. Искусство живет принуждением, добровольно для себя избранным: всякое иное принуждение для искусства гибельно. Если же оно это добровольное принуждение отвергнет, то начнет бредить и окажется в плену у призраков. Таким образом, чем больше в произведении свободы и бунта, тем ближе оно будет к классической норме, ибо увенчает собой наибольшее усилие. Пока художники нашего общества отвергают долгое и свободное усилие, пока они предпочитают ему бездумность развлекательного жанра или удобство конформизма,

игры искусства для искусства или проповеди реализма, их уделом будет нигилизм и бесплодие. По сути, это означает, что наше возрождение зависит сегодня от мужества и твердости в отказе от самообольщения.

Да, наше возрождение в руках у нас самих. От нас зависит, породит ли Запад анти-Александров, которые вновь завяжут гордиев узел цивилизации, разрубленный ударом меча. Ради этого мы обязаны принять на себя весь риск и трудности свободы. Вопрос не в том, можно ли сохранить свободу в борьбе за справедливость. Главное — понять, что без свободы мы не достигнем ничего и утратим разом и справедливость будущего, и красоту прошлого. Только свобода спасает людей от разобщенности, рабство же обращает их в толпу одиночек. Искусство благодаря своей свободной природе, которую я попытался в общих чертах определить, объединяет тех, кого тирания разобщает. Можно ли удивляться, что любой режим подавления видит в искусстве врага? Можно ли удивляться, что художники и интеллектуалы всегда оказывались первыми жертвами современных диктатур, как левых, так и правых? Тираны знают, что в произведении искусства заключена раскрепощающая сила, неощутимая

только для тех, кто к искусству не восприимчив. Великое произведение делает лик человека прекраснее и богаче, вот в чем его тайна. Тысяч лагерей и тюремных решеток не хватит, чтобы скрыть от людей это потрясающее свидетельство человеческого достоинства. А потому неправда, будто можно, хотя бы временно, упразднить культуру, дабы подготовить новую. Нельзя прервать вечное свидетельство человеческих страданий и человеческого величия, как нельзя прервать дыхание. Но культуры без наследия прошлого нет, мы не можем и не должны отказываться от своего наследия на Западе. Какими бы ни были художественные произведения грядущего, в них будет заключена та же тайна, те же мужество и свобода, что и в прошлом, и они будут нести в себе дерзания тысяч художников всех веков и народов. Да, когда современная тирания дает понять, что даже в уединении своего труда художник для нее гражданский враг, она права. Но она тем самым воздает через него должное человеку, которого ничто до сих пор не могло сломить.

Мое заключение будет простым. Оно состоит в том, чтобы среди шума и ярости нашей истории воскликнуть: «Возрадуемся!» Возрадуемся тому, что на наших глазах умерла фальшивая и уютная

Европа и мы оказались лицом к лицу с жестокими истинами. Возрадуемся как представители человечества, ибо рухнула многолетняя мистификация, и мы ясно видим, что нам угрожает. И возрадуемся как художники, разбуженные и обретшие слух и против воли оказавшиеся перед лицом нищеты, тюрем, кровопролитий. Если перед этим зрелищем мы сумеем сохранить память о радостных днях и лицах, а перед красотой мира не забывать об униженных, тогда западное искусство понемногу вновь обретет свою силу и царственное достоинство. В истории, конечно, немного найдется примеров, когда художники сталкивались бы с такими нелегкими проблемами. Однако именно в эпохи, когда слова и фразы, даже самые простые, оплачиваются ценой свободы и крови, писатель учится обращаться с ними бережно и с чувством меры. Опасность вынуждает писателя к классицизму, и всякое величие, в конечном счете, вырастает из риска.

Прошло время безответственных художников. Мы можем сожалеть о нем, так как оно было бы для нас удобнее. Но мы в состоянии признать, что трудность нашего положения увеличивает одновременно наши шансы приблизиться к истине, и мы принимаем вызов. Свобода искусства

недорого стоит, когда ее единственный смысл — душевный комфорт художника. Чтобы некое понятие или принцип укоренились в обществе, надо покончить с ложью на их счет, иначе говоря, всякий раз, когда это возможно, платить за них ту цену, которая требуется. Если свобода становится опасной, значит, она на пути к тому, чтобы перестать быть пустым словом, которое можно безнаказанно отдавать на поругание. И я не могу согласиться с теми, кто сегодня сетует на упадок мудрости. Это только видимость. Мудрость никогда не находилась в таком упадке, как во времена, когда она была безопасным самоуслаждением горстки библиотечных гуманистов. Сегодня же, когда она оказалась перед лицом реальных опасностей, как раз есть вероятность, что она сможет вновь обрести всю свою значимость и вернуть уважение к себе.

Говорят, после разрыва с Лу Саломе оставшийся в одиночестве Ницше, захваченный и одновременно подавленный огромной работой, которую должен был вести без всякой поддержки, гулял ночами по холмам над Генуэзским заливом и разводил огромные костры из веток и листьев, а потом долго смотрел, как они горят. Я часто думал об этих кострах и иногда мысленно подвергал

испытанию некоторых людей и произведения искусства сопоставлением с ними. Так вот, наша эпоха — один из таких костров, чей нестерпимый жар обратит, несомненно, многие произведения в пепел! Зато те, что останутся, чей металл окажется невредимым, позволят нам безудержно предаться той высшей умственной радости, которая именуется «восхищением».

Можно, конечно, пожелать, и я желаю этого вместе с другими, чтобы пламя смягчилось, дало нам передышку, благотворный для мысли отдых. Но, вероятно, художнику не дано иного покоя, кроме того, который он обретает в самой жаркой схватке. «Всякая стена — это дверь», — сказал Эмерсон. Так будем же искать дверь, выход лишь в окружающей нас стене. Будем искать и передышку там, где надлежит, то есть в гуще боя. Ибо, по моему убеждению — на этом я закончу, — только там ее и можно найти. Как было однажды сказано, великие идеи в мир приносит на лапках голубь. Быть может, если мы прислушаемся, то услышим среди грохота империй и стран нечто похожее на легкий шум крыльев, на тихий шорох жизни и надежды. Одни скажут, что надежду несет какой-то из народов, другие — что кто-то из людей. Я же считаю, что надежду

порождают, воскрешают, поддерживают изо дня в день миллионы одиночек, чьи действия и творения разрушают границы государств и опровергают грубые обманы истории, чтобы хоть на миг сверкнула вечно гонимая правда, та правда о страданиях и радостях, которую каждый несет всем.

Чем я обязан Испании

1958

22 января 1958 года Центр средиземноморской дружбы организовал торжественный вечер в честь Альбера Камю и присуждения ему месяцем ранее в Стокгольме Нобелевской премии по литературе. В числе ораторов, выступивших перед Камю, были в том числе министр торговли и промышленности Израиля Перец Бернштейн, бывший президент Колумбии и бывший главный редактор колумбийской газеты «Эль-Тьемпо» Эдуардо Сантос, а также вице-президент Государственного совета Рене Кассен. Альбер Камю, выступавший последним, произнес приводимую ниже речь, опубликованную в марте того же года в 85-м номере журнала «Доказательства» (Preuves).

В последний раз, когда я по приглашению «Средиземноморской дружбы» и испанских организаций находился среди вас, я ощущал себя намного увереннее. Тогда мы собирались, чтобы отдать дань уважения людям, которых любим, и

мне было поручено выразить им, пусть частично, наше общее чувство. Я мог тогда говорить с искренней теплотой, слушая свое сердце и не испытывая сегодняшней неловкости.

Эта неловкость не покидает меня с октября[129]. Я никогда не стремился ни к каким почестям, и не в силу собственных добродетелей, а из-за своих недостатков. В этом отношении мое равнодушие приближается к убеждению. Мне часто приходилось отказываться от них, возможно, слишком резко, если судить по тому, какую реакцию они вызывали. Тем не менее некоторые почести меня настигли, и простое приличие требовало от меня принять их молча и с максимальной простотой, на какую я способен. Но я по-прежнему чувствую себя неловко и понимаю почему, хотя вряд ли вам будет интересно выслушивать мои мотивы. Мне просто хотелось поделиться с вами своим замешательством, во-первых, чтобы извиниться за сдержанность; а во-вторых, чтобы заранее попросить у вас прощения за то, что не смогу в полной мере выразить вам признательность.

Я принял решение избегать публичности, однако все же счел необходимым принять ваше

[129] Примечания: 129

Нобелевская премия по литературе была вручена Альберу Камю 16 октября 1957 г. См. выше «Речь 10 декабря 1957 года», с. 334.

предложение. Вы сами знаете почему. Прежде всего потому, что среди вас есть люди одной со мной крови, которым я никогда не мог ни в чем отказать, но также и из-за того, что знал, с каким теплом они примут меня, и наконец, потому, что эти люди, и я хочу подчеркнуть это, поддерживали меня в трудные моменты моей часто непростой профессии.

Да, это трудное ремесло. Мне хотелось бы откровенно сказать вам об этом, и как раз это мне сделать легко. На нынешнем этапе моего жизненного опыта мне некого и нечего защищать — ни ту или иную партию, ни ту или иную церковь, ни тот или иной конформизм, от которого гибнет наше общество. Я намерен защищать только правду — в той мере, в какой ее знаю. В последнее время я читал о себе, что я одиночка. Возможно, но я такой же одиночка, как миллионы других людей, которых считаю своими братьями и по чьим стопам иду. Во всяком случае, одиночка или нет, но я стараюсь делать свое дело, и, если порой мое ремесло представляется мне трудным, то потому, что заниматься им приходится в скорее ужасной интеллектуальной обстановке современного общества, где бесчестие стало честью, рефлекс заменил размышление, а люди думают лозунгами,

подобно собаке Павлова, у которой при звуках колокольчика начинается слюноотделение, и где злоба слишком часто выдает себя за ум.

Если писатель стремится прислушиваться ко всему, о чем говорят и пишут, он, в конце концов, перестает понимать, кому верить. Те, кто справа, упрекают его в том, что он подписывает слишком много манифестов; те, что слева (по крайней мере, новые левые, тогда как я отношу себя к старым), — в том, что он подписывает их недостаточно много. Правые корят его за сумбурный гуманизм, левые — за аристократизм. Правые обвиняют в том, что он слишком плохо пишет; левые — в том, что он пишет слишком хорошо. Оставайтесь художником или перестаньте им быть — на вашу голову все равно прольются проклятия. Что делать в подобных обстоятельствах? Верить в свою звезду и продолжать упорно двигаться вперед, спотыкаясь и ничего не видя в окружающей тьме. Таков путь каждого художника, дающий ему сознание собственной правоты — при условии, что он сознает величие своего ремесла и одновременно личную немощь.

Это часто вызывает всеобщее недовольство. Я остро ощущаю упадок нашего общества, однако не отделяю себя от него и все высказанные

выше обвинения обращаю и на себя тоже. Но я, по крайней мере, отказываюсь усугублять его слабости. Не хочу походить на тех христиан, кто торопится поджечь свой храм, наслаждаясь тем, что успели сделать это раньше материалистов. Я не из поклонников свободы, спешащих украсить ее двойными цепями, и не из тех ревнителей правосудия, которые полагают, что служить ему можно, только обрекая многие поколения на несправедливость. Я живу, как могу, в несчастной стране, богатой своим народом и молодежью, обедневшей элитами и нацеленной на поиск порядка и возрождения, в которые я верю. Но если я живу в этой стране и в этом обществе, если считаю одновременно неизбежным и правильным страдать от общего недуга, то не потому, что не представляю иной жизни и не потому, что готов удовлетвориться призраком свободы, поселившимся среди нас в окружении наставников рабства. Я не могу жить без настоящей свободы и определенного понятия о чести. Однажды признав это и рассудив, что эти блага — превыше всего, я решил, что они должны быть гарантированы всем, а пока их царство не наступило, надо по мере своих сил вести постоянную борьбу за их торжество.

Вот как я понимаю свое ремесло. Не знаю, слишком много или мало я поставил подписей; не знаю, кто я — принц или дворник. Но понимаю, что, не умея простодушно дать себе оценку, старался уважать собственное ремесло. Еще я знаю, что особенно старался уважать написанные мною слова, потому что уважаю тех, кто мог бы их прочитать, а я не хочу их обманывать. Все это приходилось делать в условиях изматывающей борьбы, от которой у меня, честно говоря, до сих пор остались шрамы. Она была неизбежна; я согласился участвовать в ней и буду соглашаться и дальше. Но я также знаю, что она способна иссушить мне душу и наполнить ее горечью, к чему я не готов. Она, если коротко, способна превратить меня в скрягу, лишив сил радоваться жизни, без чего немыслим художник.

Если мне все-таки удалось избежать этой опасности, и именно об этом я хочу сказать, то только благодаря некоторым из вас, даже если сами они об этом не подозревают. Я обязан им практически всем. Эти люди принадлежат к различным партиям и родились в разных странах. Это мои друзья из Франции, они знают, что я не могу говорить о них публично. Это мои друзья из Израиля — беспримерного Израиля, который сегодня хотят

разрушить под удобным предлогом антиколониальной войны. Но мы будем защищать его право на жизнь. Мы — живые свидетели массового уничтожения миллионов евреев — считаем, что будет хорошо и правильно, если их сыновья построят себе страну, которой мы не смогли им дать. Это и мои друзья из Южной Америки, особенно из свободной Колумбии, наконец свободной, благодаря людям, чьи неустанные усилия принесли плоды[130].

Но, с вашего позволения, я назвал бы символом всей этой дружбы Испанию в изгнании. Мои испанские друзья! Мы с вами одной крови, и я в невосполнимом долгу перед вашей родиной, ее литературой, народом и традицией. У меня есть перед вами еще один долг, о котором вы не знаете и не можете знать. Писателю-борцу нужны источники тепла, чтобы противостоять мраку и очерствению, ведь без них невозможна борьба. Вы были и остаетесь одним из таких источников, и я на своем пути всегда встречал вашу

[130] Примечания: 130

10 мая 1957 г. колумбийский диктатор Густаво Рохас Пинилья лишился власти в пользу переходного военного правительства. В 1958 г. в результате соглашения о дальнейшем управлении страной между Консервативной и Либеральной партиями Колумбия вернулась на путь демократии. См. выше, «В поддержку журналиста в изгнании», с. 270. — *Прим. изд.*

деятельную и великодушную дружбу. Испания в изгнании часто выражала мне благодарность, но я считал ее несоразмерной. Испанские изгнанники сражались на протяжении многих лет, а затем с высоко поднятой головой приняли бесконечную боль разлуки с родиной. Я лишь написал, что правда на их стороне, и в ответ годами получал и получаю еще и сегодня, во взглядах, которые ловлю на себе, верную и искреннюю испанскую дружбу, помогающую мне жить. Эта дружба, пусть отчасти незаслуженная, составляет гордость моей жизни. На самом деле, она — единственная желанная для меня награда, и я хотел бы поблагодарить вас и вместе с вами многих других за то, что вы так долго утоляли мой голод; подобное признание дается нелегко, и сегодня мне нет нужды об этом напоминать.

Я просто хочу сказать вам всем, что постараюсь не стать недостойным этой дружбы. Я вас не брошу и всегда буду вам верен. Мне будет легче согласиться с ростом влияния, которое отныне благодаря свободной академии свободной страны связывают с моим именем, зная, что я использую его вам во благо. Вам известно, что не в моих привычках провозглашать грядущие победы и праздники. И вы, и я знаем, что наша борьба

бесконечна. Но она определяет нашу жизнь, она и есть наша жизнь, и главное в ней то, что мы проживаем ее плечом к плечу, честно и пылко, в едином сердечном порыве, который я испытываю прямо сейчас, в последний раз говоря вам, как ваш верный друг, спасибо!

Лекция в Алжирской ассоциации

1958

Алжирская ассоциация, созданная в 1951 году полковником Пьером Фурнари, ставила своей целью устраивать регулярные встречи живущих в Париже алжирцев любого происхождения и вероисповедания; чаще всего они проходили в виде дискуссии на ту или иную тему или в форме ужина, на который приглашали известного политика либо литератора. После неудачи с «Призывом к гражданскому перемирию»[131] *Альбер Камю избегал публично высказываться об Алжире, однако принял приглашение Фурнари и 13 ноября 1958 года выступил на организованном в его честь ужине с приводимой ниже речью. Найти в архивах автора рукопись этой речи не удалось, и не исключено, что Альбер Камю произнес ее экспромтом. Первый абзац текста и весь его неформальный стиль подтверждают это предположение.*

Дамы и господа!

---

[131] Примечания: 131
См. выше, «Призыв к гражданскому перемирию в Алжире», с. 286.

Приношу вам свои извинения за то, что я ничего не приготовил заранее и вынужден прибегнуть к импровизации, что не является моей сильной стороной. Меня пригласили поднять бокал в обществе нескольких алжирцев, и я, конечно, слегка удивлен тем, как вас здесь много, но в то же время рад, что алжирцы, в свою очередь, колонизировали Париж.

Я также ощущаю неловкость, отвечая на чрезмерные похвалы, произнесенные полковником Фурнари в мой адрес, поэтому скажу просто, как алжирец алжирцам: главной причиной моего присутствия здесь является тот факт, что я алжирец, и на протяжении всей моей жизни, в которой удач было больше, чем неприятностей, самой большой удачей как раз и является то, что я родился в Алжире. Мне уже случалось говорить, что я не написал почти ничего, что так или иначе не было бы связано с этой землей[132]. И, повторяя это, я лишь выразил то глубокое чувство, какое испытываю давно.

Я обязан Алжиру не только опытом счастья, но также уроками страдания и горя, а это не пустяк. В последнее время эти уроки стали довольно

---

[132] Примечания: 132
Интервью газете «Фран-Тирёр» от 18 октября 1957 г.

трудными, но они есть и никуда не делись. Пришлось их принять, и я не уверен, что в той ужасной трагедии, которую переживает наша общая земля, у нас не только нет оснований для надежды, но, возможно, у нас всех, и арабов, и французов, есть причина вместе двигаться вперед к тому, что можно назвать истиной. Я нисколько не горжусь многими вещами, например, тем, что намерен приписать мне полковник Фурнари. Но чем я горжусь как писатель, как алжирский писатель — и мой друг Габриэль Одизио[133] не даст мне солгать, потому что именно он был инициатором этого движения, — это тем, что мы, алжирские писатели, исполнили свой долг, и сделали это давно.

Я бы выразился еще точнее, сказав, что сегодня нас, тех, кто надеется на то, что называют завтрашним Алжиром, много. Не знаю, будет ли такой Алжир, при каких условиях он сможет сформироваться. Не известно, какой крови и горя он будет нам стоить, но одно могу сказать наверняка: завтрашний Алжир мы, алжирские писатели, создали еще вчера. Мы представля-

[133] Примечания: 133

Габриэль Одизио (1900–1978) — писатель и поэт, активно продвигавший идею богатства и разнообразия средиземноморской идентичности. — *Прим. изд.*

ли собой школу алжирских писателей, и, когда говорю о ней, я не имею в виду группу людей, подчиняющихся каким-то правилам и исповедующих то или иное учение. Я имею в виду людей, выражающих определенную жизненную силу, связанных с определенной землей и придерживающихся определенного способа взаимодействовать с другими людьми.

Итак, мы являлись школой, и в ней таланты были представлены как арабскими, так и французскими именами. Одизио уже сказал об этом лучше меня, но я повторю за ним его слова со всей силой убежденности, на какую способен. В конце концов, земля, породившая людей, которых звали, с одной стороны, Руа[134], Роблес[135], Одизио, а с другой — Маммери[136], Фераун[137] и

---

[134] Примечания: 134

Жюль Руа (1907–2000) родился в Алжире и познакомился с Камю в Париже в 1945 г. В 1947 г. Камю опубликовал в журнале «Ковчег» (*L'Arche*) похвальную рецензию на его роман «Счастливая долина» (1946). — *Прим. изд.*

[135] Примечания: 135

Эммануэль Роблес (1914–1995) — уроженец Орана; познакомился с Камю в Алжире в 1937 г. Входил в труппу театра «Экип»; совместно с Камю основал журнал «Берега» (Rivages; 1938) и напечатал несколько статей в газете «Республиканский Алжир». Писатель и драматург, редактор литературной серии «Средиземноморье» в издательстве «Сёй», в 1956 г. поддержал Камю, когда тот выступил со своим «Призывом к гражданскому перемирию в Алжире» (см. выше, с. 286). — *Прим. изд.*

[136] Примечания: 136

Мулуд Маммери (1917–1989) — прозаик, поэт, лингвист, антрополог, изучавший кабилов, один из первых алжирских писателей, писавших на французском языке. Автор романа «Забытый холм» (1952). — *Прим. изд.*

[137] Примечания: 137

Мулуд Фераун (1913–1962) — кабильский писатель, писавший на французском языке, автор романов «Сын бедняка» (1950) и «Земля и кровь» (1953). С Камю его познакомил Эмманюэль Роблес. Обоих писателей связывала прочная дружба, которую не могли омрачить разногласия по вопросу алжирского конфликта. Учитель, затем инспектор социальных центров, 15 марта 1962 г. он был убит боевиками Секретной вооруженной организации (OAS) в пригороде Алжира Эль-Биаре. — *Прим. изд.*

других, позволившая этим писателям выражать свои мысли и чувства всем одновременно, на одном языке и совершенно свободно, эта земля… будем справедливы, все это стало возможным не благодаря каким-то учреждениям, а потому, что мы выполнили эту работу, все сообща, а главное, благодаря тому, как мы обращались друг с другом. Так вот, эта школа, как я думаю, показала отличный пример и хорошую модель завтрашнего Алжира, каким он мог бы стать, и именно это вызывает у меня личную гордость.

Почести, которые порой дождем проливаются на наши головы, немного напоминают грозу; когда она начинается, вы принимаете ее, и это один из способов защититься от нее. На мой взгляд, эти почести не имеют большого значения. Вряд ли мои слова удивят алжирцев. Мы гораздо выше ставим простые добродетели, такие как смелость, верность, стойкость и упорство. В нашем кругу североафриканских писателей мы исповедовали эти ценности, и когда мне придется — чем позднее, тем лучше — подводить итог моей жизни и усилий, думаю, что это сотрудничество, эта совместная работа над созданием североафриканской литературы и всепоглощающее чувство братства зачтутся мне как самый позитивный

итог моей жизни и усилий.

Вот что, как мне кажется, я сегодня здесь представляю — нечто гораздо большее, чем международная литература, и я хочу просто попросить вас… Хотя не всегда Алжир соглашался с моими тезисами, и, насколько я помню, некоторые фразы из тех, что только что зачитал полковник Фурнари и под какими я и сегодня подписался бы, были встречены не так уж благосклонно, учитывая их смысл… Но, как бы вы меня ни принимали, что бы ни думали о моей позиции, об ошибках, потому что я совершал их и еще совершу, я просто хотел встретиться с вами в Алжирской ассоциации, честно и прямо, как представитель того Алжира, образ которого мы попытались создать в нашей литературе.